

Нонна Марченко

---

Приметы  
миллой  
старины

---

*Нравы и быт  
пушкинской  
эпохи*

**УДК 882**  
**ББК 84(2Рос-Рус)6-4**  
**Мар 25**

*Художник* Максим Горбатов

**Нонна Марченко**

Мар 25 Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. – М.: Изограф, Эксмо-Пресс, 2001. – 368 с., илл.

ISBN 5-87113-110-7

Документальное повествование о самых разнообразных чертах и проявлениях нравов и быта первой четверти XIX в. Это парады и балы, театр, мода, «дворянские гнезда», личные альбомы, пиры и застолия, табель о рангах и награды, дороги и книжные лавки. Приводятся многочисленные литературные и эпистолярные свидетельства современников той эпохи.

**УДК 882**  
**ББК 84(2Рос-Рус)6-4**

ISBN 5-87113-110-7

© Марченко Н., 2001  
© Горбатов М., оформление, 2001  
© Издательство «Изограф», 2001

## *Быт как явление культуры*

Почему Татьяна Ларина, написавшая Онегину письмо с объяснением, рискует своей честью? Почему Онегин, не желая на дуэли убивать Ленского, выстрелил первым? Что такое бал и в чем он похож на парад? Почему именитые люди считали неприличным ездить в наемной карете и когда они перестали обращать на это внимание? Когда на дверце кареты изображали два герба и что это значило? В каком порядке гости усаживались за стол во время званого обеда? И почему в порядочном обществе считалось неприличным явиться на утренний визит в бриллиантах? Все это мелочи быта, но без них многое непонятно в произведениях Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого. Это наша история — уже поэтому быт наших предков нам интересен. Это история культуры — а в ней нет мелочей.

Культура — построение многоярусное. И если высшее ее проявление — искусство, то «культура быта» — ее фундамент, кирпичи, из которых здание строится. Человек начинает обучаться искусству поведения в обществе с детства, как родному языку, и обычно не отдает себе отчета в том, каким огромным количеством навыков, «слов» этого культурного языка он овладевает. Это — естественный путь развития. Но есть случаи, когда человек должен вести себя особым образом, когда каждый его жест приобретает особое значение: например, в церкви, на дипломатическом приеме или во дворце. Перед нами ритуальное поведение, и правилам такого поведения человек учится как иностранному языку, нарушать «грамматику» этого поведения нельзя, даже опасно.

В истории бывают времена, когда резко меняется весь строй жизни общества, и тогда даже бытовому поведению приходится учиться как ритуальному. В России такой крутой поворот связан с именем Петра I. В своем стремлении повернуть страну лицом к Европе царь-преобразователь железной рукой вводил чужеземные обычаи. Заучивать новые правила помогала книга «Юности честное зерцало». Бытовое поведение перестало быть нейтральным.

Потом Павел I запретил носить круглые шляпы — эти моды шли из Франции, казнившей своего короля, и в России воспринимались как революционные. А Николай I преследовал эспаньолки как недопустимое проявление вольнодумства...

В XVIII в. все понимали язык тафтяных мушек, которые наклеивали на лицо, — при помощи мушек и веера, которым их прикрывали или обнаруживали, кокетки могли объяснить в любви или проявить свою суровость. А «язык цветов» переписывали в альбомы еще и в конце XIX в. Замужняя дама надевала платье цветов мундира своего мужа, а по составу публики, которая гуляет по Невскому проспекту, можно довольно точно определить время дня. Все эти особенности быта, отделенного от нас двумя столетиями, — чужой язык, он требует расшифровки. «Говорить о поэтике бытового поведения — значит утверждать... что определенные формы обычной, каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы художественных текстов и переживались непосредственно эстетически, — пишет Ю.М.Лотман в статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в.». — Если бы это положение удалось доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических характеристик культуры изучаемого периода».

# Парад

Петербург просыпался рано. В пять часов утра загорались окна царского кабинета, а офицеры начинали подготовку к ежедневному вахтпараду, который при Павле Петровиче стал уже явно государственным делом.

*Так, любезный мой Гораций,  
Так, хоть рад, хотя не рад,  
Но теперь я муз и граций  
Променял на вахтпарад... —*

писал поэт Е.А.Баратынский.

Вахтпарад — это ежедневная смена караула. В екатерининское время — капральское дело, но Павел I сам ежедневно присутствовал на церемонии, наблюдая за тщательностью выправки, за стройностью рядов и четкостью выполнения команды. Император строг: «До меня доходит, что господа офицеры гвардии ропщут и жалуются, что их морозу на вахтпарадах. Вы сами видите, в каком жалком положении служба в гвардии, никто ничего не знает, каждому надо не только толковать, показывать, но даже водить за руки, чтоб делали свое дело».

Евграф Федотович Комаровский, впоследствии один из первых лиц империи при Александре I, а при Павле прапорщик Измайловского полка, вспоминал: «Образ нашей жизни офицерской совсем переменялся: при императрице мы помышляли только, чтобы ездить в общество, в театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе; и учили нас всех, как рекрут».

*Ахти-ахти-ахти, — попался я впросак:  
Из хвата егеря я сделался пруссак.  
И, каску променяв на шляпу треугольну,  
Веду теперь я жизнь и скучну, и невольну.  
На место, чтоб идти иль в клуб, иль в маскарад,  
Готов всегда бежать к дворцу на вахтпарад.*

Так «жаловался» Сергей Никифорович Марин, офицер и поэт, прославившийся остроумными эпиграммами и пародиями. Он, храбрый офицер, был на несколько месяцев разжалован в солдаты только за то, что при параде сбился с ноги перед Зимним дворцом. Император гневлив: за плохо начищенную амуницию или недостаточно вытянутый носок ноги при разводе можно попасть в крепость, в Сибирь, солдат били палками. Н.Я.Эйдельман приводит воспоминания одного из современников:

«Случалось, что, вырвав эспантон<sup>\*</sup> у офицера, Павел сам проходил мимо него, как бы испытывая хладнокровие присутствующих, которые должны были сохранять серьезный вид, глядя на эту смешную фигуру, юродствующую с каким-то убеждением и во всей силе неукротимой воли»<sup>\*\*</sup>.

Смешно? Нет, людям страшно. Офицеры, отправляясь на утренний ежедневный развод, прощались с близкими и клали за пазуху кошельки с деньгами, чтобы в случае неожиданной ссылки не остаться без копейки. Впрочем, иногда все оканчивалось благополучно — и это тоже было в духе павловского царствования...

Рассказывали анекдот, как однажды при разводе Павел I, прогневавшись на одного гвардейского офицера, закричал:

— В армию, в гарнизон его!

Исполнители подбежали к офицеру, чтобы вывести его из строя. Убитый отчаянием офицер громко сказал:

— Из гвардии да в гарнизон! Ну, уж это не резон!..

Император расхохотался.

— Мне это понравилось, господин офицер, — сказал Павел, — прощаю вас.

По мысли Павла, чтобы управлять самодержавно Россией, надо было предельно регламентировать жизнь, точно определить место каждого россиянина, заставить каждого быть колесиком и винтиком большого государственного механизма, работающего четко и точно, как часы. Начало этому положил еще Петр I: Санкт-Петербург пробуждался по барабану, по этому знаку солдаты приступали к учению, а чиновники бежали в департаменты. Павел I имел обыкновение вставать в 3—4 часа утра. Тогда же должны были начинать работу в департаментах — вся Россия подчинялась режиму императора. В Петербурге

<sup>\*</sup> Эспантон — придуманная Павлом разновидность пики, которую на параде несли офицеры.

<sup>\*\*</sup> Здесь и далее названия произведений, цитируемых автором, см. в конце книги в разделе «Использованная литература».

регламенту подчинялось все. Улицы строго выравнивали по линейке, и горе хозяину, который строил свой дом, отступая от «красной линии», у него могли попросту с почти оконченной постройки снять крышу и заставить все переделать. Фасады домов и дворцов тоже имели узаконенные образцы, даже цвет, в который красили дома, был строго предписан сверху. И все это стройное здание венчала фигура императора. Он самолично, в торжественных случаях в короне и императорской мантии, принимал парад, являя своею персоной России зрелище божества, олицетворение самодержавной власти, строго наблюдающей за порядком.

Вся жизнь государства оказалась под неусыпным контролем императора. Даже дома, в частной жизни, граждане должны были чувствовать себя под стеклянным колпаком. Говорят, игры часто обнаруживают самую суть мировоззрения. У Павла была такая «взрослая» игра: он заказал изготовить модель Санкт-Петербурга — так, чтобы не только улицы, площади, но и фасады домов и даже их вид со двора были представлены с буквальной геометрической точностью. Теперь он мог в подробностях «моделировать» быт своих подданных.

А вот несколько распоряжений императора, датированных 1799 г. — годом рождения Пушкина:

18 февраля. Запрещение танцевать вальс.

2 апреля. Запрещение иметь тупей, на лоб опущенный.

6 мая. Запрещение дамам носить через плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских.

17 июня. Запрещение всем носить широкие большие букли.

12 августа. «Чтобы никто не имел бакенбард».

4 сентября. Запрещение немецких кафтанов и «сюртуков с разноцветными воротниками и обшлагами; но чтоб они были одного цвета».

28 сентября. «Чтоб кучера и фореиторы, ехавши, не кричали».

28 ноября. Запрещение «синих женских сюртуков с кроеным воротником и белой юбкой».

Казалось бы, какое дело императору до кроеных воротников или тупея — взбитого из волос кока над лбом, отличительной черты модников того времени? Но для Павла не было мелочей! Александр Дюма, знаменитый автор «Трех мушкетеров», известный исторический романист, посетил Россию в конце 1850-х гг. Он, конечно, не застал царствования Павла I, но, по рассказам очевидцев, представил его необыкновенно живо в своих путевых записках:

«Он придумал множество изменений в военном костюме и строго следил за их соблюдением. Сначала изменил цвет русской кокарды: найдя, что белый цвет делает ее мишенью для вражеских пуль, он превратил ее в черную с желтой каемкой. Изменил и форму плюмажа, высоту сапог, количество пуговиц на гетрах, учредил во дворце ежедневный смотр в три часа пополудни и назвал его вахтпарадом, ставшим скоро едва ли не важнейшим делом его правления, но также центральным пунктом всех имперских дел. Во время смотра отдавались распоряжения, диктовались указы. Для этих парадов были изобретены даже кожаные штаны. Независимо от времени года, солдаты могли их надеть, лишь смочив; высохнув, они принимали форму трико. На этих парадах присутствовали и великие князья — Александр и Константин (великий князь Николай был еще слишком молод).

Каждый день при любой погоде Павел, без шубы, с непокрытой лысой головой, лицом к северному ветру, закинув одну руку за спину, а другой то поднимая, то опуская трость, кричал: раз, два, раз, два. Он не обращал внимания на двадцатиградусный мороз и лишь топал ногами, чтобы согреться.

Однажды во время такого вахтпарада один из полков плохо маршировал: император велел повторить маневр, но и во второй раз было не лучше.

— Шагом марш в Сибирь! — закричал Павел.

И полк, который умел лишь безоговорочно подчиняться, с командиром во главе, покинув дворцовый плац, отправился в Сибирь. И дошел бы до Сибири, если бы не устроил привал в 80 верстах от Санкт-Петербурга, где примчавшийся курьер и передал полковнику депешу об отмене приказа».

Конечно, это анекдот, но анекдот, прекрасно передающий дух эпохи.

С окончанием эпохи Павла I вахтпарады прекратились не сразу. В марте 1808 г. англичанка Марта Вильмот из окна гостиницы «Лондон», что почти напротив императорского дворца, в воскресенье два часа наблюдала большой парад: «Мы проспали до семи часов утра, пока нас не разбудил шум под нашими окнами, производимый солдатами и лошадьми. Шла подготовка к *вахтпараду*. Он начался около десяти часов. Солдатский строй, сплошь новенькие мундиры — все это составляло действительно великолепный *coup d'oeil* (здесь — церемониальный марш, завершающий парад, — *фр.*). Мы вышли на бульвар, чтобы получше все рассмотреть. Император ехал вдоль фронта. Он так похож на те изображения, которые продаются во всех лавках, что просто невозможно было его не узнать. Здесь же был и великий князь Константин со своими уланами, украшенными огромными перьями».

Парад — это театрализованное действо. «Однообразной красоты потешных марсовых полей» (выражение Пушкина) добивались долгими тренировками, когда вся огромная, многотысячная человеческая масса подчиняется воле единого центра — императора, который одновременно и самый

жесткий режиссер, и самый придирчивый зритель. Парад — это кордебалет, в котором каждый солдат должен как можно лучше исполнить свою партию. Абсолютно прямые ноги поднимаются на уровень носа, носок должен быть вытянутым, а движения отличаться особой плавностью, для чего на тренировках солдат заставляли маршировать так ровно и четко, чтобы можно было живых людей принять за хорошо отлаженный механизм. Всякий сбой, нарушающий это зачаровывающее однообразие, карался самым жестоким образом.

Парад воспитывал в человеке дух повиновения, уничтожал личность. Об одном генерале, человеке беззаветной личной храбрости, А.Н.Ермолов говорил, что он умрет от страха, если посмеет нарушить приказ, даже на войне, даже для того, чтобы выиграть сражение. Отупляющая шагистика, бесконечные придирки вызывали протест, но протест тихий, рабский.

А.Дюма рассказал анекдот, который слышал в России: «Майор Р., желающий отомстить Аракчееву за жестокие выходки, скучая в военном поселении, куда был сослан, придумал себе развлечение: создал армию из гусей и индюков и, проявляя терпение и волю, стал обучать их строевой подготовке. Услышав команду «стройся», птицы выравнились с такой же точностью, как взвод солдат. На возглас: «Здорово, ребята!» — типичное приветствие генерала, — они отвечали «га-га-га» и «кулды-кулды». Этот галдеж на слух весьма походил на общепринятый ответ солдат: «Здравия желаем, ваше сиятельство».

Аракчеев узнал, чем на досуге занимается майор. Он тотчас предпринял поездку к месту военного поселения и внезапно нагрянул к Р. Тот спросил графа, нужно ли построить войско для смотра.

— Не стоит, — сказал Аракчеев, — я прибыл на смотр не солдат, а гусей и индюков.

Майор понял, что погиб, и мужественно проглотил горькую пилюлю. Он вывел своих ополченцев из ограды и строго приказал им строиться. Следует заметить, что смышленные птицы сразу поняли, перед кем имели честь повиноваться. Никогда они так четко не становились в ряд и никогда столь браво не отвечали на приветствие командира. Аракчеев не скупился на лестные для майора похвалы. А в завершение речи приказал ему направиться со всей «армией» в крепость и обязал коменданта тюрьмы кормить майора поочередно то гусятиной, то индюшатиной до тех пор, пока несчастный не съест всю свою армию.

На двенадцатый день майор почувствовал такое отвращение к мясу своих учеников, что решил лучше умереть голодной смертью, нежели соблюдать установленный режим, и объявил голодовку. На четвертый день голодовки Аракчеев, предупрежденный, что майору грозит смерть, соизволил простить его».

Войско, воспитанное для парада, не годилось для войны. Великий князь Константин Павлович, например, искренне считал, что война портит армию. Войско, воспитанное для парада, умеет только подчиняться. Бой тоже идет по единому плану, задуманному командующим, но, в отличие от парада, бой предполагает всегда личную инициативу. Бывает, что в бою нарушается строгая субординация — во имя победы. На параде это принципиально невозможно. Интерес парада — в самом процессе действия, для боя важен результат. Парад — кордебалет, бой — трагедия, итог которой участникам действия неизвестен, а цена ошибки — гибель.

Рассказывали такой анекдот: «Император Александр прибыл под Аустерлиц к войскам, где был Кутузов, и, видя, что ружья стоят в козлах, сказал ему:

— Михаил Илларионович, почему вы не идете вперед?

— Я поджидаю, чтобы все войска пособирались, — отвечал Кутузов.

— Вы не на Царицыном Лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, — возразил Александр.

— Государь, потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном Лугу, впрочем, как прикажете...

Приказание было отдано. Войска двинулись, но в то время, как они шли атаковать, были сами атакованы.

После упорного, отчаянного боя Наполеон прорвал фланги и одержал полную победу в том бою».

История со всей жестокостью доказывала, что жизнь отличается от парада, и все же на протяжении по крайней мере трех царствований — Павла, Александра и Николая — государи стремились построить Россию «во фронт», чтобы проще управлять огромной империей. Даже выдуманы были военные поселения, когда целые деревни отдавали в солдаты: крестьяне должны были сами и содержать армию, и работать в поле вместе со всей семьей. Самое тяжелое бремя — это пристальный надзор. Весь быт крестьян строго регламентировался: в распоряжениях начальства указано, когда можно задернуть занавеску, чтобы одеться, когда хозяйка должна подметать в избе пол, строго оговорено даже, что следует приготовить на обед... Трудно придумать каторгу тяжелее, не даром самые первые бунты возникали в военных поселениях. Но Александру I нравился этот «земной рай»: все чисто, все подчиняется порядку. Он не вдавался в подробности, что такое этот порядок — крестьян-солдат забивали до смерти без суда и следствия, прав они не имели никаких... Александр благодарил «милого друга» Аракчеева за воплощение на земле утопической республики в военных поселениях. Что ж, что неразумные мужики не понимают своего счастья. Так нужно заставить их понять! Очень опасное заблуждение императора...

Граф Румянцев однажды утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повел с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая со стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем и потом уж отпустил, не сделав никакого замечания.

Раз как-то на параде, в Пажеском корпусе, инспектор кадет упал на барабан.  
— Вот в первый раз наделал он столько шуму в свете, — заметил Нарышкин.

*А.С.Пушкин. Литературные анекдоты*

Проездом через Варшаву отправился (А.П.Офросимов, известный остро слов) посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе.

— Ну, как нравятся тебе здешние войска? — спросил он его.

— Превосходны, — отвечал Офросимов. — Тут уж не видать клавикорднича.

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Здесь не прыгают клавиши одна за другою, а все движется стройно, цельно, как будто каждый солдат сплочен с другими.

Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Офросимова.

*Вяземский. Старая записная книжка*

## ***И бал блестит во всей красе...***

В Петербурге день начинался парадом (или просто службой) и оканчивался холостой пирушкой, в театре, в клубе или, наконец, на балу. Бал — это совершенно особенное событие в жизни человека XIX века. Для юной девушки, которую только начинали вывозить, это повод для волнений: там ее увидят в красивом бальном платье, и будет много света, и она будет танцевать, и тогда все узнают, какая она легкая, грациозная... Вспомните первый бал Наташи Ростово́й!

К балу готовятся — ведь это целый спектакль. Прежде всего — наряд. «Китти облачила меня в белую атласную юбку, поверх нее надела креповое платье с великолепной турецкой отделкой, — писала о своем первом бале, который был устроен 31 декабря 1805 г. у московского генерал-губернатора, англичанка Марта Вильмот, гостившая у княгини Дашковой. — Шлейф платья был закреплен наверху... но вместо ленты через плечо шла такая же, как на платье, отделка с блестящей золотой кистью, которая свисала с плеч до того изящно, что даже князь Барятинский, которому 65 лет, явился на другой день к княгине с комплиментами по этому поводу, причем с самым серьезным видом».

Бал — это волшебное время. При строгой построенности, бал допускает массу вариантов, неожиданных поворотов, и чем дольше он длится, тем больше свободы, тем веселее танцы. «Верней нет места для признаний // И для вручения письма», — замечает Пушкин в «Евгении Онегине». В 1825 г. в газете писали: «Охотники до танцованья имели множество случаев удовлетворить своему вкусу. Во многих богатых домах бывают в назначенные дни в неделю вечера: в иных танцуют при звуках фортепиано; в некоторых при небольших оркестрах. Званных блестящих балов (bals pares) я насчитал до шести в этом январе: все высшее общество, дипломатический корпус, господа офицеры гвардии, придворные чиновники и статские отличные чинами и родами составляли блестящие собрания. Но первое украшение балов — прелестный пол, и я слышал от знаменитых и просвещенных иностранцев многие похвалы красоте и любезности петербургских дам».

*Кружатся дамы молодые,  
Не чувствуют себя самих;  
Драгими камнями у них  
Горят уборы головные;  
По их плечам полунагим  
Златые локоны летают;  
Одежды легкие, как дым,*

*Их легкий стан обозначают.  
Вокруг пленительных харит  
И суетится и кипит  
Толпа поклонников ревнивых;  
Толкует, ловит каждый взгляд:  
Шутя, несчастных и счастливых  
Вертушки милые творят.*

Е.А.Баратынский. Бал

Бальный сезон начинался поздней осенью и разгорался зимой, когда столичные дворяне возвращались из своих усадеб, а поместные дворяне, окончив полевые работы, целыми обозами тащились в Москву со своими взрослыми дочерьми — «на ярмарку невест».

«Вчерашний день ездил с поздравлением к имениннице, но она не принимала, а швейцар объявил, что покорнейше просит на вечер. «А много у вас будет гостей?» — «Да приглашают всех, кто приедет утром, а званых нет: тихий бал назначен», — вспоминал С.П.Жихарев один из московских балов начала XIX в. «Нечего сказать, тихий бал: вся Поварская в буквальном смысле запружена экипажами, которые по обеим сторонам улицы тянулись до самых Арбатских ворот».

Бал начинался с празднично освещенного подъезда. В вестибюле сбрасывали шубы и по ярко освещенной лестнице поднимались в зал, где при входе гостей встречала хозяйка. «Чужая душа — потемки, но принимать гостей мастерица: всем одинаковый поклон, знатному и незнатному, всем радушное ласковое слово и приглашение на полную свободу», — восхищается Жихарев светским тактом хозяйки бала.

И вот уже музыка и праздничное сиянье... Впрочем, перед хозяином, устройтелем праздника, вставал еще один вопрос: «3-го числа февраля назначен у графа Орлова большой бал, что называется, пир на весь мир. Танцовщиц в виду много, но танцоров, напротив, почти вовсе нет. Некоторые известные дамы, коротко знакомые в доме графа, имеют поручение от молодой графини вербовать хороших кавалеров», — жаловался Жихарев, попавший в число «завербованных». Напрасно он отнекивался, ссылаясь на свою застенчивость, неумение танцевать, объяснял, что он танцует только в своем кругу, да и то для смеху, просто прыгает козлом. «А у Орловых будешь прыгать бараном — вот и вся разница! Болтай себе без умолку с своей дамой — и не заметят, как танцуешь».

«Каждое воскресенье был при дворе бал, или куртаг, — вспоминал Л.Н.Энгельгардт времена Екатерины II. — На бал императрица выходила в таком же порядке, как и в церковь; перед залом представлялись дамы и целовали ей ручку». Бывали балы private, одни более богатые, другие поскромнее. Пушкин говорит об отце Онегина: «Давал два бала ежегодно// И разорился наконец...» Но бывали праздники почти официальные, отмечающие важные события в истории России, — такие праздники были особенно роскошными и надолго запоминались современникам. В.Н.Головина описывала обстановку бала, данного Потемкиным по случаю взятия Измаила, — знаменитый праздник в Таврическом дворце: «Этот бал происходил в огромной Молдавской зале, окруженной двойной колоннадой. Портки разделяли залу на две части, в одной из которых был устроен зимний сад, великолепно освещенный скрытыми фонариками и с изобилием цветов и деревьев. Зала освещалась главным образом из плафона в ротонде. В центре помещен был вензель императрицы из стразов. Освещенный скрытым фонарем, он сверкал ослепительным блеском...»

«Бал всегда открывали великий князь с великою княгиней менюэтом, — вспоминал Энгельгардт, — после их танцевали придворные, гвардии офицеры; из армейских ниже полковников не имели позволения; танцы продолжались: менюэты, польские и контрдансы. Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особого покроя парадные платья, а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны быть в башмаках; все дворянство имело право быть на оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах».

Бальная одежда была строго оговорена. Особенно четко порядок соблюдался во времена Павла. Энгельгардт вспоминал о бале, который дали офицеры в Казани прибывшему императору Павлу I: «Государь танцевал польский со многими дамами. Увидя военного губернатора Лассия в башмаках и с тростью, подошед к нему, он сказал: «Как? Лассий в башмаках и с тростью?» — «А как же?» — «Ты бы спросил у петербургских». — «Я их не знаю». — «Видно, ты не любишь петербургских; так я тебе скажу: когда ты в сапогах, знак, что готов к должности, и тогда надо иметь трость; а когда в башмаках — знак, что хочешь куртизировать дам, тогда трость не нужна». — «Как вы хотите, ваше величество, чтобы в мои лета я мог знать все эти мелочи?» Государь рассмеялся сему ирландскому ответу, ибо Лассий был ирландец». Может быть, только поэтому Павел простил ему упущение — как иностранцу.

Не только башмаки и панталоны, но и в прическах не допускались вольности, особенно в присутствии высочайших особ. М.Д.Бутурлин вспоминал об интимном бале во дворце великого князя



Николая Павловича: «Николай Александрович Свистунов, тогда поручик и нечто вроде льва в кавалергардском полку, уже пользовавшийся известностью при дворе, явился однажды на одном из маленьких Аничковских балов в неимоверно высокой прическе по последнему парижскому журналу, невозможной без длинных волос. Государь подошел к нему и шутливо сказал: «Смотри, не попадайся на глаза великому князю с твоей прической».

Военные, собираясь танцевать, должны были являться без шпор, а шпагу оставляли вместе с верхней одеждой. Явиться в балльную залу в шпорах означало ясно показать, что танцевать не намерен. Однако военные франты рисковали появляться в танцах, не отцепляя шпор, и тогда случались казусы — как на балу у французского посла в августе 1809 г. Знаменитая петербургская красавица Марья Антоновна Нарышкина, в которую — и это всем известно! — был влюблен император Александр Павлович, танцевала с его братом. «Великий князь Константин Павлович танцевал с длинными шпорами, как подобает тактику, — иронически описывает ситуацию дипломат и писатель граф Жозеф де Местр. — И вот, во время энергической атаки, случилось, что, взяв Марью Антоновну под бока, он до того запутал свои шпоры в ее шлейф, что, несмотря на самый отчаянный отпор, воюющие стороны пали вместе самым живописным образом на поле битвы. Сия эволюция, заслужившая одобрение самых опытных военных, была единственно вещью, оживившею этот праздник, который был холоден: общественное мнение непобедимо». А ведь такие светские шалости были не новостью. В повести «Моя исповедь», напечатанной в 1802 г. в журнале «Вестник Европы», Карамзин признавался: «Однако ж я наделал много шума в своем путешествии — тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом...» Вот как добродушно веселились в прошедшие времена!

Впрочем, на балу можно было даже сделать карьеру — и опять это было знаковое поведение. М.Д.Бутурлин вспоминал, как весной 1834 г. «во время... приезда двора в Москву государь, заметив на бале в Благородном собрании двух молодых людей в застегнутых доверху черных фраках, выразился «*qu'il avaient des tournures distinguees*» (как они изысканны! — *фр.*) и на следующий день назначил обоих в свою канцелярию и чуть ли не пожаловал их в камер-юнкеры». А ведь это совершенно не балльное поведение!

Обычно бал открывался менуэтом. Менуэт, царивший в Европе до французской революции, в пушкинское время сменил полонез, то есть польский танец. В «Правилах для благородных общественных танцев...», изданных в 1825 г., говорилось: «Со времени перемен, последовавших у европейцев как в одежде, так и в образе мыслей, явились новости и в танцах; и тогда польский, который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар, а потому освобождает от излишней и строгой выдержки, свойственной менуэту, занял место первоначального танца».

Иностранцев удивляли эти танцы, похожие на торжественные прогулки. В начале XIX в. менуэт сменился полонезом, но характер танца оставался тем же. Англичанка Марта Вильмот так описывала придворный бал в Петергофе 6 августа 1803 г.: «Во дворец успели к семи часам, все комнаты были открыты, и всюду толпилась такая масса людей, что едва можно было пройти. Прибыли император, императрица etc., и бал открылся «длинным» полонезом. В первой паре шел император с моей знакомой красавицей Ададуровой, они не танцевали, а именно шли под музыку, выписывая по залу восьмерку, за ними чинно выступали еще пар шестьдесят: это было похоже на прогулку, и каждый вельможа прошептал передо мною несколько раз».

Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г., как будто вторил ей, доказывая, что более чем за тридцать пять лет ничего не изменилось: «Наиболее распространенный в этих краях танец не препятствует задумчивости: танцующие степенно прохаживаются под музыку; каждый кавалер ведет свою даму за руку, сотни пар торжественно пересекают огромные залы, обходя таким образом весь дворец, ибо людская цепь по прихоти человека, возглавляющего шествие, вьется по многочисленным залам и галереям — все это называется танцевать *полонез*. Один раз взглянуть на это зрелище забавно, но я полагаю, что для людей, обреченных танцевать этот танец всю жизнь, бал очень скоро превращается в пытку».

Граф Михаил Дмитриевич Бутурлин, воспитанный за границей, вспоминал об Одессе 1824 г., когда еще там на балах танцевал сосланный на юг А.С.Пушкин: «Публичные балы в зале клуба (так называемом *казино*) давались по официально-торжественным дням и неминуемо открывались полонезом, т.е. хождением попарно под припев хора с аккомпанементом оркестра: «Александр, Елисавета, восхищаете вы нас». Это было для меня совершенно ново».

Такой порядок бала надолго сохранился в России — в 1858 г. Теофиль Готье присутствовал на балу в Зимнем дворце: «В России балы при дворе открываются полонезом. Это не танец, а нечто вроде процессии, имеющей свой ярко выраженный колорит. Присутствующие теснятся по сторонам, чтобы освободить середину балного зала, где образуется аллея из двух рядов танцующих. Когда все занимают свои места, оркестр играет музыку в величественном и медленном ритме, и процессия начинается. Ее ведет император, дающий руку княгине или даме, которой он желает оказать честь...

За императорской семьей шли офицеры высшего состава армии и охраны дворца, высшие должностные лица, каждый из которых подавал руку даме.

Все это сплошь были военные мундиры, золотые позументы, эполеты, усеянные бриллиантами орденские планки, знаки отличия, украшенные эмалью и драгоценными камнями и образующие на груди очаги света. Некоторые лица из самых высших чинов на входе носят орден, очень почетный, но еще более свидетельствующий о дружеском расположении к ним: портрет царя в оправе из бриллиантов, но таких орденов мало, их можно сосчитать.

Процессия продвигается, и к ней присоединяются новые пары: какой-нибудь господин отделяется от зрителей, подает руку даме, стоящей напротив, и новая пара пускается в путь, замедляя или убыстряя шаги, в ногу с теми, кто идет впереди. Наверное, не так-то просто идти, касаясь друг друга лишь кончиками пальцев, под огнем тысячи глаз, с такой легкостью становящихся ироничными: здесь видны как на ладони самая малая неуклюжесть в движениях, самая легкая неуверенность в ногах, самое неуловимое непопадание в такт. Военная выправка спасает многих, но какая трудность для дам! Однако большинство превосходно выходит из положения, и о многих дамах можно сказать: «*Et vera incessu patuit dea*» (Богиню видно по походке. Вергилий. — *Лат.*). Женщины шествуют под перьями, цветами, бриллиантами, скромно опустив глаза или блуждая ими с видом совершенной невинности, легким движением тела или пристукиванием каблук управляя волнами шелка и кружев своих платьев, обмахиваясь веерами так же непринужденно, как если бы они прогуливались в одиночестве по аллее парка. Пройти с благородством, изяществом и простотой, когда со всех сторон на вас смотрят! Даже большим актрисам не всегда это удавалось».

Вторым танцем на балу часто была кадрили, которая иногда даже занимала место первого торжественного полонеза. В.Н.Головина вспоминала Таврический праздник: «Бал открылся кадрилию, составленной из самых известных лиц, по меньшей мере в пятьдесят пар». Кадрили — первый танец бала, который допускал вольности, комбинацию разнообразных фигур. Их предлагал танцор, идущий в первой паре. В петровское время кадрили танцевали, когда уже царь покидал танцевальный зал. Бурхгольц вспоминал: «Десять или двенадцать пар связали себя носовыми платками, и каждый из танцевавших, попеременно, идя впереди, должен был выдумывать новые фигуры. Особенно дамы танцевали с большим увлечением. Когда очередь доходила до них, они делали свои фигуры не только в самой зале, но переходили из нее в другие комнаты, некоторые водили в сад, в другой этаж дома и даже на чердак. Словом, одна не уступала другой. При этих всех переходах один музыкант со скрипкой должен был постоянно прыгать впереди, так что измучился наконец до крайности».

В пушкинское время кадрили танцевали в разных местах по-разному, и существовало много видов кадрили — русские, немецкие, французские, польские. Дальний родственник Пушкина молодой граф М.Д.Бутурлин, воспитанный в Италии, вспоминал, как зимой 1827 г. он отличался на балах в Орле, где оказался в числе лучших танцовщиков: «Зимой довольно часто бывали балы в дворянском собрании, где в военных кавалерах недостатка не было; но французские кадрили (*contredances*) были так мало еще в ходу, что с трудом набиралось четыре пары, знающих фигуры и умеющих выделять *па* (то есть шассе, круазе, глisse, пируэты и прочее), а не просто ходить по паркету, как ввелось позднее».

Игры и вариации, входившие в состав кадрили и экосезов, позволяли мастерам показать, на что они способны, — недаром в руководстве к танцам учитель рассказывает о разных вариантах, делающих бал настоящим приключением, потому что, выходя танцевать, участники бала не всегда представляли, как им придется вести себя. Так бывало, например, в экосезе: «Напоследок, чтобы в полной мере удовольствоваться сим танцем, кто-то придумал, чтобы в первом колене дама с плеткою гналась за своим кавалером назад кавалерского ряда, дабы ударить, а во втором — преследуемый и преследующая с торжеством делают променад, бросая плетку следующей паре. — И старый танцмейстер добавляет с неодобрением: — Какое удовольствие! Какая веселость!»

После полонеза и кадрили наступала очередь вальса. Когда-то вальс был народным танцем и очень нравился поклонникам Руссо — за близость к «натуре». Это был простенький танец, на два такта (а не три, как сейчас), он вошел в моду в конце XVIII — самом начале XIX в. и сразу стал очень популярен: «Излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется». Молодежь увлеклась этим новым танцем, а старожилы ворчали, что он неприличен: молодая полуодетая девушка бросается в объятия мужчины! Как можно! Однако и здесь учитель считал возможным сохранить благопристойность: «Обучая же в паре, должно показать, чтобы танцевали ни слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие; ни слишком отдаленно, что могло бы препятствовать поворачиваться; ни дама, ни кавалер не отворачивали бы от себя голов, какая фигура представила бы двуглавого орла или рассерженных один на другого; глаза бы ни слишком подняты, ни опущены, но приятно открыты. Сверх того ноги иметь вытянутыми, танцевать на носках, избегая малейшего шарканья, руки закруглить, из которых левая у дамы положена быть должна ловко на плечо кавалера, а правая у кавалера должна охватить даму среди талии...»

Современники вспоминали, что в России вальс танцевали быстро, так что аристократическая молодежь умением быстро кружиться в вальсе отделяла себя от экосезных, медленных танцев, не трудных всякому. «При мастерстве моем танцевать, чувствую, что для ваших *русских* вальсов не только я, но и никто из моих товарищей не способен, — писал англичанин Пойл к Макарову в 1805 г., — для них, для ваших летучих вальсов, в целой Европе мастера только вы, русские, и, кроме русских дам, этих чересчур быстрых, почти воздушных летков не выдержит ни англичанка, ни немка, ни даже француженка».

А впрочем, кто же станет спорить, что вальс танец влюбленных? И притом как разнообразен! Послушаем современника: «Что такое вальс? Это музыкальная поэма в сладостных формах или — лучше — поэма, которая может принимать всевозможные формы. Вальс бывает живой или меланхолический, огненный или нежный, пастушеский или военный, его такт свободен и решителен и способен принимать всевозможные изменения как калейдоскоп. Первое условие в нем — мелодия, богатство гармонических звуков, его украшение. Он независим и как каприз не подчиняется правилам, не стесняется границами». Об этом хорошо сказал Пушкин в «Евгении Онегине»:

*Однообразный и безумный,  
Как вихорь жизни молодой,  
Кружится вальса вихорь шумный;  
Чета мелькает за четой...*

Главный танец бала — мазурка. Готье писал: «Когда в полонезе пройдены были зал и галерея, бал начался. Танцы ничем характерным не отличались: это были кадрили, вальсы, редовы (т.е. польки), как в Париже, Лондоне, Мадриде, Вене, повсюду в лучшем свете. Исключение, однако, составляет мазурка, которую танцуют в Санкт-Петербурге с невиданным совершенством и элегантностью».

Во времена Пушкина именно в мазурке во всем блеске проявлялось мастерство бального танцора. Это был танец-балет. Мазурку танцевали с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющим кульминацию танца. У мазурки был распорядитель, каждый участник должен был проявить изобретательность и способность к импровизации, при этом общий рисунок танца нарушать не разрешалось. А.О.Смирнова-Россет вспоминала: «Шик мазурки состоял в том, что кавалер даму брал себе на грудь, тут же ударяя себя почти в центр тяжести (чтоб не сказать задницу), летит на другой конец залы и говорит: «Мазуречка, пани», — а дама ему: «Мазуречка, пан Храббе». И тут же Смирнова добавляла: «...тогда танцевали попарно, а не спокойно, как теперь, и зрители всегда били в ладоши, когда я с ним танцевала мазурку». На мазурку смотрели, как на сольное выступление, остальные становились зрителями, оценивающими мастерство танцующих. В «Правилах для благородных общественных танцев...» читаем: «Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать, так что, когда в одном публичном собрании, где находилось с лишком двести молодых людей мужского пола, заиграла музыка мазурку... подняли такую стукотню, что и музыку заглушили». Такая манера танцев, с грохотом, прыжками, к 1820-м гг. сохранилась в провинции, в столице же эта «французская» манера сменилась «английской»: молодой человек, разочарованный денди, скользит по паркету как бы нехотя, выражая полное презрение к танцу, — он «отдает долг обществу».

*Мазурка раздалась. Бывало,  
Когда гремел мазурки гром,  
В огромной зале все дрожало,  
Паркет трещал под каблуком,  
Тряслися, дребезжали рамы;  
Теперь не то: и мы, как дамы,  
Скользим по лаковым полам...*

«Евгений Онегин»

Во время каждого танца — соответствующая его характеру беседа. Во время мазурки — легкий разговор, произвольные шутки, нежные, как бы невольные, признания — словом, «мазурочная болтовня». У Пушкина в «Пиковой даме» скромная воспитанница Лизавета Ивановна оказывается в паре с блестящим молодым человеком Томским, который подшучивает над нею, намекая на ее влюбленность в Германна: «В самый тот вечер, на бале, Томский позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна ему известна...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — *oubli ou regret?* (забвение или сожаление? — *фр.*) — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны».

Не правда ли, читая текст, мы почти пропустили мимо ушей вопросы трех дам? А ведь,

оказывается, это тоже — фигура танца. В 1841 г. в «Северной пчеле» писали: «Можем себе представить, как будут ломать себе голову комментаторы Пушкина в двадцатом, двадцать первом и следующих столетиях для объяснения этих трех простых слов в «Пиковой даме»: «Oubli ou regret?», значение и весьма загадочный смысл которых теперь растолкует всякий танцующий. Это просто любимая фигура в мазурке».

Завершает бал котильон. Это род кадрили, которую танцевали на мотив вальса. Котильон — это танец-игра, самый непринужденный и шаловливый. В «Правилах...» этот танец описывается так: «...там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится». Дамы выбирали себе девизы: например, нежность или гордость, красный или зеленый. Кавалер старался угадать, какой девиз у дамы, с которой ему хотелось бы танцевать, и далеко не всегда угадывал. Но в котильоне была не одна эта игра. «Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок высоко, по-кукольному, и, что всего привлекательнее, битье кавалером в ладоши вслед вальсирующей пары, дабы перестала танцевать, — писал танцмейстер Л.Петровский. — Слышал я от некоторых молодых людей, что если они идут на вечеринку, то единственно для того, чтобы потанцевать котильон». И если знать, что такое котильон, совсем иначе звучит строка из пушкинского «Онегина»:

*...И бесконечный котильон  
Ее томил, как тяжкий сон.*

Котильон утомителен только для Татьяны, потерявшей интерес к балу, на котором она обделена вниманием Онегина. Тяжко на балу тому, кто не включается в его одуряющую кутерьму. Анна Федоровна Тютчева, одна из умнейших женщин своего времени, дочь поэта и фрейлина великой княгини, будущей императрицы Марии Александровны, писала в своих мемуарах: «На днях у цесаревны был большой бал, очень блестящий, очень роскошный. Странное чувство я испытываю на балах и вообще в свете. Когда я нахожусь среди этой блестящей толпы, нарядной и оживленной, среди улыбок и банальных фраз, среди кружев и цветов, скрывающих под собой неизвестных и малопонятных мне людей, ибо даже близкие знакомые принимают на балу такой неестественный вид, что их трудно узнать, — мною овладевает какая-то тоска, чувство пустоты и одиночества, и никогда я так живо не ощущаю ничтожества и несовершенства жизни, как в такие минуты».

И парад и бал были структурообразующими элементами культуры пушкинского времени. С этой точки зрения их рассматривает в своей книге Ю.М.Лотман. Но их можно рассматривать и как явления социальной жизни общества. Это — два аспекта одного и того же явления, и оба их необходимо учитывать. В.Ф.Одоевский видит бал как особое пространство, где обнажается сущность жизни именно потому, что участники стараются ее спрятать: «Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух, и часто пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, — вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в полупотухших, остолбенелых глазах их мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего, — и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...» Одоевский воспринимал бал на фоне войны, гибели, нищеты — он не приемлет этот маскарад жизни. А ведь его современники хорошо знали, сколь разорительны для них такие роскошные праздники. Но, в отличие от князя Одоевского, они чувствовали тяжесть только своего разорения...

Эти воспоминания, анекдоты, дневниковые записи необходимо знать, они помогают правильно понимать художественные произведения, восстановить сложную систему отношений, в которой жили Пушкин и его современники.

\* \* \*

Расскажу анекдот, слышанный мною от очевидца. В начале 1809 г., в пребывание здесь прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь знаменитых гостей. А.Л.Нарышкин сказал притом о своем бале: «Я сделал то, что было моим долгом, но я и сделал все это в долг».

*Н.И.Греч. Воспоминания*

В восемнадцатом или девятнадцатом году в числе многих революций в Европе совершилась

революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталонов; введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий NN (так в записных книжках Вяземский именовал себя. — *Н.М.*) первый явился в таких невыразимых на бал М.И.Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал нарядиться матросом».

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

Ох ты, провинциал! Разумеется, на балах во дворце мы должны быть в башмаках и белых штанах. С чего ты взял, что в ботфортах и зеленых панталонах? Да и гусары не бывают в сапогах. И еще спорил ты о сем с Великим Князем!

*К.Я.Булгаков. Из письма к брату  
А.Я.Булгакову от 24 марта 1834 г.*

Изобретательность гусар достигла однажды того, что они устроили бал в одном из губернских городов в квартире командира полка и пригласили весь город. Чтобы избавиться от ревнивых взоров маменек, папенок и тетюшек, а также чтобы иметь более свободного пространства для танцев, придумано было следующее: когда гости съехались и мамы чинно расселись с ридикюлями в руках по длинным обтянутым сукном скамьям с платформами, раздались страшный визг и крик: десяток дюжих гусар вздернули на блоках всех мамаш на платформах к потолку, где они оставались во все время бала и только а vol d'oiseau (с высоты птичьего полета — *фр.*) могли наблюдать за танцующими.

*М.И.Пыляев. Замечательные чудачки и оригиналы*

## *Маскарад*

В 1830 г. В.В.Энгельгардт открыл в своем доме впервые в России публичные балы и маскарады. Попасть на них было нетрудно, нужно было только купить билет и иметь маскарадный костюм. Кого только здесь не встретишь! Газета «Северная пчела» писала:

«Теперь мы можем сказать, что ни одна столица в мире, включая Париж и Лондон, не имеет такого великолепного публичного заведения... В доме В.В.Энгельгардта всюду паркет отличнейший, карнизы раззолоченные, потолки расписаны искуснейшими художниками, камины мраморные и бронзовые, стены или расписаны искусно, или сделаны под мрамор. Бывшая филармоническая зала представляет совершенство вкуса и великолепия... Каждая комната имеет свой особенный характер. Готическая комната расписана во вкусе средних веков; Военная — арматурами; Китайская обита великолепнейшими китайскими тканями, имеет выгнутый потолок с змеями и китайской живописью... Прибавьте к этому великолепные и соответствующие каждой комнате мебели, зеркала, богатые люстры... При этом не забыты и удобства. Тут же находятся боковые комнаты для туалета, теплые переходы и обширные сени... Многие жаловались, что при разъезде из Филармонической залы было тесно. Ныне три входа. Не упущено ничего из виду для доставления публике всевозможных удобств».

Маскарад — это раскрепощение, игра, в которой все невозможное становится возможным. Это разлом всех перегородок — сословных, имущественных, это отдых от бесконечно нормированного быта, немало утомлявшего общество. Маска уравнивает всех. Здесь светская дама может танцевать с мелким чиновником, которого никогда не приняли бы в ее доме, а именитый щеголь — флиртовать с дамой полусвета. (Об игре см. книгу: Йохан-Хейзинга. Homo ludens. М., 1992.) Временами в дом Энгельгардта на маскарад являлся сам император в сопровождении своего семейства. Они входили в зал без масок, оставались недолго, на это время все как-то замирало, становилось чопорным, а после их отъезда веселье возобновлялось с новой силой. Множество роскошно и разнообразно убранных комнат позволяли обществу то уединяться, то снова попадать в толчею, создавали фантастическое маскарадное пространство. Правда, из-за неразборчивости публики считалось, что порядочной женщине здесь не место, но так велик соблазн! У Лермонтова «Маска» говорит:

*Но ежели я здесь, нарочно с целью той —  
Чтоб видеться и говорить с тобой;  
Но если я скажу, что через час ты будешь  
Мне клясться, что вовек меня не позабудешь,*

*Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг,  
Когда я улечу, как призрак, без названья,  
Чтоб услышать из уст моих  
Одно лишь слово: до свиданья!..*

Злые языки передавали, будто императрица, переодевшись в домино, возвращалась сюда инкогнито. Женщину привлекали рискованные приключения. Никому не известная маска могла себе позволить поведение, недопустимое строгим светом, даже рискованные шутки и признания, волнующие кровь...

*Под маской все чины равны,  
У маски ни души, ни званья нет, — есть тело.  
И если маскою черты утаены,  
То маску с чувств снимают смело.*

Как всякая игра, маскарад имеет свои правила и свое так называемое игровое пространство и время. Время — от Святков до Великого поста (во время поста прекращались все публичные увеселения, разрешались только филармонические концерты серьезной музыки); пространство — бальные залы, украшенные по такому случаю особым образом. Правила игры, которые никто из участников не мог нарушить — иначе какая же это игра? — допускали к участию в празднике только тех, кто явился в масках и костюмах. Тот, кто надел костюм, ведет себя соответственно своей новой роли: графиня становится «пейзанкой», то есть крестьянкою, барон превращается в пастушка или шута. Появление императора *без маски*, как всякое исключение, только подтверждает правило.

«Был в маскараде и в первый раз от роду видел такую многочисленную и блестящую публику, — писал в своем дневнике С.П.Жихарев, только недавно, в 1806 г., приехавший в Петербург. — Кроме разнородных комически наряженных масок, танцевавших, прыгавших, дурачившихся и бесившихся напропалую, было много великолепно разодетых кадрилией, очень чинно расхаживавших и разговаривавших с некоторыми из сидевших в ложе дам. Мне очень понравилась одна женская маска, одетая разносчицею писем».

Иногда маскарадный костюм несет даже свою «идею». «На Святках в доме одних искренних моих приятелей давали маскарад, — писал литератор и издатель журнала А.Е.Измайлов поэту И.И.Дмитриеву 1 февраля 1824 г. — Мне присоветовали одеться Полярною Звездой (название альманаха, который издавали А.А.Бестужев и К.Ф.Рылеев). Я надел на себя арлекинское платье. Спереди и сзади прицепил две большие из серебряной бумаги звезды, по крайней мере по аршину. На шапке торчала еще маленькая серебряная звездочка. К поясу прикреплен был *фонарь критики* — детский барабан с надписью:

*Ах лучше барабан поэта,  
Чем грязный критики свисток».*

Впрочем, с точки зрения иностранцев, русские не имеют понятия о том, что такое настоящий маскарад. «18 февраля 1804 года. Были на маскараде, но он получился неудачным, — записывает Марта Вильмот в своем дневнике в Москве. — Никто не сумел представить маскарадный персонаж. Все были в бриллиантах, пышно одеты; правда, на хозяйне и хозяйке были крестьянские платья. Кто-то гордо ходил по комнатам, изображая гигантские сапоги, другой представлял ветряную мельницу; несколько летучих мышей пищали ваше имя en passant (проходя — *фр.*) и взмахивали тяжелыми крыльями, но что такое душа маскарада — тут не знают».

Обычай встречать Новый год в публичном маскараде утвердился в России в XVIII в. и особенно — во время царствования Екатерины II. Л.Н.Энгельгардт вспоминал придворный маскарад 1780-х гг.: «В Новый год и еще до Великого поста бывало несколько придворных маскарадов. Всякий имел право получить билет для входа в придворной конторе. Купечество имело свою залу, но обе залы имели между собою сообщение, и не запрещалось переходить из одной в другую. По желанию могли быть в масках, но все должны были быть в маскарадных платьях: домино, венецианах, капучинах и проч. Императрица сама выходила маскированная, одна, без свиты. В буфетах было всякого рода прохладительное питье и чай; ужин был только по приглашению обер-гофмаршала, человек на сорок, в кавалерской зале. Гвардии офицер наряжался для принятия билетов; ежели кто приезжал в маске, должен был пред офицером маску снимать. Кто первый приезжал и кто последний уезжал, подавали государыне записку; она была любопытна знать весельчаков. Как балы, так и маскарады начинались в шесть часов, а маскарад оканчивался за полночь».

*Маска* — в культуре вещь очень древняя. Она сопровождает человека почти с первобытных времен, когда племена надевали маски своего тотема, т.е. зверя, покровительствующего племени, его прародителя. Существовали маски ритуальных танцев, в античном театре — маски Трагедии, Комедии,

Талии, а в народных карнавалах ряжение сопровождало всевозможные обряды и осталось традиционным даже тогда, когда смысл его был утрачен. Но если карнавал принадлежит к народной культуре, то маскарад — явление культуры нового времени. В России маскарад был введен указом Петра I и преследовал цель расшатать жесткие перегородки официального общества. Маскарад способствовал созданию психологического климата, обеспечивающего большее единение официальной верхушки общества, часто независимо от происхождения.

Сначала маскарад представлял собой театрализованное костюмированное шествие, чрезвычайно многочисленное, но все же это был спектакль, рассчитанный на еще большее количество зрителей. Таким маскарадом сопровождалась знаменитая шутовская свадьба царского шута Зотова, 64-летнего старца, с миловидной 34-летней вдовой. Шут был одет патриархом — этакое карнавальное кощунство, вполне допустимое на Западе, но не в России. Недаром в народе ходила легенда, будто царь Петр оборотень, а настоящего царя подменили во время его пребывания в Европе. Здесь карнавальная свадьба имела политическую подкладку — как раз тогда царь отнял доходы у патриаршества в пользу короны. Как выглядел этот грандиозный спектакль, рассказывает в своих мемуарах Питер Генри Брюс, шотландец, принятый в русскую службу, родственник видных деятелей Петровской эпохи:

«Свадьба сей необыкновенной пары праздновалась маскарадом с участием около 400 лиц обоего пола. Каждые четыре человека были одеты в определенные платья и имели особенные музыкальные инструменты. Четыре самых заикающихся в государстве человека были назначены для приглашения общества; четыре самых неповоротливых толстых подагрика, каких только можно было найти, — скороходами; шаферы, распорядители, камердинеры были очень старыми, а священнику, совершавшему обряд венчания, перевалило за сто лет. Процессия, выйдя из царского дворца, пересекла по льду реку и проследовала к большой церкви близ здания Сената в таком порядке: сначала сани с четырьмя скороходами, затем сани с заиками, шаферами, распорядителями и камердинерами; потом князь Ромодановский — шутовской царь, он представлял царя Давида в его наряде, но для игры у него на место арфы была лира, обтянутая медвежьей шкурой. Поскольку он являлся основным действующим лицом представления, его сани были сделаны в виде трона, и на голове у него была корона царя Давида, а по четырем углам вместо скороходов к его саням были привязаны медведи, и один медведь стоял сзади, держась за сани двумя лапами. Медведей постоянно кололи стрелами, отчего они устрашающе рычали. Затем в специально сделанных для этого случая приподнятых санях ехали жених и невеста, окруженные купидонами, у каждого из которых в руке был большой рог. На передок саней вместо кучера был посажен баран с очень большими рогами, а сзади вместо лакея козел. За этими ехало еще несколько других саней, их тащили разные животные, по четыре в упряжке — бараны, козлы, олени, быки, медведи, собаки, волки, свиньи и ослы. Затем несколько саней с обществом, запряженные шестеркой лошадей каждые; сани были длинные, посередине со скамьей, подбитой волосом и обтянутой тканью. В санях ехало по двадцать человек, сидевших один за другим верхом, как на лошади. Едва процессия тронулась, зазвонили все городские колокола и с валов крепости, к которой они направлялись, забили все барабаны; разных животных заставляли кричать. Все общество играло или брнчало на различных инструментах, и вместе это производило такой ужасный оглушительный шум, что описать невозможно. Царь в компании с троими — князем Меншиковым и графами Апраксиным и Брюсом — были одеты фрисландскими мужиками, и каждый с барабаном».

В этом карнавальном шествии был, безусловно, кощунственный смысл, даже в том, что это действие сопровождало обряд всамделишной свадьбы. Но таково было петровское время, сложное и совсем не однозначное, эпоха великой ломки.

Другой такой же грандиозный праздник-карнавал был устроен в Москве по случаю коронации Екатерины II в 1762 г., во время Масленицы. Режиссером и изобретателем этого праздника был актер Федор Григорьевич Волков, зачинатель русского театра. В маскарадном шествии участвовало 4000 человек, 200 огромных колесниц, в каждую из которых запрягли от 12 до 24 волов.

Маскарад назывался «Торжествующая Минерва». В нем, как гласило печатное объявление, «изъявится глупость пороков и слава добродетели». Маскарад в течение трех дней, начиная с десяти часов утра до позднего времени, проходил по улицам: Большой Немецкой, по обеим Басманным, по Мясницкой и Покровской.

По возвращении последнего... начиналось всеобщее катание, на театре давались кукольные комедии, «фокус-покус и разные телодвижения»; вместе с желающими смотреть на это торжество в масках и без маски вызывались из публики желающие «бегаться на лошадях».

Шествие состояло из множества групп, которые изображали различные человеческие пороки — пьянство, «действие злых сердец», «вред непотребства» и т.п. В отделении, которое представляло «Мир наизыворот, или Превратный свет», хор шел «в развратном виде», т.е. в одежде наизыворот, некоторые музыканты шли задом, ехали на быках, на верблюдах, слуги в ливреях везли карету, в которой разлеглась лошадь, модники везли другую карету, где сидела обезьяна. Шествие замыкала группа Минервы,

окруженной всеми добродетелями, науками и искусствами. В этом маскараде отлично читается дидактический, поучительный характер великолепного зрелища. Екатерина представляла театрализованную программу своего царствования — в России было объявлено о наступлении «золотого века». Такие театрализованные представления, строго организованные, рассчитанные на определенный эффект, бывали и позже.

Другим костюмированным праздником была конная рыцарская карусель. Эта забава заведена была во Франции при дворе Людовика XIV. Устраивались рыцарские турниры, когда всадники в полном рыцарском вооружении должны были показать свое мастерство, на ходу стреляя по целям. При этом всадники объезжали арену по кругу, каждая группа участников составляла *кадриль*. Позже даже была изобретена механическая карусель, так хорошо знакомая нам всем с детства. Участники механической карусели состязались в ловкости и меткости, стреляя на ходу и метая дротики. Жадный до всех новинок Петр I завез в Россию механическую карусель, а первая рыцарская конная карусель состоялась в Петербурге в 1766 г. Ее участниками могли быть только именитые дворяне, составлявшие четыре кадрили, каждая из которых облачалась в костюмы разных народов и различалась каждой своим цветом. Были кадрили Славянская, Индийская, Римская и Турецкая. В отличие от Франции, в карусели принимали участие и женщины. Они мчались на золоченых колесницах и метали дротики в расставленные цели. Императрица и зрители располагались в огромном деревянном амфитеатре, специально для праздника построенном лучшими архитекторами на Царицыном Лугу. Карусели вошли в моду и продолжались вплоть до 1811 г. После Отечественной войны карусели превратились в рыцарские шествия, которые составляли часть придворного праздника. Сохранилось несколько портретов Николая I в рыцарских доспехах. Костюмированным император бывал только на царскосельских праздниках — торжественном явлении героизированного образа монарха своему народу. Таков Николай Павлович на страницах романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов»:

«В зеркале Николай Павлович увидел себя облаченным в рыцарские доспехи шестнадцатого века, в шлеме с поднятым забралом. Латы позванивали и скрежетали, и пригибали к полу, но в их холодном блистании был затаен высокий смысл, разгадывать который и восторгаться которым и стекались к царскосельским угодым вереницы приглашенных счастливыхцев...

Рыцарские доспехи были весьма тяжелы. Можно было бы, конечно, использовать облегченные, маскарадные, но Николай Павлович предпочел эти. Вообще, провозглашая что-нибудь, нельзя выглядеть ненатурально. Толпа должна тебя обожествлять, придворные — подражать и восхищаться, ближайшие сподвижники — понимать и сочувствовать, семья — гордиться. Он создавал это уже четверть века. Выросло новое поколение деловых, четких, несомневающих исполнителей его воли...»

Отголоски карнавала, с его характерной сменой позиции верха-низа (как в шутовской свадьбе, где Петр I — крестьянин, а шут — патриарх), сменой женского и мужского, — самые распространенные карнавальные переодевания, в России их можно было наблюдать в интимных царских собраниях времен Елизаветы Петровны и молодой Екатерины II — обе императрицы, достаточно стройные, прекрасно выглядели в мужском наряде. Память о маскарадной смене полов сохранилась в культуре — у Пушкина Онегин тщательно одевается, завивается и выходит из своей уборной

*...подобно ветреной Венере,  
Когда, надев мужской наряд,  
Богиня едет в маскарад.*

Рядом со стройными Елизаветой Петровной и Екатериной особенно смешными выглядели толстые и не всегда молодые фрейлины или братья Орловы, мужчины огромного роста и богатырского телосложения, в женских платьях с фижмами и хвостами, в которых они путались и падали, вызывая немало шуток и веселья. Это шутейное переодевание в особо ответственных для государства ситуациях приобретало символическое значение. Так было в моменты государственных переворотов, когда и Елизавета Петровна и Екатерина Алексеевна надевали офицерские мундиры полков, преданных им и участвующих в перевороте, садились в мужское седло на коня и возглавляли войско, возводящее претендентку на престол. Мужское платье имело особое значение: во главе войск выступала не слабая женщина, но император огромного государства. В таких случаях об императрице говорили, употребляя мужской род вместо женского: «Государь приказал».

В языческой древности ритуальная смена полов помогала племени «обмануть» душу убитого противника или зверя, избавить племя от грозящей ему опасности: мститель не узнавал воина, переодевшегося в женское платье. Об этом рассказывают этнографы. В России XIX в., стране христианской, такие обряды давно забыли. Но память о «ряженных» осталась и своеобразно трансформировалась. После Петровских реформ старинное русское платье и борода остались только в среде крестьян. Помещики, гладко выбритые и одетые в «немецкое платье», с точки зрения крестьян, и были ряженные. Ведь так в русской фольклорной традиции выглядел нечистый, о чем рассказал Гоголь в



своей повести «Ночь перед Рождеством»: «Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь он был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт...»

На время праздника маска становилась заменой «Я» личности, освобождая его от социальной роли, навязанной ему судьбой, от внешности, может быть, немолодой или безобразной. Человек играет ту роль, которая ему нравится. Поэтому особенно важен выбор маски. Если маска выбрана правильно, тогда и образ и поведение персонажа совпадают, что доставляет истинное удовольствие участнику маскарада, достигающему таким образом катарсиса, чувства гармонии. Но, как всякая игра, маскарад кончался, усталые участники снимали маски и возвращались к своим обычным делам.

*Вы ошиблись: Венеция дождей —  
Это рядом... Маски в прихожей,  
И плащи, и жезлы, и венцы  
Вам сегодня придется оставить,  
Вас я вздумала нынче прославить,  
Новогодние сорванцы!*

Так писала в «Поэме без героя» Анна Андреевна Ахматова. Всевозможные Коломбины, Пьеро, поэзия несбывшихся надежд и ожидание счастья — все это было в начале XX в., тоскливо обратившего взор к веку XVIII, веку галантных приключений, возвышенных чувств, веку разума и маскарадных дружеств.

\* \* \*

Маскарад был чрезвычайно великолепен; более двух тысяч человек было в богатых костюмах и домино. Большая длинная овальная галерея к одной стороне огорожена была занавесом, а в другом конце сделан был оркестр пирамидой, убранный с великим вкусом; было более ста музыкантов с инструментами, духовую, роговую и вокальную музыку; на самом вершине пирамиды был поставлен в богатой одежде литавщик-арап. Вся галерея освещена была висящими гирляндами вдоль и поперек, на которых поставлены были свечи.

Две пары танцевали кадрили: князь Дашков с княжною Барятинскою, в первый раз показавшиеся публике и удивившие всех своею красотою, а особливо ловкостью и гибкостью своего стана... она одета была просто в белом платье, а кавалер ее сверх мундира в белой домине.

*Л.Н.Энгельгардт. Воспоминания*

Страсть Кологривова к уличным маскарадам дошла до того, что, несмотря на свое звание, он иногда наряжался старою, нищею чухонкою и мел тротуары. Завидев знакомого, он тотчас кидался к нему, требовал милостыни и, в случае отказа, бранился по-чухонски и даже грозил метлою. Тогда только его узнавали, и начинался хохот. Он дошел до того, что становился в Казанском соборе среди нищих и заводил с ними ссоры. Сварливую чухонку отвели даже раз на съезжую, где она сбросила свой наряд, и перед ней же и винулись.

*В.А.Соллогуб. Воспоминания*

Здесь были домино, маски, военные, фраки, несколько лезгинских, черкесских, татарских костюмов, которые надели молодые офицеры с осиными талиями, но не видно было ни одного типично русского костюма, который демонстрировал бы колорит страны. Россия не придумала еще своей характерной маски.

*Теофиль Готье. Путешествие в Россию*

## ***В театральных креслах***

В России театр в том смысле, как мы его понимаем, появился довольно поздно. Особой любительницей спектаклей была дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна. Она не только завела придворный театр и пригласила, например, итальянскую труппу, но требовала, чтобы все придворные и

вообще служащие посещали театр: должностные лица обязывались подпискою быть на всех представлениях. Однажды, когда на французскую комедию явилось мало зрителей, в тот же вечер были разсланы ездовые к более значительным людям с вопросом, почему они не были, и с уведомлением, что впредь «за неприезд полиция будет каждый раз взыскивать по пятидесяти рублей штрафа». В екатерининское время русская публика уже охотно посещала спектакли. В Петербурге был немецкий театр, работала итальянская труппа, существовал и русский театр. Г.Р.Дер-жавин писал: «Мы ныне смеем говорить, что хотим или не хотим ехать в комедию». Больше не было необходимости зазывать зрителей — театр становился все более привлекательным для русского общества.

Во времена Пушкина театр любили страстно. Он стал своеобразным клубом, спектакли посещали ежедневно. Молодых людей манили волшебный мир кулис, прелесть балета с его пируэтами и антраша, величественная красота трагедии. «Мне кажется, что из всех слав поэта слава поэта-трагика яснее, блистательнее и обширнее и даже едва ли сидит на высоте не выше всех прочих, включая эпоса», — писал брату в 1823 г. поэт Николай Михайлович Языков, студент Дерптского университета. При этом драматург должен был подчиняться строгим правилам и ни в коем случае не смешивать жанры, вставляя в трагедию комические сценки, например сцену с могильщиками в шекспировском «Гамлете». П.А.Вяземский вспоминал, как директор театра драматург Ф.Ф.Кокошкин убеждал молодых авторов. «Ведь вы меня знаете, — говорил он молодым людям, — я человек честный, и какая охота была бы мне вас обманывать: уверяю вас честью и совестью, что Шекспир ничего хорошего не написал и сушая дрянь».

Холостая молодежь жила театром. Молодая компания, к которой принадлежал Пушкин, особенно литературное общество «Зеленая лампа», была страстными театрами. Каверин, Якубович, Энгельгардт, Яков Толстой и сам Пушкин не пропускали почти ни одного спектакля. Вокруг молодых актрис и театральных школ развевалась особая праздничная жизнь, насыщенная эротикой и отважным авантюризмом. Поединки, похищения, подкуп прислуги, переодевания, рискованные свидания — здесь, по словам Ю.М.Лотмана, творили из жизни авантурный роман. «Театральная школа находилась через дом от нас, на Екатерининском канале, — вспоминала Авдотья Яковлевна Панаева, дочь актера Брянского. — Влюбленные в воспитанниц каждый день прохаживались бесчисленное число раз по набережной канала мимо окон школы... Воспитанницы постоянно смотрели в окна и вели счет, сколько раз пройдет обожатель, и мера влюбленности считалась числом прогулок мимо окон. Пушкин тоже был влюблен в одну из воспитанниц-танцорок и также прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку, куда выходила часть нашей квартиры, и тоже поглядывал на наши окна, где всегда сидели тетеньки за шитьем. Они были молоденькие, недурны собой. Я подметила, что тетеньки всегда волновались, завидя Пушкина, и краснели, когда он смотрел на них. Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо».

Актерское существование было заполнено тяжелым и самоотверженным трудом. «Я очень любила присутствовать при считке ролей или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы, но я заранее пряталась в укромный уголок, между турецким диваном и бюро, и оттуда наблюдала за всеми.

Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутой большою тетрадью, я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли; кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на середину комнаты; иногда по двое и по трое».

Сцена имела свои строгие законы: в трагедии, например, актеру предписывалась поза, в которой он должен был произносить монолог. Актриса Колосова-Каратыгина вспоминала, как преподавал декламацию и сценическое искусство А.А.Шаховской, талантливый комедиограф и самоотверженный служитель театра, любивший его до самозабвения: «Способ учения Шаховского состоял в том, что, прослушав чтение ученика или ученицы, князь вслед читал сам, требуя рабского себе подражания: это было нечто вроде наигрывания или насвистывания разных песен ученым снегирям и канарейкам. К тому же он указывал, и при каком стихе необходимо стать на правую ногу, отставя левую, и при каком следует перекинуться на левую ногу, вытянув правую, что, по его мнению, придавало чтецу «величественный вид». Иной стих следовало проговорить шепотом и после «паузы», сделав обеими руками «индикцию» в сторону возле стоявшего актера, скороговоркою проговорить заключительный стих монолога. Немудрено было запомнить его технические выражения; трудно, а для меня часто и вовсе было невозможно не сбиться с толку и не увлечься собственным чувством».

Свой восторг мастерством актера, прекрасно сыгравшего свою роль, публика выражала иначе, нежели сейчас. «Как ему аплодировали! — восхищался друг Жуковского Андрей Иванович Тургенев игрой замечательного московского актера Василия Петровича Померанцева (1736—1809). — Каверин из кресел бросил туго набитый кошелек! И он умел соединить наклонение благодарности с выражением отчаяния, в те минуты его терзавшего. Потом, когда надо было уйти, он, отошед *au fond du theatre* (в глубину сцены —

фр.), начал кланяться и между тем послал своего щитоносца поднять кошелёк. Прекрасно!» Позднее публика перестала метать кошельки своим любимцам. А.Я.Панаева вспоминала: «В моем детстве артистам не подносили ни букетов, ни венков, ни подарков. На другой день бенефиса от государя присылался подарок на дом: первым артистам — бриллиантовый перстень, артисткам — серьги или фермуар. Моду подносить букеты и подарки ввели иностранные танцовщицы, появившиеся на петербургской сцене».

Как и теперь, в театральном зале были партер, ложи и балкон, который называли галерея, или раек. Однако партер выглядел иначе. В нем было два отделения: кресла, или паркет, и собственно партер, пустое пространство за креслами, где можно было стоять. Кресла обычно покупали на спектакль или даже абонировали на весь сезон. В первых рядах появлялись люди сановные, отцы города, за ними располагались щеголи, согласные платить за кресла достаточно дорого. «Так как кресел было тогда не более двух рядов, то обыкновенно все ходили в партер, куда за вход платили только по одному рублю», — вспоминал приятель Пушкина Ф.Ф.Вигель. Впрочем, в 1820-х гг. в театре уже было 10—12 рядов кресел.

За креслами, отделенными шнурком от остальной части зала, располагались стоячие места. Их и называли партером, то есть места, где можно было и стоять, и ходить. Здесь собиралась наиболее восприимчивая часть публики — художники, литераторы, студенты, клерки. Авторы прислушивались к их реакции. Один из водевилей Хмельницкого заканчивался куплетами:

*Все пустились в водевили,  
А что пользы, например,  
Если мы не угодили  
И не хлопает партер?*

На спектакли, имеющие успех, в партер набивалось огромное количество народа — стояли «впритирку». Собирались сюда загодя, за два-три часа до начала, чтобы занять место поудобнее. Страстный театрал С.П.Жихарев вспоминал о представлении трагедии Озерова «Дмитрий Донской», имевшей огромный успех, — в период наполеоновских войн патриотическая тема находила живой отклик в сердцах россиян: «...Буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни. Были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 рублей и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали *БРАВО!* наравне с нами».

Во времена Пушкина спектакли начинались рано, обыкновенно в шесть часов, и заканчивались уже в девять, так что «почетный гражданин кулис» успевал как раз к разгару бала или маскарада. «В половине шестого часа я пришел в театр и занял свое место в пятом ряду кресел. Только некоторые нумера в первых рядах и несколько лож в бельэтаже не были еще заняты, а в прочем все места были уже наполнены. Нетерпение партера ознаменовалось аплодисментами и стучанием палками; оно возрастало с минуты на минуту — и немудрено: три часа стоять на одном месте не безделка, я испытал это истязание... Однако мало-помалу наполнились все места, оркестр настроил инструменты, дирижер подошел к своему пюпитру; но шесть часов еще не било, и главный директор не показывался еще в своей ложе. Но вот прибыл и он, в голубой ленте по камзолу, окинул взглядом театр, кивнул головой дирижеру, оркестр заиграл симфонию, и все притихли, как бы в ожидании какого-то необыкновенного таинственного происшествия. Наконец, с последним аккордом музыки, занавес взвился, и представление началось».

Многоярусная театральная хранилища мягко озарялась оплывающими свечами массивной люстры и легких трехсвечных жирандольей. Люстру «заправляли», поднимая ее в специальную горницу под потолком, для чего устроена была подъемная машина. Затем люстру осторожно опускали на прежнее место. Мягко поблескивала позолота и бархат лож, в свете колеблющихся свечей особенно красиво выглядели обнаженные женские плечи, вспыхивали бриллианты подвесок и диадем, золотое и серебряное шитье на мундирах офицеров, стоящих за спиною дам. Молодые щеголи наводили лорнеты на *ложи незнакомых дам*. Дамы знали, что их рассматривают: гордая и непринужденная осанка, изящно причесанные головки раскачиваются на стебельках тонких шеек, легкая улыбка блуждает по губам. Этикет не позволял ни громкого смеха, ни резких движений; веер или в руках у дамы, или на коленях — этикет не позволяет положить его на бордюр ложи! У пожилых на цепочке висят лорнеты, которые они то и дело подносят к глазам — играют... Во время представления свет не гасили. И когда стали погружать зрительный зал в темноту, многим это не понравилось. Ф.Ф.Вигель приписывал это изобретение директору театра Шаховскому: «Вот еще одна странность Шаховского: он находил (вероятно, из экономических видов), что сцена производит гораздо более эффекта, когда она одна только освещена, а все другие части театра погружены во тьму. Оттого-то в партере можно было в жмурки играть, а в ложах, чтобы рассмотреть друг друга в лицо, всякой привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы».

В театре каждый занимал место в соответствии со своим статусом. С изменением социального

положения менялось и место. Самый верхний ярус, раек, заполняли писцы, приказчики модных магазинов, камердинеры, конторские служащие, артельщики. Они громко выражали свое отношение к тому, что происходило на сцене, искренне переживали. Иногда попадал сюда совершенно неискушенный зритель — о таком рассказывает П.А.Вяземский в «Старой записной книжке»:

«Когда бываю в русском театре (этому давно), припоминаю отзыв одного слуги. Барин, узнав, что он никогда не видал спектакля, отпустил его в театр. Любопытствуя проведать, какие он вынес впечатления, барин спросил его на другой день:

— Ну как, понравился тебе театр?

— Очень понравился, — отвечал слуга.

— А что именно и более понравилось?

— Да все: тепло, светло, люстра пребогатеишая, так и горит, народу много, ложи наполнены знатными господами и барынями, музыка играет. Праздник, да и только.

— Ну, а далее, как понравились тебе комедия и актеры?

— Да, признаться, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собою про дела свои, я и слушать их не стал».

В фельетоне Фаддея Булгарина описан быт театрала, много лет посещавшего театр. Сперва он был писцом и занимал место в райке. Затем стал ходатаем и стряпчим, и из галереи, как называли раек, спустился в партер. Здесь он заметил «друзей партера», которые «хлопают при каждом слове, кричат «браво» при каждой размашке и вызывают после каждой пьесы». Когда практика мелкого дельца расширилась и захватила «круг высших чиновников», он ощутил потребность «непременно играть роль человека порядочного... Разумеется, что при этом я перешагнул из партера в кресла». Женитьба перевела его в ложу третьего яруса, из которого он постепенно, с ростом благополучия, добрался до первого яруса: «Я с завистью посматриваю в раек, где беззаботные и трудолюбивые люди наслаждаются в полной мере спектаклем... Здесь, в ложе первого яруса, из приличия мне нельзя обнаружить ощущения, производимые в душе пьесою или игрою актера, а блаженные посетители райка восхищаются каждым воплем актера, каждым сильным его движением, топаньем, размахиванием рук и падением на землю, громогласно изъявляют свою радость и награждают деятельного артиста рукоплесканием и вызовом на сцену».

Явившись в театр, пушкинский Онегин, разочарованный денди, мельком взглянул на сцену и изрек: «Балеты долго я терпел, // Но и Дидло мне надоел». Балет в пушкинское время переживал расцвет. Карл Людовик Дидло, «верховный жрец хореографии», был приглашен на русскую сцену еще в конце XVIII в. и к концу 1810-х гг. господствовал в театре. Старый театрала вспоминал:

«У нас был первый в мире хореограф, у нас был Дидло, не имевший в своем ремесле ни предшественников, ни последователей. Дидло единственный, неподражаемый, истинный поэт, Байрон балета... Мифологические балеты его сочинения — настоящие поэмы. Тут видели мы весь Олимп со всею роскошью греческого воображения, видели оживленными предания древних поэтов, просветивших род человеческий. Никто, кроме Дидло, не умел так искусно пользоваться кордебалетом. Из этой толпы милых воздушных девиц Дидло, как будто из цветов, составлял гирлянды, букеты, венки. Каждая сцена изображала новую восхитительную картину из групп, расположенных гениально, живописно, очаровательно. Не довольствуясь землею, Дидло вознес свои картины на небеса и стал помещать группы в воздухе, в соответствии с земными группами. Он первый ввел в балеты так называемые *полеты*, т.е. воздушные сцены, и петербургскому театру стала подражать вся Европа. Среди этих живых картин Дидло помещал отдельные танцы первых сюжетов балетной труппы».

«Великий хореограф», «один из первых и отличнейших балетмейстеров Европы», как определяли его современники, предъявлял к себе самые высокие требования. Дидло считал: «Чтобы быть хорошим балетмейстером, надо употребить большую часть своего времени на чтение исторических книг, извлекать из них сюжеты для будущих созданий и прилагать всевозможное старание об успехах своих учеников. Балетмейстер должен иметь также познания о нравах и обычаях разных народов и изучить их национальные наклонности и костюмы; иметь дар поэтический, чтобы излагать свои мысли в программах. Он должен знать живопись и механику, чтоб уметь составлять в балетах разного рода живописные группы и удобнее объясняться с декоратором и машинистом; а музыка для балетмейстера — самая необходимая вещь, как для сочинения балетов, так и для пособия капельмейстеру...» «Хорошо составленный балет, — писал знаменитый французский танцовщик XVIII в. Новерр, — есть живая картина страстей, нравов, обычаев и костюмов всех народов земли; следовательно, он должен быть пантомимой во всех жанрах и через посредство зрения обращаться к душе».

Дидло также считал, что главное достоинство танца не в прыжках, но в грации и выражении лица танцовщика: «Танцовщица, группируя себя, должна подражать хорошей картине или статуе, потому что те, в свою очередь, подражают природе во всей анатомической строгости». Державин, смотревший балет Дидло «Зефир и Хлоя», по окончании спектакля воскликнул со слезами на глазах: «Нет! нет! самое пламенное воображение поэта никогда не может породить подобного!»

Таков был Дидло на сцене. П.А.Каратыгин оставил интересные воспоминания о том, каким Дидло был в жизни, с точки зрения тех, кого он «дрессировал»: «Я живо помню его личность: он был среднего роста, худощавый, рябой, с небольшой лысиной; длинный горбатый нос, серые быстрые глаза, острый подбородок; вся вообще его наружность была некрасива. Высокие воротнички его манишки закрывали в половину его костлявые щеки. Он был в непрерывном движении, точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его была беспрестанно занята сочинением или какого-нибудь па или сюжетом нового балета, и потому его подвижное лицо беспрерывно изменялось и всю его фигуру как-то подергивало; ноги его были необыкновенно выворотны, одну из них он беспрестанно то поднимал, то отбрасывал в сторону. Это он делал, даже ходя по улице. Кто видел его в первый раз, мог принять его за помешанного, до того все его движения были странны и угловаты. Вообще этот замечательный человек был фанатик своего искусства и все время свое посвящал на непрерывные занятия».

Театр создавали не только балетмейстер, музыка и актеры. Замечательные декорации придавали особую прелесть спектаклю. Знаменитые спектакли в Архангельском состояли в том, что перед зрителями, собравшимися в маленьком зале, раскрывался занавес и одна за другою под музыку сменялись декорации знаменитого Гонзаго, поражающие эффектами перспективы и завораживающие своею красивою, одушевленной, возвышенной «реальностью». Актеры, входящие в декорации, должны были только дополнить их, превращая в «живую картину».

Театр формировал зрителя. Трагическая актриса Екатерина Семенова создавала величественные образы героинь, а Истомина своим упоительным танцем заставляла учащенно биться юные сердца. Каратыгина, Брянский, Сосницкий, Вальберхова и многие другие оставили яркую память в русской культуре, хотя, казалось бы, нет ничего более преходящего, чем искусство актера. Театр и литература влияли и на быт человека, формируя нравы и манеру жизни. Это важно иметь в виду, изучая дворянскую культуру первой трети XIX в. Ю.М.Лотман писал: «Есть эпохи — как правило, они связаны с «молодостью» тех или иных культур, — когда искусство не противостоит жизни, а как бы становится ее частью. Люди осознают себя сквозь призму живописи, поэзии или театра... В подобные эпохи искусство и жизнь сливаются воедино, не разрушая непосредственности чувств и искренности мысли. Только представляя себе человека той поры, мы можем понять это искусство, и, одновременно, только в зеркалах искусства мы находим подлинное лицо человека той поры». В середине XIX в. произойдут в ориентации общества серьезные перемены и роль искусства изменится.

\* \* \*

Шамфор в своих *Анекдотах и характерах* рассказывает между прочим следующее. Императрица Екатерина пожелала иметь в Петербурге знаменитую певицу Габриэлли. Та запросила пять тысяч червонцев на два месяца. Императрица велела сказать ей, что она подобного жалованья не дает ни одному из фельдмаршалов своих. «В таком случае, — отвечает Габриэлли, — пускай ее величество своих фельдмаршалов и заставляет петь».

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

В 1811 г. в Петербурге сгорел Большой Каменный театр. Пожар был так силен, что в несколько часов совершенно уничтожилось его огромное здание. Известный остролов А.Л.Нарышкин, находившийся на пожаре, сказал встревоженному Александру I:

— Нет ничего более: ни лож, ни райка, ни сцены, — все один партер.

*Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII и XIX столетий*

Актер С.Н.Сандунов, повстречавшись на вечеринке с старшим братом своим, известным переводчиком шиллеровских «Разбойников» и сенатским обер-секретарем, таким же остряком, как и он сам, они о чем-то заспорили; а как братья ни за что не упустят случая попотчевать друг друга сарказмами, то старший в пылу спора и сказал младшему: «Тут, сударь, и толковать нечего: вашу братию всякий может видеть за рубль!» — «Правда, — отвечал актер, — зато вашей братии без красненькой и не увидишь».

*С.П.Жихарев. Записки современника*

Известно, что драматург князь А.А.Шаховской, человек очень умный, талантливый и добрый, был ужасно вспыльчив. Он приходил в неистовое отчаяние при малейшей безделице, раздражавшей его, особенно когда он ставил на сцене свои пьесы. Любовь его к сценическому искусству составляла один из главных элементов его жизни и главных источников его терзаний.

На репетиции какой-то из его комедий, в которой сцена представляла комнату при вечернем

освещении, Шаховской был недоволен всем и всеми, волновался, бегал, делал замечания артистам, бутафорам, рабочим и, наконец, обернувшись к лампе, стоявшей на столе, закричал ей:

— Матушка, не туда светишь!

*Рассказы из жизни русских писателей*

Театральные чиновники теперь тайком, а прежде открыто снабжали своих знакомых креслами, ложами и всякими местами в театре бесплатно. К одному такому чиновнику беспрестанно ходил один проситель, искавший места в штате дирекции. Чиновник обещал, но, разумеется, не исполнил. Проситель был так настойчив, что от него стали прятаться. Наконец проситель забрался за кулисы и поймал чиновника, успевшего забыть свои обещания.

— Что вам угодно? — спросил он второпях.

— Как что угодно? Места.

— Места? Эй, капельдинер, проводи их в места за креслами.

— Вы шутите! Я человек семейный...

— Семейный? Ну так проводи их в ложу второго яруса...

*Н.В.Кукольник. Анекдоты*

## *Мода*

«Мода, которой престол в Париже и которая, по-видимо-му, так своенравно властвует над людьми, сама, в свою очередь, слепо повинуется господствующему мнению в отчизне своей, Франции, и служит, так сказать, ему выражением, — вспоминал Ф.Ф.Вигель. — При Людовике XIV, когда он Францию поставил с собой на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружев, висящими концами прикреплялись к галстукам; женщины тонули в обширных вентюргалтенах, с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами; везде было преувеличение, все топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Людовике XV, когда забавы и Амуры сменили Славу, платья начали коротеть и суживаться, парики понижаться и наконец исчезать: их заменили чопорные тупеи, головы осенились «голубиными крылышками», ailes de pigeon (*фр.*). При несчастном Людовике XVI, когда философизм и американская война заставили мечтать о свободе, Франция от свободной соседки своей Англии перенесла к себе фрак, панталоны и круглые шляпы...»

История — глазами моды... Костюмы XVIII в. очень нарядны. Мужской костюм состоял из камзола, шитого из разных материй малинового или зеленого цвета, — темных цветов не носили, только штаны — кюлоты (до колен) могли быть сшиты из черного атласа. Камзолы расшивали золотом и разноцветными шелками, башмаки украшали пряжками, усыпанными драгоценными камнями, пуговицы были настоящее произведение ювелирного искусства. При этом наряде носили белые шелковые чулки, белье тонкого голландского полотна, манжеты — шитые или кружевные. Современники рассказывали такой анекдот о богаче екатерининского времени канцлере князе Куракине, которого называли «бриллиантовый князь»: «Куракин был большой педант в одежде: каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка и т.д. Однажды, играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту: открывая табакерку, он увидел, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильно, что он с крупными картами проиграл игру; но, к счастью, никто, кроме него, не заметил ужасной небрежности камердинера».

А между тем этот человек был одним из самых образованных людей своего времени и совсем не глуп!

Дамы не отставали от мужчин. Роскошные платья шили из бархата, штофа, атласа, обшивали блондами, накладками из флера и дымки, серебряной и золотой бахромой. И у мужчин, и у женщин в костюме обязательно присутствовала деталь, которую особо отмечала старая москвичка Е.П.Янькова, больше известная как бабушка Благово: «Теперь многие даже и не поймут, что такое *красные каблуки*. Не все ли равно, что красные, что черные — это одна только мода. Может, кто и, не зная, нашивал красные каблуки, но, конечно, не таковы были Юсупов, Куракин и подобные им. Они понимали значение и потому-то и продолжали вопреки моде одеваться и обуваться по-своему.

Красные каблуки означали знатное происхождение; эту моду переняли мы, разумеется, у французов, как и всякую другую; там, при версальском дворе, при котором-то из их настоящих последних трех королей, вошло в обычай для высшего дворянства ходить на красных каблуках. Это очень смешное

доказательство знатности переняли и мы, и хотя сперва над этим посмеивались и критиковали, однако эту моду полюбили и у нас, в особенности знатные царедворцы: разве им можно не отличаться от простого народа?»

Французская революция принесла большие изменения. Дамы отбросили фижмы, пудренные парики и шлейфы. Жозефина, супруга первого консула Бонапарта, ввела в моду античные туники и легкие сандалии или атласные туфельки. В нарядах отражалось равнение на античные добродетели и римские доблести. Даже прически подражали строгой простоте античных форм. Ф.Ф.Ви-гель смеялся над глупым подражанием: «Что касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая оделась Корнелией, которая Аспазией... И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было бы так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкие Психеи порхают на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну, что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны».

Однако ради справедливости стоит сказать, что до России эти моды дошли не сразу. Варвара Николаевна Головина, придворная дама Екатерины II, посетившая Францию во время революции, вспоминала: «Только в Нанси и Мо заметила я революционный дух. Отправившись гулять в одном из этих городов, пока меняли лошадей, я встретила двоих-троих молодых людей, которые принялись кричать:

— Ого-го! Теперь уже не носят шлейфов, потому что нет больше пажей, чтобы их поддерживать!

— Ошибаетесь, господа, — отвечала я, — я не француженка, а русская, а мы не проливали крови наших государей!

Они замолчали и поспешно удалились».

Мода становилась знаком политических пристрастий. Французская революция не на шутку испугала Екатерину II, а ее сын Павел, едва вступив на престол, принялся бороться с «французской заразой» и одним из первых указов запретил... круглые шляпы. Такая борьба и развеселила, и рассердила современников. Вигель пишет: «Одно поразило меня тогда в Киеве: новые костюмы. Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок, сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами со стоячим воротником, треугольными шляпами, камзолами, коротким нижним бельем и ботфортами. В столицах уже давно успели привыкнуть к сей уродливости, а к нам в деревню или приказание не дошло, или оно в ней не исполнялось».

Ему вторил Н.И.Греч: «Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками».

А может быть, недаром такое пристальное внимание к костюму? Быстро меняющаяся мода — не только причуда щеголей, но и знак социальной принадлежности человека. Например, Петроний в «Сатириконе» говорит, что при отпущении раба на волю он получал право надеть *шляпу*, знак свободы. Вступив на престол в 1796 г., сорокалетний император хочет стереть в памяти современников прошедшее царствование, он делает все наоборот: освобождает тех, кто был сослан, меняет указы и распоряжается, чтобы общество выглядело иначе, чем при Екатерине: жилеты велено заменить камзолами, запрещены башмаки с пряжками, большие шейные платки, дамам запрещено носить на поясе и через плечо разноцветные ленты, украшенные блестками, потому что они похожи на орденские.

Павел строго карал за нарушения и вольнодумство в одежде. Особенно это касалось военных мундиров, где не только офицеры, но и солдаты должны были самым тщательным образом следить за сиянием мундирных пуговиц и своей прической. Шарль Массон, француз, бывший при русском дворе и оставивший свои «Секретные записки», писал: «Старый оригинал фельдмаршал Суворов, получив приказание ввести эти новшества и небольшие палочки для измерения косичек и буклей, сказал: «Пудра не порох, букли не пушка, а косички — не штыки». Эти остроумные и осмысленные слова, которые по-русски звучат как рифмованная пословица, переходили из уст в уста и были тем истинным основанием, которое побудило Павла вызвать к себе Суворова и отправить его в отставку».

В.Н.Головина вспоминала, что «Павел ввел не только среди военных, но и среди придворных самую суровую дисциплину: опоздание на одну минуту наказывалось арестом, а большая или меньшая тщательность в прическе мужчин часто служила поводом к их изгнанию или к фавору. Представляться ему нужно было не иначе как в костюме времен Петра III». Человек так устроен, что насилие в одежде переживает как самое бесцеремонное вмешательство в его личную жизнь. «Это, конечно, безделицы, — писал в своих воспоминаниях Н.И.Греч, — но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения». Может быть, поэтому, как только Павла не стало, на улицах Петербурга появились запрещенные шляпы. Вигель вспоминал: «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной

им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных. В военном мундире сделаны перемены гораздо примечательнейшие: широкие и длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва прикрывающие грудь; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее поворачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новой обмундировкой, которая теперь показалась бы странною. Со времен Петра Великого зеленый цвет был национальным в русской армии, но до Павла употреблялся один только светлый; преемник сохранил введенный им темно-зеленый цвет».

Как всегда, люди пожилые оставались верны модам времен своей молодости. Е.П.Янькова вспоминала: «Батюшка до кончины своей носил французский кафтан синего цвета, всегда белое жабо, белый пикейный камзол, чулки и башмаки. Он носил парик и пудрился и только за год до смерти снял парик и стал седым старичком». Другая мемуаристка, Екатерина Сабанеева, вспоминала о своем двоюродном деде Григории Ильиче Раевском: «Он ни за что не хотел следовать новейшим модам, но одевался по последней моде своей юности. Сюртуки его были очень длинные, жабо и манжеты больших размеров и ослепительной белизны. Редко можно было встретить такого изящно-красивого старца, каков был Раевский...»

Война 1812 г. все перевернула. Французские моды теперь выглядели непатриотично, французских модисток выгнали из Москвы. Что теперь делать? Других платьев не выдумали, как одеваться? Вигель вспоминал: «Всю осень, по крайней мере, у нас, в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них, почти все, оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались». П.А.Вяземский вспоминал о княгине Голицыной, знаменитой *Princesse Nocturne* (Ночная княгиня — *фр.*): «События 1812 г. живо расшевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре после окончания войны явилась она в Москве, на обыкновенный бал Благородного Собрания, в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Невозмутимо и с некоторой храбростию прохаживалась она по зале и посреди дам в обыкновенных бальных платьях; с недоумением, а может быть, и насмешливым любопытством смотрели они на эту возрожденную Марфу Посадницу. Во всяком случае эти барыни худо понимали, что это значит». Впрочем, все новое — это хорошо забытое старое: ведь впервые русский костюм при дворе ввела Екатерина II. Вслед за бабкой Николай I объявит русский сарафан с кокошником официальным придворным платьем. Конечно, сарафан стилизованный, из парчи и бархата, и кокошник расшит драгоценными камнями. Этот наряд стал как бы частью официальной формулы русского самодержавия: православие, самодержавие и народность.

В 1817 г. Пушкин окончил Лицей и наконец оказался на свободе, в Петербурге. Какие моды застал поэт в столице? Вяземский вспоминал: «Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами поверх панталонов; введены в употребление и законно утверждены широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапогов или при башмаках на балах». Н.Ф.Павлов, описывая это время в повести «Аукцион», так изображает своего героя: «Помада новейшего изобретения поставила стоймя зыбкий локон хохла, и великолепный узел черного атласного галстука прилег к высокой груди».

Изображая день своего героя Онегина, Пушкин пишет:

*Надев широкий боливар,  
Онегин едет на бульвар...*

«В описываемую эпоху на улицах Петербурга попадались и модные на головах «боливары», это была шляпа необычайной величины, не сняв такой шляпы, трудно было пройти в узкую дверь; но были также гулявшие на улице, усвоившие себе привычку ходить с непокрытой головой. К таким принадлежали приезжавшие по торговым делам англичане из секты квакеров: они ходили по улицам без шляп в силу того, что снятие шляп перед кем бы то ни было им было запрещено, — писал знаток старого Петербурга М.И.Пыляев. — Молодые модники ходили зимой в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках — ясные золотые пуговицы, воротники в аршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах: обычай носить серьги у мужчин явился с Кавказа, от грузин и армян, нередко тоже протыкали уши мальчикам, по суеверию, от некоторых болезней. Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет, «собутельники лихие», все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги. Первый восстал на эту моду генерал



Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка: он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что известная пословица — для милого дружка и сережка из ушка — придумана в то время солдатами. Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что стыдно было глядеть на него. Военные ходили затянутыми в корсеты: для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на них сильнее трепетали густые эполеты. Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем; жилет непременно бывал расстегнут, а грудь — в батистовых брыжах. В конце сороковых годов типом для наряда щеголя считался актер, игравший роли первых любовников... Первые любовники описанной эпохи ходили на улицу и на публичные гулянья в венгерке оливкового цвета и с красным шарфом на шее. Шиком в то время считалось только менять часто шарфы, а не платья. Молодые театралы, подражая актерам, являлись тоже на улицах в таком наряде. Нынешние брюки сверх сапог вошли в моду тоже в начале царствования императора Николая I; перенял эту моду Петербург у приезжавшего тогда в наш город герцога Веллингтона, генерал-фельдмаршала английской и русской армий. Такие брюки стали называть «веллингтонами». Знаменитый сподвижник Александра I ввел у нас и узкий длинный плащ без рукавов, называемый тогда воротником (cools)».

Журналы без модных страничек продавались хуже, чем те, в которых публиковали модные картинки. Серьезный журнал «Московский телеграф» не только прикладывал к каждому номеру картинку, но и рассказы о модных обычаях. В 1825 г. журнал сообщал, что дамы теперь носят не два браслета, как прежде, но несколько браслетов на правой руке и один на левой. Ожерелье теперь тоже носят не одно, но несколько или одно широкое, часто из пяти медальонов, скрепленных пучками золотых роз. «Веера в страшной моде: обыкновенно дамы носят их за поясом. Другая необходимость — маленький альбом, в котором записывают *ангажированье*: это записка победы».

В 1834 г. женился молодой граф М.Д.Бутурлин и с удивлением описывает в своих мемуарах наряд юной москвички, ее сборы на бал: «Вместо не появившихся еще тогда кринолинов были *турнюры*, сиречь одно или два полотенца, которые впихивались под платье, но только сзади, на той части тела, что из вежливости мы назовем *сидением*. И отчего она оттопыривалась, как по рисункам оно бывает у готтентоток (в натуральном, конечно, виде) или у ордынских баранов с курдюками. Эта процедура впихивания полотенца и прикалывания его, чтобы оно не спадало, очень меня забавляли, когда жена моя одевалась на бал. Талии были очень длинные (т.е. низкие), а платья короткие. Для головной уборы существовал еще с 20-х годов Аполлонов узел (noeud d'Apollon). Это был действительно узел или широкий бант из поддельных волос, вышиною не менее, конечно, четверти аршина; он втыкался вместе (кажется) с гребнем на самой середине макушки головы; от висков же к глазам закручивались и приклеивались к лицу гуммиарабиком тоненькие крючочки из собственных волос, называемые *acroшерами* (acroche-coeur). Несмотря на все это искажение, красота брала свое, и вовсе не к лицу причесанная головка кружила множество голов».

Сопоставляя свет с маскарадом, И.А.Крылов писал в своем журнале «Почта духов»: «Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтобы показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или, что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать, что сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных людей, из коих, может быть, большая часть под наружную личиною в сердцах носит обман, злобу и вероломство».

\* \* \*

— Знаете ли вы Вяземского? — спросил кто-то графа Головина.

— Знаю! Он одевается странно.

Поди, после гонись за славой! Будь питомцем Карамзина, другом Жуковского и других ему подобных, пиши стихи, из которых некоторые, по словам Жуковского, могут называться образцовыми, а тебя будут знать в обществе по какому-нибудь пестрому жилету или широким панталонам!

*П.А.Вяземский. Из записной книжки*

Меттерних говорил в Вене во время конгресса, что он был бы совершенно счастлив, когда бы не долгие обеды Стакельберга и не широкие шаровары лорда Стюарта... (Должно знать, что тогда панталоны не были еще в употреблении, что не иначе старики и молодежь являлись в общество, как в коротких штанах. Общее уничтожение головной пудры тоже состоялось уже после Венского конгресса.)

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

Надо думать, что граф Петр Андреевич Бутурлин был не из последних щеголей того времени,

судя по тому, что он посылал свое белье в Париж для стирки: роскошь недешевая при тогдашних плохих способах сообщения с чужими краями.

*М.Д.Бутурлин. Воспоминания*

Василий Львович Пушкин мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет были мы удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фракком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда а la Дюрок.

*Ф.Ф.Вигель. Записки*

Когда в 1835 г. в Вене собиралась она (княгиня Голицына, потом гр. Разумовская) возвращаться в Россию, просила она проезжавшего через Вену приятеля своего, который служил в Петербурге по таможенному ведомству, облегчить ей затруднения, ожидавшие ее в провозе туалетных пожитков. «Да что же намерены вы провезти с собою?» — спросил он. «Безделицу, — отвечала она, — триста платьев».

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

## ***Как денди лондонский одет...***

Жизнь светского человека жестко регламентирована. Распорядок дня, туалеты, самый способ жизни — все подчинено строгому этикету. Особенно ярко в начале XIX в. это проявлялось в Англии. Французский писатель-романтик Шатобриан, назначенный послом в Лондон, вспоминал: «День в Лондоне было принято проводить следующим образом: в шесть утра следовало отправиться за город на прогулку и там позавтракать; затем вернуться в Лондон для второго завтрака, затем — переодеться для прогулки по Бонд-стрит или Гайд-парку, затем снова переодеться для обеда, начинающегося в полвосьмого, еще раз переодеться для поездки в оперу и, наконец, в полночь переодеться в последний раз — для вечера или раута. Сказочное житье! По мне, уж лучше галеры».

Жесткие правила не дают простора индивидуальности и потому неизбежно вызывают протест. В России появлялись замечательные чудачки и оригиналы, которые становились своего рода знаменитостями, а в Англии возник дендизм. Денди — не просто человек высшего общества, законодатель моды. «Дендизм — это вся манера жить, а живут ведь не одной только материально видимой стороной, — писал исследователь этого явления культуры Барбэ д'Ореви́льи. — Это — «манера жить», вся составленная из тонких оттенков». Пушкин говорил об Онегине, что он «как денди лондонский одет». Но денди, утверждает Ореви́льи, «это не ходячий фрак, напротив, только известная манера носить его создает дендизм. Можно оставаться денди и в помятой одежде...».

Барбэ д'Ореви́льи хорошо знал свой предмет. Его книга о дендизме увидела свет еще в 1844 г. Он беседовал с Джорджем Брэмелем, знаменитым английским денди, знакомым Байрона и современником Пушкина. Брэммель прославился тем, что сделал искусством самый свой способ жизни. Можно сказать, что Брэммель стал изобретателем дендизма.

Денди — герой праздной элегантности. Он не стремится делать карьеру и уже этим обескураживает окружающих и привлекает к себе внимание. Он восстает против правил, принятых в обществе; в каком-то смысле он даже бунтарь, но его бунт — это дерзость воспитанного человека, дерзость на грани разрешенного; его поведение всегда вызов, но вызов элегантный. Он привлекает к себе внимание, раздражая общественное мнение. Денди — утонченный стилист, утверждающий свою индивидуальность всеми возможными способами. Его задача — привлечь к себе внимание, заставить говорить о себе. Лорд Спенсер явился в обществе во фраке, в котором не хватало одной фалды. История умалчивает, почему случился этот казус, зато запомнили, что дерзкий лорд отрезал вторую фалду своего фрака — так получился короткий жакет в талию, увековечивший имя своего изобретателя.

Как только короткие жакеты «спенсеры» стали привычными, денди, пишет д'Ореви́льи, «переступили все пороги дерзости, им больше ничего не оставалось. Они изобрели эту новую дерзость, которая так была проникнута духом дендизма: они вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать его на всем протяжении, пока он не станет кружевом или облаком. Они хотели ходить в облаке, эти боги. Работа была очень тонкая, долгая, и для выполнения ее служил кусок отточенного стекла. Вот настоящий пример дендизма. Одежда тут ни при чем. Ее даже почти не существует больше».

«Дендизм, прежде всего, — именно поведение, а не теория или идеология», — замечает Ю.М.Лотман. Однако это поведение приобретало окраску романтического бунтарства. И это ярче всего, конечно, видно в манере одеваться. Проявляя массу фантазии и изобретательности, денди то являются, одетые с вызывающей элегантною простотой, то идут наперекор моде своего времени. «Когда в России княгиня Дашкова отказалась от румян, — пишет Барбэ д'Ореви́ли, — это было актом дендизма, быть может, даже крайнего, ибо ее поступок был проявлением самой бесчинной независимости». И пояснял: «В России румяный — то же, что красивый, и в XVIII в. нищие на углах улиц не решились бы просить милостыню, не нарумянившись». И это тем более любопытно, что денди женщин история не знает.

Онегин в театре наводит лорнет на ложи незнакомых дам. «Оскорбительная для света манера держаться, «неприличная» развязность жестов, демонстративный шокинг — все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону», — писал Лотман. В начале XIX в. лорнет, даже очки были признаком щеголя. Александр I был близорук, но очень стеснялся носить очки. «В самом деле, — вспоминала одна светская дама, — я заметила, что император наблюдал за нами при помощи маленькой лорнетки, которую он всегда прятал в рукаве своего мундира и часто терял». П.А.Вяземский рассказывал о московском главнокомандующем, который срывал очки с молодых людей со словами: «Нечего вам здесь так пристально разглядывать!» Этого было достаточно, чтобы вызвать бунт. Московские шутники провели по бульварам кобылу в очках и с надписью: «А только трех лет!» И все это было совершенно в стиле денди, ведь общественный порядок никто не нарушал! «Таким образом, — пишет Барбэ д'Ореви́ли, — одно из следствий дендизма и одна из его существенных черт, лучше сказать, его главная черта, состоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически». И заключает: «Всякий денди — человек дерзающий, но, дерзая, знающий меру и умеющий вовремя остановиться».

Парадокс существования денди заключается в том, что он нарушает правила, одновременно подчиняясь им. Его трудно «поймать». Герой пушкинского «Романа в письмах» описывает механизм дендистской наглости: «Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente* (томным фатовством — *фр.*), которое здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал».

Характерный признак бытового дендизма — элегантная поза разочарования и пресыщенности. Таков Печорин у Лермонтова, с его безукоризненным бельем, аристократическими манерами и равнодушием, быть может напускным; таков и герой пушкинской повести «Барышня-крестьянка»: «Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы».

В Россию разочарованность пришла с увлечением Байроном. Пушкин называет это английским сплином или русскою хандрой, которая овладела понемногу Онегиным. Впрочем, когда мода на разочарованность и усталость стала в Англии общей, денди опять изменили линию своего поведения. Шатобриан писал: «В 1822 г. щеголю полагалось иметь вид несчастный и болезненный, непременною атрибутом его почитались: некоторая небрежность в одежде, длинные ногти, неухоженная борода, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика; прядь волос, развевающаяся по ветру, проникновенный, возвышенный, блуждающий и обреченный взгляд, губы, кривящиеся от презрения к роду человеческому, байроническое сердце, томящееся скукой, исполненное отвращения к миру и ищущее разгадки бытия».

Нынче все переменялось: *денди* должен держаться победительно, непринужденно и дерзко; должен тщательно следить за своим туалетом, носить усы или бородку, подстриженную ровным полукругом, словно «мельничный жернов» королевы Елизаветы или сверкающий солнечный шар; щеголя гордым и независимым нравом, он не снимает шляпы, разваливается на диванах, протягивает длинные ноги чуть не в лицо дамам, которые обступают его, обмирая от восхищения; если ему случается ехать верхом, он не расстается с тростью, которую держит прямо, как свечку, и не обращает ни малейшего внимания на коня, очутившегося под ним как бы по недоразумению. Ему необходимо пребывать в добром здравии и иметь пять или шесть упоительных привязанностей».

Впрочем, денди не может всерьез увлекаться: Онегин в ответ на признание Татьяны говорит о своем разочарованном сердце и неспособности любить; Печорин ужасает доброго Максима Максимовича, рассмеявшись ему в лицо, когда старик стал утешать его после гибели Бэлы... Это не бесчувственность, это дендизм. Денди помнит правило Макиавелли: «Мир принадлежит холодным умам». Главная задача денди — производить впечатление, его главная и единственная страсть — тщеславие, власть над окружающими. И настоящий денди добивается этой власти всеми возможными средствами. Любой раут, любой бал интересен только в том случае, когда там наш герой. Сначала денди довольствовался произведенным впечатлением и даже удостоивал дам своим вниманием, танцевал, но потом... «Он оставался лишь несколько минут при входе на бал; пробежал его взглядом, произносил свое суждение и

исчезал, применяя таким образом знаменитый принцип дендизма «оставайтесь в свете, пока вы не произвели впечатления, лишь только оно достигнуто, удалитесь, — писал д'Оревилли. — С этим блеском в жизни, с этой властью над мнениями, с этой цветущей молодостью, лишь удваивающей славу, с этим обликом, обольстительным и жестоким, исторгающим у женщин проклятие обожания, он должен был неминуемо вызывать противоречивые страсти — глубокую любовь, неутолимую ненависть...»

Денди ироничен. Высмеивает он метко — его суждений опасаются. «Ирония, — пишет д'Оревилли, — тот гений, который освобождает от необходимости обладать другими гениями. Она придает человеку вид сфинкса, заинтересовывающий, как тайна, и беспокоящий, как опасность». В полуапокрифической биографии Пушкина известен такой эпизод: он беседует с девицей Еропкиной, которая искренно считает, что поэт посвящает ее в тайны возникновения стихов (чего Пушкин никогда не делал даже в разговоре с близкими друзьями). Мемуаристка рассказывает об этом с восторгом, не замечая, что поэт смеется над нею: «Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общему ленью. Уж не порхает, а ходит с перевальцем, отравила себе животик и «с высот Линдора перекочевала в келью кулинару». А рифмы — один ужас! (Он засыпал меня примерами, всего не упомнишь.)

— Пишу «Прометей», а она лепечет «сельдерей». Вдохновит меня «Паллада», а она угощает «чашкой шоколада». Появится мне грозная «Минерва», а она смеется «из-под консерва». На «Мессалину» она нашла «малину», «Марсу» подносит «квасу», «божественный нектар» — «поставлен самовар»... Кричу в ужасе «Юпитер», а она — «кондитер».

Откровенная насмешка прикрыта такой утонченной вежливостью, что обличить насмешника нелегко. «Искусство дендизма создает сложную систему собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной «поэзии утонченного костюма», — пишет Ю.М.Лотман. — Между поведением денди и разными оттенками либерализма 1820-х годов были пересечения. В отдельных случаях, как это имело место, например, с Чаадаевым или с князем П.А.Вяземским, эти формы общественного поведения могли сливаться».

Это наводит на мысль, что природа дендизма, в частности восприятия этого явления в России 1820-х гг., не так проста. Быт как бы служит зеркалом гораздо более сложных явлений.

\* \* \*

Он сказал: «У вас вид настоящего парижанина!» В самом деле, мой костюм, хотя и дешевый по вине моего, с позволения сказать, отца, отличался той приятной для глаза небрежностью, которая изобличает молодого человека, привыкшего хорошо одеваться и вращаться в элегантном обществе.

*Стендаль. Дневник. 9 декабря 1804 г.*

Одевался (Чаадаев), можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога (хотя разным портным, сапожникам, изящных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно меняя платье, а иногда и просто по привычке без всякого толка тратить деньги); напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что зовут *bijou* (бижу — *фр.*) на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. Я не знаю, как одевался мистер Бреммель и ему подобные, и потому удержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения.

*М.Жихарев. Записки*

Чаадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в который преобразался. Он был гораздо умнее того, чем он прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и поучительного ума, который он на него нахлобучил. Не будь этой слабости, он остался бы замечательным человеком и деятелем на том или на другом поприще. Чаадаев, особенно в Москве, предназначал себе план *особничества* и ни на волос, ни на йоту от него не отступал.

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

Приехав в Париж, я тотчас решил избрать определенное «амплуа» и строго держаться его, ибо меня всегда снedaло честолубие и я стремился во всем отличаться от людского стада. Поразмыслив как следует над тем, какая роль мне больше всего подходит, я понял, что выделиться среди мужчин, а следовательно, очаровывать женщин, я легче всего сумею, если буду изображать отчаянного фата. Поэтому я сделал себе прическу с локонами в виде штопоров, оделся нарочито просто, без вычур (к слову сказать, человек несветский поступил бы как раз наоборот) и, приняв чрезвычайно томный вид,

впервые явился к лорду Беннингтону.

*Э.Бульвер-Литтон. Пэлем, или Приключения джентльмена*

## ***В Дворянском собрании и в Английском клубе***

Впервые клубы появились в Великобритании. Слово *клуб* иногда связывают с саксонским *clubbe* — палка, но чаще считается основным значение *складчина, доля*; наконец, словом *клуб* стали называть *собрание*, а также дом, где эти собрания происходят.

В 1783 г. в Москве возникло частное общество, которое именovalo себя Московским Благородным собранием. 19 декабря 1784 г. Московское Благородное общество купило для собрания дом, который был окончательно закреплен за ним 11 февраля 1793 г. именным рескриптом Екатерины II. Так в Москве появился дом Дворянского собрания, который скоро стал средоточием беззаветного московского веселья, «куда люди свободные съезжались наслаждаться приятностями общества». «Благопристойность, учтивость и скромное поведение, свойственное благородному воспитанию, строго наблюдаются в Обществе, где присутствие прекрасного пола составляет первейшее его украшение и требует, чтобы всеми сохраняемо было должное уважение к каждой оного особе. От него Общество наше заимствует весь свой блеск, коим всегда и везде оно славилось. И потому всякое нарушение правил благопристойности да послужит ко стыду нарушителя», — говорилось в правилах общества.

Членами Дворянского собрания могли быть по уставу все дворяне, достигшие семнадцати лет, и дворянки не моложе шестнадцати. Сезон открывался в октябре, а закрывался в мае. «Члены в Собрание могут входить без шпаг, тростей же при себе не носят, кроме старых людей, имеющих оные для подпоры, — писали в клубном уставе. — Танцевать же в сапогах и шпорах никто не должен». Клубным днем считался вторник — по вторникам бывали великолепные балы, так что даже Потемкин почитал свои праздники не такими роскошными. Эти балы называли «ярмарками невест»: в Москву в конце лета помещики из окрестностей и соседних губерний привозили своих дочек на выданье и нередко устраивали их судьбу. (На таком балу и пушкинская Татьяна Ларина была сосватана за толстого генерала.)

Во время Великого поста вместо балов в клубе по вторникам происходили «собрания с вечерним столом, начиная оные со второй недели до Страстной, в которые дни, буде представится возможность, за неимением в Москве знатных виртуозов, имеет быть по вечерам во время беседы обоего пола членов и посетителей вокальная или инструментальная музыка, какую собрать будет возможно».

Москвичи считали своей покровительницей Екатерину II. В 1805 г. в зале Благородного собрания был установлен бюст императрицы, а при торжественном открытии звучал гимн «Гром победы, раздавайся...», очень популярный в XVIII в., — его насвистывал рассерженный отец Петруши Гринева в «Капитанской дочке».

Вообще клубы, или, как их тогда называли, «клубы», стали входить в моду при Екатерине. В Петербурге в 1770—1795 гг. было основано семь клубов, но самым «степеннейшим» из них был «английский».

Первый в России Английский клуб был открыт 1 марта 1770 г. в Петербурге богатым банкиром Гарнером. Сначала членов было не более пятидесяти, но уже через сорок лет английский клуб считался самым аристократическим и насчитывал более 300 членов, среди которых были первые лица государства. Вскоре Английский клуб появился и в Москве. Но вступивший на престол Павел запретил все общественные собрания. Рассказывали как анекдот, что, когда прусский купец Ширмер просил у Павла позволения учредить общество, «в коем гражданские чиновники, ученые, купцы и художники могли собираться вместе», Павел велел арестовать неосторожного иноземца и целый месяц — в январе 1801 г. — держал его на хлебе и воде, а затем выслал за границу.

Как только на престол взошел Александр I, Английские клубы и все другие собрания были вновь разрешены. Аристократический Английский клуб отличался от Дворянского собрания многими строгостями и ограничениями. В клуб принимали только мужчин. Для того чтобы стать членом клуба, мало быть только дворянином и уплатить членский взнос. Имя нового члена заранее оглашалось в клубе, и, если кто-нибудь знал за этим человеком какие-либо неблагоприятные поступки и мог доказать основательность своих обвинений, вопрос об избрании такого человека снимался сразу. Если же никто кандидатуру не отклонил, члены клуба голосовали за его принятие — каждый по выбору клал за него белый или черный шар. Быть членом Английского клуба — значит быть принятым в самое избранное общество. Князь Чернышев и граф Клейнмихель, всемогущий министр Николая I, напрасно добивались чести быть принятыми в Английский клуб; напротив, когда после долгой опалы в Москве появился Алексей Петрович Ермолов, ему без баллотировки поднесли звание почетного члена Английского клуба.

Во главе клуба стояли старшины, которые выбирались из самых почтенных и уважаемых членов клуба. Старшины утверждали устав клуба, вели хозяйство, назначали казначея и следили за тем, чтобы деньги клуба тратились разумно. Они же решали, какой дом нанимать для помещения Английского клуба. В 1802 г. в Москве Английский клуб помещался в доме Гагариных за Страстным монастырем; в пожаре 1812 г. это здание сгорело, и клуб, оставшись без пристанища, вынужден был переходить с места на место: арендовали дом Бенкендорфа на Петровском бульваре, недолго размещались в доме Муравьева на Большой Дмитровке, где потом была Школа колонновожатых, а с 22 апреля 1831 г. заняли вновь отстроенный под нужды клуба дом Разумовской на Тверской, где Английский клуб существовал до революции 1917 г. Здесь бывал Пушкин.

*В палате Английского клуба —  
Народных заседаний проба —  
Онегин, в думу погружен...*

Впрочем, политические разговоры хотя и велись в клубе — как быть без политики в среде умных мужчин? — но были запрещены уставом. Чем же занимались мужчины в столь закрытом заведении? Они могли, например, почитать газеты. В 1803 г. в московском клубе выписывали русских газет и журналов на 89 рублей, иностранных — на 709 рублей. За сохранностью газет и журналов строго следили. Когда один из членов клуба взял домой две книги русских журналов и на следующий день принес их обратно, этот случай записали в журнал старшин, а провинившийся должен был в качестве штрафа заплатить цену годового комплекта обоих изданий — 70 рублей ассигнациями, огромные деньги. Впрочем, чтение газет было далеко не главное дело, ради которого ездили в Английский клуб.

«Кто-то из собеседников употребил выражение: «Надо заниматься делом». — «Каким делом? — заметил Иван Иванович Дмитриев. — Это слово у разных людей имеет разное значение. Вот, например, Вяземский рассказывал мне на днях, что под делом разумеют официанты Английского клуба. Он объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул наконец в клуб читать газеты. Сидит он в газетной комнате и читает. Было уже поздно — час второй или третий. Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил внимания, но наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: «Что с то-бою?» — «Очень поздно, ваше сиятельство». — «Ну так что же?» — «Пора спать». — «Да ведь ты видишь, что я не один и вон там играют еще в карты». — «Да те ведь, ваше сиятельство, *дело делают!*»

Карты завелись в Английском клубе сразу же по его учреждению. И хотя правительство всячески старалось, чтобы в клубе не было азартных игр, способных разорить почтенных членов, это не всегда удавалось. В поденных записях клуба читаем: «1824. Ноября 12-го баллотировано предложение господ старшин, что игра экарте, усилившись до такой степени, что, вышед из границ умеренности, делается неприличною для такого общества, как Английский клуб, и потому может ли долее существовать в клубе или нет? По баллотировке предложение отвергнуто».

На этот раз — при всей демократичности устава клуба — власти запретили игру. Генерал-губернатор Д.В.Голицын лично обратился с письмом к старшинам клуба, утверждая, что баллотировка была неполная, и, как господа члены убедились, что «сия игра подходит ближе к азартной, нежели к коммерческой определенной игре, следовательно может увлекать иногда неосторожных, я нахожу себя обязанным покорно просить вас, милостивые государи, дабы оную игру исключить, подобно игре макао или так называемой курочки...».

Особой заботой старшин Английского клуба был ресторан. Обеды и ужины клубные стоили дорого, но зато здесь всегда было избранное общество, а для людей неженатых клуб заменял домашний уют.

«Известно, что баснописец Крылов любил хорошо поесть и ел очень много. Садясь за стол в Английском клубе, членом которого он был до самой смерти, Иван Андреевич подвязывал салфетку себе под самый подбородок и обшлагом стирал с нее капли супа и соуса, которые падали на нее. От движения салфетка падала, но он не замечал и продолжал обшлагом тереть по белому жилету, который он носил почти постоянно, и по манишке. Каждого подаваемого блюда он клал себе на тарелку столько, сколько помещалось.

По окончании обеда он вставал и, помолившись на образ, постоянно произносил:

— Много ли человеку надо?

Это возбуждало общий хохот его сотрапезников, видевших воочию, сколько надобно Крылову».

Старшины клуба входили во все подробности клубной жизни. Не только качество обедов подлежало их пристальному вниманию, но и содержание клубной прислуги. Честь Английского клуба требовала, чтобы прислуга была прилично одета и размещена по-человечески. Когда у официантов появились семьи, клуб за свои деньги снял для части прислуги комнаты в гостинице, но записал в уставе,

что работать должны только неженатые, а если женатые, то те, у которых есть уже квартира. «1828. Декабря 20-го дня в журнале господ старшин записано: призвав в контору кухмистра Власа Осипова, объявить замечание господ старшин, что ученики его недостаточно обмундированы, и приказать, чтоб как теперь, так и при приеме вновь для обучения каждый имел следующее: тулуп, шинель байковую, куртку и двое шароваров суконных, две куртки и двое брюк летних, фартуков 8, полотенец 8, жилетов 2, шейных платков белых 2, черных 2, рубашек 4, колпаков 4, носков 3 пары, картуз, перчатки, сапогов в год три пары, матрац, подушку, одеяло и кухонных ножей одну пару».

В клубе строго наблюдали за тем, чтобы никто не смел ссориться или оскорбить другого члена клуба, — за это почти всегда виновный должен был добровольно выйти из клуба. Каждый член клуба мог привести с собой гостя, о чем заранее извещал, то есть записывал имя приглашенного в особую тетрадь и платил за него. Но если гость вел себя недобропорядочно, отвечал за него тот, кто его привел. В журналах старшин записан случай, когда был исключен из клуба некто Марков за то, что его гость отказался заплатить карточный проигрыш.

Однажды несколько членов Английского клуба попросили разрешения пригласить дам: «1834. Июля 21-го дня баллотировано мнение двадцатью персонами господ членов: член клуба имеет право пригласить для прогулки в саду клуба двух или более дам, с тою же ответственностию, как постановлено в обряде на счет посетителей клуба; для чего должна быть учреждена особая книга, в которой каждый из господ членов записывает имена и фамилии дам, приглашенных им для прогулки в саду, которая начинается с шести часов пополудни. Приезд в сад к обыкновенному клубному подъезду, проходя через сени, прямо в сад, при дверях коего имеет быть поставлен швейцар, а для услуги в саду отделено из числа клубных нужное число официантов». Голосование было тайным: белых шаров 13, черных — 47. Так и не были дамы допущены в святая святых — Английский клуб, даже в сад, при всех предосторожностях. А дамы мечтали — запретный плод сладок...

\* \* \*

Иван Иванович Дмитриев в одно из своих посещений Английского клуба на Тверской заметил, что ничего не может быть страннее названия: Московский Английский клуб. Случившийся здесь Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные.

— Какие же? — спросил Дмитриев.

— А императорское человеколюбивое общество, — отвечал поэт.

*Н.М.Языков. Письма к родным*

Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечает Чаадаев. — Действительно не узнал. Да и что это у вас черный воротник? Прежде, кажется, был красный?

— Да разве вы не знаете, что я — морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли?

— Не черти горшки обжигают, — отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да, разве на этом основании, — заключил Чаадаев.

*А.И.Герцен. Былое и думы*

Булгарин просил Греча предложить его в члены Английского клуба. На членских выборах Булгарин был забаллотирован. По возвращении Греча из клуба Булгарин спросил его:

— Ну что, я выбаллотирован?

— Как же, единогласно, — отвечал Греч.

— Браво!.. так единогласно?.. — воскликнул Булгарин.

— Ну да, конечно, единогласно, — хладнокровно сказал Греч. — Потому что в твою пользу был один лишь мой голос; все же прочие положили тебе неизбирательные шары.

*Рассказы из жизни русских писателей*

## ***В старом доме***

«У бабушки в доме было все по-старинному, как было в ее молодости, за пятьдесят лет тому назад: где шпалеры штофные, а где и просто по холсту расписанные стены, печи премудреные, на каких-то курьих ножках, из пестрых изразцов, мебель резная золоченая и белая, какой я уже не застал в моем детстве», — вспоминал Д. Благово.

Человек живет в доме. Моды его времени, стиль его жизни, наконец, его социальная принадлежность — все отражается в том, как он одевается, как выглядит его дом. Для середины XIX в., когда Д.Благово записывает рассказы бабушки, штофные обои — признак старого времени, а в 1800-х гг. они самые модные. Описывая Казань этого времени, Ф.Ф.Вигель удивлялся, встречая в домах стены, оклеенные бумагой: «Внутренность виденных мною домов богатством и обширностью мало разнствовалась от пензенских, только я заметил, что бумажные обои продолжали здесь быть в употреблении, когда в Москве и даже в Пензе они совсем были брошены».

Впрочем, и в Казани встречались дома, украшенные по последней моде. Здесь можно было увидеть даже шинуазри, то есть китайские моды, — во времена Екатерины эти мотивы из Европы проникли в Россию, и во дворцах стали появляться «китайские» комнаты и павильоны. Вигеля поразила отделка дома казанского губернатора, к украшению которого «много послужила китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковою материей, по которой в китайском вкусе очень пестро разрисованы были цветы и листья; в диванной стены были настоящие китайские, разноцветные, лакированные, и на них были выпуклые фигуры как будто из финифти».

Исключения только подчеркивают правило. Дом генерал-губернатора слишком роскошен для провинции, обычные дома выглядят иначе. Ф.Ф.Вигель так описывал Пензу начала XIX в.: «На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие, деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него также находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели.

Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее; все оципаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; в другом подшивают подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа. За сим следует анфилада, состоящая из трех комнат: залы (она же столовая) в четыре окошка, гостиной в три и диванной в два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная, уборная и девичья смотрели на двор, а детская помещалась в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величии и, несмотря на свою укромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг.

Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрою и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла; в диванной угольный, разумеется, диван. В сохранении мебели видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая или из полинялого сафьяна оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось».

В Петербурге дома совсем другие. Это даже не дома, а дворцы — имели их только самые богатые люди. Ф.Ф.Вигель описывает дом богача Петра Григорьевича Демидова, внука знаменитого сподвижника Петра I Акинфия Демидова: «Около тридцати лет был он тогда уже женат. Заведенный им порядок с тех пор ни на волос не изменялся, и сей порядок, кажется, существовал еще в доме его отца и деда. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени, во всем было заметно нечто голландско-немецкое. Сверх нижнего жилья одноэтажный каменный дом его в Большой Мещанской сохранил еще и поныне старинный свой фасад. Несколько узких длинных комнат сего дома были назначены для приема гостей; гораздо же большее число внутренних, как сердце г. Демидова, открывалось только задушевному его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными украшениями; стены одних были завешаны множеством хороших и дурных картин, в других они были составлены из изразцов, в иных видна была дубовая резная работа; столовые и стенные часы, люстры, все мебели одни другим соответствовали: везде встречались опрятность и роскошь Монплезира и маленького Екатерингофского дворца. Одна из комнат была убрана китайскими шелковыми обоями: она называлась чайною, и в шесть часов вечера, не позже, разливали в ней сей горячий напиток, разводили огонь в камине, и гостям мужского пола подавали каждому по маленькой



белой трубке с табаком: обычай, который, конечно, ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно».

Почти через двадцать лет, в 1816 г., в демидовском доме на Гороховой улице в Петербурге поселилась семья Бутурлиных. Михаил Дмитриевич, которому в то время было девять лет, вспоминал: «В демидовском доме рекреационная наша комната (комната для занятий) была длинная галерея с оранжерейными сплошными рамами, а в конце ее две ступеньки вели в глухую полуротонду с огибавшим ее диваном, расписанную клеевыми красками в подражание внутренности беседки с колоннами, а в промежутках ее пестрели кусты ярких роз, сирени и других растений, все в полном цветении. Тогда еще были в ходу аляпистые (по большей части) изображения по стенам густого леса в настоящем почти размере и разные ландшафтные виды. У помещиков средней руки этими сюжетами расписана была обыкновенно столовая, и в большинстве, конечно, случаев кистью своих доморожденных живописцев-самоучек».

Мелкие чиновники селились на окраинах Петербурга, нанимая комнаты в маленьких одноэтажных домиках где-нибудь на Охте, в Коломне или на Песках. Человек «из общества» нанимал квартиру ближе к центру и не выше второго этажа — бельэтаж; «под чердаком», даже в достаточно богатых домах, жили чиновники победнее. Об этом на секунду забыл завравшийся гоголевский Хлестаков: «Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь просто кухарке: «На, Маврушка, шинель»... — И тут же останавливает сам себя: «Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже».

В Петербурге дома каменные, москвичи любят жить прос-торнее и считают, что деревянные дома гораздо здоровее. Здесь строят первый этаж из кирпича — там располагаются парадные комнаты. Они высокие, «под крышу», а второй этаж, или, в домах поменьше, мезонин, где размещались жилые покои, делали низкий, чтобы натопить легче было, и строили из дерева. Е.А.Са-банеева вспоминала: «Дом Несвицких на Пресненских прудах был деревянный на каменном фундаменте. Большие итальянские окна переднего фасада на улицу придавали веселый и светлый вид всему зданию». Домики поменьше строили целиком из дерева, затем их штукатурили и окрашивали так же, как кирпичные, временами даже выводили ложную рустовку. «Все Замоскворечье было застроено сими помещичьими домами, — вспоминал Ф.Ф.Вигель, рассказывая о небогатых дворянах, которые жили в усадьбе, а в Москву приезжали на зиму, когда дела в поместье окончены. — В короткое время их пребывания в Москве они не успевали делать новых знакомств и жили между собою в обществе приезжих деревенских соседей: каждая губерния имела свой особый круг».

Москвичи ценили простор и охотно селились в предместье, которое навевало на них сентиментальные настроения. «Не выезжая из города, пользуясь я всеми удовольствиями деревни затем, что живу в предместье, — писал М.Н.Муравьев в повести «Обитатель предместья». — ...Мой домик столь мал и невиден, что я не променяю его на великолепнейшие здания, выходящие к облакам и поддерживаемые столбами». Столбы — это колонны, излюбленные ампирные украшения фасадов. Маркиз де Кюстин, путешествовавший по России в 1839 г., отмечал: «В окошко своей конуры, сквозь сумерки, которые называются в России ночью, я мог в свое удовольствие созерцать неперменный римский портик с беленным известкою фронтоном и лепными колоннами, что украшают со стороны конюшни фасады русских почтовых станций. Неуклюжая эта архитектура — неотвязный кошмар, преследующий меня по всей империи. Классическая колонна сделалась в России знаком любого казенного здания».

В пушкинское время дома строили, располагая комнаты анфиладой. Самая короткая анфилада — три комнаты: зал, гостиная и кабинет хозяина или хозяйки. Е.А.Сабанеева вспоминала: «Угольная комната довольно большая и четырехугольная: она меблирована просто, и мебель обита ситцем с узором а *grands gamages* (крупными разводами — *фр.*). Перед диваном большой овальный стол красного дерева, и по его сторонам стоят чинно кресла в два ряда; перед дверью, которая ведет в бабушкину спальню, стоят ширмы из черного дерева, в верхней части ширм стекла, на которых нарисованы китайские фигуры и беседки. По углам комнаты этажерки с фарфором и разными вещицами; у окна большая клетка и подставка с шестом для ее белого какаду; он всегда тут сидит со своим желтым хохолком и черным носом. На окнах маленькие ширмочки с малиновыми стеклами, которые бросают розовый свет на все предметы и лица; в комнате не очень светло от больших зеленых драпри».

Спальня помещалась обычно во второй анфиладе, внутренней, окнами во двор. Комнаты парадной анфилады были высокие, а жилой — низкими, потому что над ними находился мезонин, где располагалась детская. Печи топили из коридора, а в комнаты выходили кафельные «зеркала» печек. За комнатами хозяев располагались подсобные помещения и помещения слуг. Е.А.Саба-неева вспоминает, что для нее, маленькой девочки, особенно интересно было посещение гардеробной: «Гардеробная была большая светлая комната с горшками герани, бальзаминов и жасмина по окнам; с белыми занавесками; по стенам стоят большие шкафы, в шкафах картонки, корзины, болваны для чепцов. Посреди комнаты большой круглый стол со всеми швейными принадлежностями: тут и подушечка с булавками, и старые бонбоньерки с разноцветным шелком, непременно тоже картинки мод и обрезки ситца, коленкора, шелковых материй, лент и кружев. Эти лоскутья именно и привлекали нас в гардеробную».

В убранстве дома всегда можно было угадать вкус хозяина дома. «Мебель была заказана у Штрауха, мастерская коего мало уступала знаменитому уже тогда Гамбсу», — вспоминает М.Д.Бутурлин время, когда он стал обзаводиться своим домом в Петербурге. Мелочи, наполняющие дом, — экраны для свечей и для камина, подушки, скатерти нередко бывали произведениями самой хозяйки, многие женщины были искусными рукодельницами.

Аристократические семьи, занимавшие большие особняки, имели так называемую «женскую» и «мужскую» половины. На каждой из них существовал свой привычный распорядок. Е.А.Сабанеева вспоминает, что ее бабушка, бывшая фрейлина, была всегда строго привержена этикету: «На бабушкиной половине был всегда парад; в ее распоряжении была лучшая часть дома, у нее всегда были посетители. Дедушка же имел свои небольшие покои, над которыми был устроен антресоль для детей... Дедушка кушал всегда на своей половине в своей маленькой гостиной, семья же — в столовой, и во главе стола — бабушка-фрейлина, когда она здорова. Я очень помню этот большой стол, за который не садилось менее пятнадцати и даже до двадцати человек, когда мы гащивали у дедушки. Подле бабушки всегда сидели почетные гости, дяди, тетки, мои родители, затем одна бедная вдова с дочерью, живущие всегда в доме, Лизанька-сиротка, которую бабушка взяла на свое попечение, и мы, внуки, между ними в конце стола».

Каждое время приносит свое понимание пространства. В начале XIX в. любили открытые гладкие поверхности, сияющие навощенные полы, жесткие спинки кресел и диванов, отлакированные крышки преддиванных столиков. Когда работали или пили чай, столик накрывали скатертью или клеенкой. Так запомнился дом бабушки Дмитрию Благово при первом посещении: «Мы вошли в гостиную: большая желтая комната, налево три больших окна; в простенке зеркала с подстолями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной. Направо от входной двери — решетка с плюшем и за нею диван, стол и несколько кресел. Напротив окна, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шеломом; перед диваном стол овальный, тоже очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван с шитыми подушками, и на нем по вечерам всегда сидит бабушка и работает: вяжет филе или снурочек или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четверугольный продолговатый стол, покрытый пестрою клеенкою с изображением скачущей тройки; на столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка...»

Свободная середина комнаты, отблески свечей на лаковом полу и жестких поверхностях крышек столов и спинок кресел — все это создавало ощущение парадности и некоторой холодности. Даже обивка делалась из шелка или атласа — материалов блестящих, жестких. Мебели в домах было немного, ставили ее вдоль стен, так что середина комнаты оставалась свободной. Во дворце в парадных комнатах мебели нет почти совсем — сияет красота наборного паркета, великолепные золоченые рамы зеркал в простенках, хрустальные подвески люстр и кенкетов. В дворцовых залах вообще не было стульев. Это причиняло большие страдания Андрею Тимофеевичу Болотову, когда он в качестве адъютанта сопровождал своего генерала во дворец и должен был вместе с другими адъютантами ожидать, пока генерал в соседней комнате пировал или играл в карты с императором Петром III: «Философствуя долгое время и вымышляя, как бы пособить нужде своей и найти способ дремать, взглянул я однажды на бывшую в той комнате превеликую и четверугольную печь и находившийся подле ее запечек, или узкую пустоту между печью и стеною. Вмиг тогда пришло мне в голову испытать, уже не можно ли было хоть с нуждою протесниться боком в пустоту сию и ущемить себя так между печью и стеною, чтоб проклятым коленам не можно было сгибаться и мешать мне спать стоячи. Я попробовал сие сперва тайком, но как скоро увидел, что было то действительно очень хорошо и что, протеснясь туда, стоишь, как в тисках, и колена нимало уже не мешают дремать, так побежал искать между множеством нашей братии товарища своего, полицейского офицера, и, подхватя его за руку, сказал: «Ну, брат! Пойдем-ка. Я нашел наконец место, где нам можно сколько хотим дремать...»

Ближе к 1830-м гг. вкусы стали меняться. На смену ампиру пришел стиль, который называют бидермейер. Все меньше в обивке мебели встречается атласа — его заменил мягкий плюш; жесткие деревянные спинки диванов уже считали признаком бедности, в гостиной появились всевозможные мягкие угловые диваны, пуфы, большие растения. Столики с креслами вылезли на середину комнаты и составили уютные уголки, лаковую поверхность пола закрыл пушистый ковер. Интерьер перестал представлять самого себя как произведение искусства — на первый план вышло удобство общения. Это уже совсем другая установка, другая жизненная позиция. Таков новомодный салон, не без иронии описанный в повести Александра Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице»: «Салон был лучшего тона, меблирован и обставлен не симметрически по старому обычаю, не диваном с круглым столом и двенадцатью креслами по сторонам, но по новой системе возрождения, или паленгинезии вкуса. В приятном поэтическом беспорядке были разбросаны по цветнику ковра разные седалища: виз-а-ви (диванчик на двоих) и *лежанки*, на рессорах, с пружинками, с ножками на колесах для удобства

подъезжать друг к другу, с винтами для унижения и возвышения, с нежными ручками, на которые не положи руки своей, и с спинками без прислону. Над камином стояли бронзовые часы с Наполеоном — в колпаке; на журавлиных столиках и на грибках, расставленных также кой-где, лежали точно забытые — какая-нибудь вечная работа хозяйки, какая-нибудь развернутая книга в переплете с золотым обрезом и с надписью посвящения от сочинителя; кучка английских альманахов, философий немецких и барнборьенов (изданий) французских, а в дополнение всего — альбом хозяйки как станционная записная книга для всех, кто удостоен был ее внимания».

Эта сатирическая зарисовка сделана была Вельтманом в 1841 г., и в ней ярко отразились кое-какие черты нового быта. Характеристика человека через вещи, его окружающие, и через его отношение к этим вещам — сильная сторона повестей и физиологических очерков 1840-х гг.

\* \* \*

Дом выстроила там бабушка Евпраксия Васильевна, он был прекрасный: строен из очень толстых брусьев, и чуть ли не из дубовых; низ был каменный, жилой, и стены претолстые. Весь нижний ярус назывался тогда подклетьями; там были кладовые, но были и жилые комнаты, и когда для братьев приняли в дом мусье, француза, то ему там и отвели жилье. Двойных рам у него в комнате не было, стекла были еще очень дороги, так он и придумал во вторые рамы вставить бумагу, промазанную маслом; можно себе вообразить, какая там была темь и среди бела дня. У нас в детской также не было зимних рам: моя кровать стояла у самого окна, и чтоб от него ночью не дуло во время сильных холодов, то на ночь заставляли доской и завешивали чем-нибудь потолще. Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и расписаны краской на клею. В зале нарисована на стенах охота, в гостиной ландшафты, в кабинете у матери то же, а в спальне, кажется, стены были расписаны боскетом; еще где-то драпировкой или спущенным занавесом. Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но, впрочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи — даже и хорошо. Важнее всего было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться и сказать: «Оно, правда, не очень хорошо писано, да писали свои крепостные мастера».

*Рассказы бабушки Благово*

1807 год. Ф.М.Бискорн жил широко и великолепно, в большом доме, близ Каменного театра. У дверей швейцар, везде пыль и грязь; лакеи оборваны; в комнатах тяжелый запах; у камердинера его протертые рукава и разнокалиберные пуговицы на кафтане; в дверь несутся нестройные звуки музыки; сыгрывались домашние музыканты.

*Н.И.Греч. Записки о моей жизни*

Дом Герардовых был в свое время один из лучших в Москве: в зале стены отделаны под мрамор, что считалось тогда редкостью, и пока был жив Антон Иванович и было много прислуги, дом содержался хорошо и опрятно, но после его кончины (умер он, кажется, в 1830 или в 1831 г.) Екатерина Сергеевна очень поприжалась, стала иметь мало людей и дом порядком запустила: в прихожей у нее люди портняжничали и шили сапоги, было очень неопрятно и воняло дегтем. Она одна из первых отступила от общепринятого порядка в расстановке мебели: сделала в гостиной какие-то угловатые диваны, наставила, где вздумалось, большие растения и для себя устроила против среднего окна этаблисмент (établis-sement — уголок, *фр.*): два диванчика, несколько кресел и круглый стол, всегда заваленный разными книгами. В то время это казалось странным.

*Рассказы бабушки Благово*

## **Дворянские гнезда**

Что такое деревня, дворянское гнездо для человека XVIII—XIX вв.? Большинство русских писателей родилось и провело детство в поместьях. Навсегда для нас имя Лермонтова связано с Тарханами, Льва Толстого — с Ясной Поляной, а Тургенева — со Спасским-Лутовиновом. И это не случайно. Корни этого явления надо искать в русской истории.

Петр I заставил дворян служить, издал об этом специальный указ. Все дворяне сделались военными. Родовитые и те, кто хотел сделать карьеру, стремились в Петербург, ко двору. Поместья оказались заброшены, там оставались только пожилые люди. Взойдя на престол в 1761 г., Петр III издал «Указ о вольности дворянской». Отныне дворянам разрешалось самим решать, служить им или оставаться в поместьях. Екатерина не отменила этот указ, но дворянам неслужащим велено было до самой смерти подписываться: «Недоросль такой-то...» Чтобы не попадать в такое унижительное положение, молодых людей записывали в полк — надо было прослужить хотя бы несколько лет. Не служащий дворянин

вызывал подозрение — это была оппозиция, открытый вызов. Молодой Карамзин осмелился бросить такой вызов обществу. В послании к Дмитриеву он писал:

*А мы, любя дышать свободно,  
Себе построим тихий кров  
За мрачной сению лесов,  
Куда бы злые и невежды  
Вовек дороги не нашли  
И где б, без страха и надежды,  
Мы в мире жить с собой могли...*

Одним из тех, кто охотно воспользовался позволением выйти в отставку, был Андрей Тимофеевич Болотов, впоследствии известный мастер разведения садов и автор замечательных мемуаров. Когда Болотов вернулся в родное поместье, его матери и отца уже не было в живых. Болотов вспоминал: «Не могу забыть той минуты, в которую вошел я впервые тогда в переднюю комнату моего дома, и тех чувствований, какими преисполнена была тогда душа моя. Каково ни мило и ни любезно мне сие обиталище предков моих и мое собственное в малолетстве, но, возвратясь тогда в оное не только уже в совершенном разуме, но, так сказать, из большого света и насмотревшись многому большому, смотрел я на все иными уже глазами; и как сделал я уже привычку жить в домах светлых и хороших, то показался мне тогда дом мой и малым-то, и дурным, и тюрьма тюрьмою, как и в самом деле был он. А особливо тогда, при вечере, с маленькими своими потускневшими окошками и от древности почти почерневшим потолком и стенами, — весьма, весьма не светел...

Все вещи в малолетстве кажутся нам как-то крупнее и величавее, нежели каковы они в самом деле. Прежние мои пруды показались мне тогда сущими лужицами, сады ничего не значащими и зарослыми всякою дичью, строение все обветшалым, слишком бедным, малым и похожим более на крестьянское, нежели на господское, и расположение всему самым глупым и безрассудным».

Болотов принялся за дело: расширил окна в доме, заложил сад, оклеил комнаты бумажными обоями и украсил гравюрами, вырезанными из книг и раскрашенными им самолично. Впрочем, архитектура усадебных построек долго оставалась самой простою — если речь шла о простых усадьбах. Часто усадебный дом выглядел, как всем нам известная постройка в Тригорском. М.Д.Бутурлин вспоминал: «С архитектурною утонченностью нынешних вообще построек, при новых понятиях о домашнем комфорте, исчезли повсюду эти неказистые дедовские помещичьи домики, все почти серо-пепельного цвета, тесовая обшивка и тесовые крыши коих никогда не красили...

В более замысловатых деревенских постройках приклеивались, так сказать, к этому серому фону стен четыре колонны с фронтонным треугольником над ними. Колонны эти были у более зажиточных оштукатуренные и вымазанные известью так же, как и их капители; у менее достаточных помещиков колонны были из тощих сосновых бревен без всяких капителей. Входное парадное крыльцо, с огромным выдающимся вперед деревянным навесом и двумя глухими боковыми стенами, в виде пространной будки, открытой спереди. Внутреннее убранство было совершенно одинаково везде: оно повторялось без всяких почти изменений в Костромской, Калужской, Орловской, Рязанской и прочих губерниях и было следующее. В будке парадного крыльца была боковая дверь в ретирадное место (всегда, конечно, холодное), и потому вход в дом не всегда отличался благовоением. После передней был длинный зал, составлявший один из углов дома, с частыми окнами в двух стенах и потому светлый как оранжерея. В глухой капитальной стене зала было двое дверей; первая, всегда низкая, вела в темный коридор, в конце коего была девичья и черный выход на двор. Вторая дверь зала, большего размера и в уровень с верхом окон, вела в гостиную; такого же размера дверь вела из гостиной в кабинет или в хозяйскую спальню, составлявшую другой угол дома. Эти две комнаты и поперечная часть зала были обращены к цветнику, а за неимением такового к фруктовому саду; фасад же этой части дома состоял из семи огромных окон, два из них были в зале, три в гостиной (среднее, впрочем, превращалось летом в стеклянную дверь со спуском в сад), а остальные два окна в спальне. Убранство гостиной было также одинаково во всех домах. В двух простенках между окнами висели зеркала, а под ними тумбочки или ломберные столы. В середине противоположной глухой стены стоял неуклюжий, огромный с деревянными спинкою и боками диван (иногда, впрочем, из красного дерева); перед диваном овальный большой стол, а по обеим сторонам дивана симметрично выходили два ряда неуклюжих кресел, от четырех до шести в каждом ряду, выдающихся до середины гостиной, как бы для заседаний ареопага или какого-нибудь комитета. Вдоль боковых стен чинно стояли стулья такого же изделья, как диван и кресла. Вся эта мебель была набита как бы ореховою шелухою и покрыта белым коленкором, как бы чехлами для сбережения под нею материи, хотя под коленкором была нередко одна толстейшая пеньковая суровая ткань. Оба внутренние угла гостиной были перерезаны наискосок двумя печью (не всегда изразцовыми, а часто кирпичными); они отапливали задними своими зеркалами зал и спальню. Мягкой мебели и в помине тогда не было; но в кабинете или

спальне нередко стояла полумягкая клеенчатая зеленая софа, и там же в углу этажерка с лучшим хозяйским чайным сервизом, затейливыми дедушкиными бокалами, фарфоровыми куколками и с подобными безделушками. Обои были тогда еще редко в ходу; у более зажиточных стены окрашены были желтою вохрою, яркою медянкою, лазуревою или малиновою краскою, а потолки расписаны гирляндами цветов, плодов, перемежающихся с попугаями, райскими птицами и другими неизвестными в зоологии животными, клюющими иногда лазуревые вазы. Впрочем, так как эти предметы были иногда работою доморощенного живописца, трудно было определить, что именно они должны были изображать. В усадебных же домах с меньшими претензиями, или с меньшими житейскими средствами, стены и потолки были безразлично вымазаны мелом. В темный упомянутый коридор выходили две-три комнатки с окнами на двор, для хозяйских детей или для гостей, весьма низенькие, если дом был двухэтажный или с мезонином, потому что мезонин выходил окнами также на двор, между тем как зал, гостиная и спальня подходили под чердак. В мезонин вела узенькая, немного шире аршина лестница из коридора».

Бутурлин вспоминает, что окна залы и гостиной выходили в сад. Сад и парк — обязательные составляющие поместья. Если их не было, если в усадьбе не варили варенье и не угощали своими яблоками, это воспринималось как отклонение от нормы. Видно, недаром Гоголь смеялся над неустроенностью усадьбы Манилова: барский дом на горе, а вокруг ни одного деревца, в конце дорожки беседка — «храм уединенного размышления», а какое там размышление, когда вокруг ветер гуляет?.. А ведь такое бывало и в жизни. Екатерина Алексеевна Сабанеева вспоминала о причудах своего прадеда: «В Богимове не было сада при Алексее Ионовиче. Он был враг всего, что было любезно для взора, зато усадебные строения были капитальные: они были вытянуты, точно казармы и представляли собой массу прочного домашнего кирпича, который, казалось, и в огне не горел, и в воде не тонул. Строитель не увлекался стилем или же украшениями, а главного его целью была солидность и прочность построек.

Большой двухэтажный дом в 25 комнат, с такими же флигелями, конный двор — все это стояло лет тридцать небеленым; прадед говорил, что строению надо дать выстояться. Отец мой к свадьбе решился выбелить усадебные постройки, дом внутри оштукатурил, затем завел сады, разбив перед домом правильные аллеи, которые засадил липами. Был у нас почтенный старичок сосед, Прохор Алексеевич Крюков, современник прадеда, знавший отца моего с пеленок, любивший его, кажется, больше своих родных чад и читавший ему всегда мораль. Сидим мы, бывало, в Богимове за рукодельем в батюшкином кабинете вокруг стола, батюшка курит из пеньковой трубки, сидя в дедовских креслах, а против него на маленьком диванчике сидит старичок Крюков в длинном коричневом старомодном сюртуке, в парике; он нюхает табак из черной лукутинской табакерки с ландшафтиком и ведет непременно речь, восхваляя прежние порядки и порицая текущие. Прохор Алексеевич был недоволен, что батюшка обсадил усадьбу липовыми аллеями, и называл эти липы смородиной.

— А спрашивается, — говорил он батюшке, — что тебе дает эта смородина? При дедушке твоём, два аршина отступя от дому, — сейчас и поле. Сидит, бывало, перед окошечком да копны считает в уборку; у него, шалишь, ничего не стянут, ни же единого снопика. Усердный был к своему добру; оттого и нажил.

— Все бrenно, и все тленно, — отвечает батюшка. — Смейтесь пока над моей смородиной, почтеннейший Прохор Алексеевич, а когда вырастут липы, увидите, какая это роскошь будет.

— Роскошь, роскошь! Задал бы тебе дедушка за эту роскошь: липы-то и в роще растут, продавать их не будешь, а хлеба в закромах у тебя не прибыло. Хозяин ты, Алеша, нечего и говорить.

— Не вам бы говорить, Прохор Алексеевич, а не мне бы слушать. У вас в Данькове разве сад-то плохой, а я у дедушки никогда яблочка не видывал. Да что поминать прежние порядки! Были, да, слава Богу, прошли».

Барский дом обычно строился на сухом возвышенном месте, а вокруг него разбивали парк. Около дома посадки приобретали характер регулярного сада, похожего на голландский: клумбы с цветами, невысокие кустарники, розовые куртины. От входа в дом прямая аллея, пересекающая «собственный» сад, как называли *регулярную* часть, примыкающую к дому, уходила прямо вдаль — через пейзажный, или английский, парк, затем — лес.

Московская барышня Елизавета Петровна Римская-Корсакова после свадьбы уезжает в имение своего мужа, подмосковное село Горки: «Подмосковная Яньковых, село Горки, была у них самым любимым имением... Может быть, потому, что оно только в сорока верстах от Москвы, да и, кроме того, очень хороша местность, и сад раскинут по горам... При разделе Горки достались моему мужу... Дом был совершенно новый, только что отстроенный и ничем еще внутри не отделанный.

На следующий день, когда я вышла на балкон, который в сад, я увидела очень хороший вид: направо и налево за палисадником рощи, перед домом за рекою густой лес и только маленький просек напротив дома, узенький, как щелка...

— Ну, как тебе нравится вид? — спрашивал меня муж. — Не правда ли, что очень хорош?

— Да, местность очень хороша, но только лесу слишком много и глухо; хорошо, ежели бы повырубить и открыть вид.

Так потом и сделали, и вот тогда и вышел тот прекрасный вид, которым все любуются».

Образцом дворянской усадьбы был Павловск — имение, подаренное Екатериной великому князю Павлу Петровичу. Павловск строился начиная с 1777 г., и Мария Федоровна устроила здесь в парке уголки, напоминающие ей ее детство. В глубине пейзажного парка были расположены молочная ферма, Розовый павильон, шале, построенное в 1780 г. «По желанию великой княгини Марии Федоровны при Старом Шале был разбит огород для занятий в нем детей ее высочества. Великие князья отбивали грядки, сеяли, садили; великие княжны пололи, занимались поливкой овощей и цветов и т.д. Час отдыха возвещался звоном в колокол на кровле Старого Шале, звонила нередко сама августейшая хозяйка, и «работницы и работники» собирались к завтраку, приготовленному в комнатах Шале или на дворе под сенью веранды».

В садовых павильонах не жили, но то в одном, то в другом из них устраивались чаепития — для развлечения императрицы. Анна Федоровна Тютчева, фрейлина, попавшая ко двору уже в 1853 г., вспоминала: «В Царском и в Петергофе по утрам можно было видеть большой запряженный фургон, нагруженный кипящим самоваром и корзинами с посудой и булками. По данному сигналу фургон мчался во весь опор к павильону, назначенному для встречи. «Ездовые» с развевающимися по ветру черными плюмажами скакали на ферму, в Знаменское, в Сергиевку, предупредить великих князей и великих княгинь, что императрица будет кушать кофе в Ореанде, на «мельнице», в «избе», в «Монплезиере», в «хижине», в «шале», на ферме, в Островском, Озерках, на Бабьем гоне, на Стрелке, словом, в одном из тысячи причудливых павильонов, созданных для развлечения и отдохновения императрицы баловством ее супруга, который до конца жизни не переставал относиться к ней как к избалованному ребенку. Через несколько минут можно было наблюдать, как великие князья в форме, великие княгини в туалетах, дети в нарядных платьицах, дамы и кавалеры свиты поспешно направлялись к намеченной цели. При виде всего этого церемониала по поводу простого питья кофе, я часто вспоминала анекдот про пастуха, который на вопрос, что он стал бы делать, если бы был королем, отвечал: «Я бы стал пасти своих овец верхом». Великие мира сего все более или менее выполняют программу пастуха, они пасут свои стада верхом, и если они редко совершают великие дела, зато превращают китайские мелочи в очень важные дела».

Известные богачи подражали двору, заводя в быту разные чудачества. Рассказывают, что у князя Куракина в Надеждине еще в екатерининские времена собиралось так много гостей, что некоторых хозяин даже не знал — приезжали друзья друзей, которые жили неделями на всем готовом. Князя это мало тревожило, но для удобства собственной жизни им были выработаны особые правила поведения, *инструкция*, которую вручали каждому гостю в напечатанном виде. Вот некоторые из этих правил:

*«Первое.* Хозяин, удалясь от сует и пышностей мирских, желает и надеется обрести здесь уединение совершенное, а от оногo проистекающее счастливое и ничем не поколебимое спокойствие духа.

*Второе.* Хозяин почитает хлебосольство и гостеприимство основанием для взаимного удовольствия в общегитии. Следовательно, видит в оных приятные для себя должности.

*Третье.* Всякое здесь деланное посещение хозяину будет им принято с удовольствием и признанием совершенным.

*Четвертое.* Хозяин, наблюдая предмет и пользу своего сюда приезда, определяет в каждый день разделять свое время с жалующимися к нему гостями от часу пополудни до обеда, время обеда и все время после обеда до 7 часов вечера.

*Пятое.* Хозяин по вышеуказанному наблюдению определяет утро каждого дня от 7 часов до полудни — для разных собственных его хозяйственных объездов, осмотров и упражнений, а вечер каждого дня, от 7 до 10 часов, определяет он для уединенного своего чтения или письма.

*Шестое.* Хозяин просит тех, кто может пожаловать к нему на один, или на два дня, или на многие дни, чтобы, быв в его доме, почитали себя сами хозяевами, никак не помня о нем единственно в сем качестве, приказывали его людям все надобные для них услуги и, одним словом, распоряжались бы своим временем и своими упражнениями от самого утра, как каждый привык и как каждому угодно, отнюдь не снравливая в провождении времени самого хозяина...»

Оказавшись полновластным хозяином в своем поместье, молодой барин, чтобы не было скучно, начинал порой чудесить и заводить как бы свой маленький двор. М.Д.Бутурлин вспоминал, как он, уже лет двадцати семи, наконец приехал хозяйничать в свои владения. Был, кажется, 1832 год. «Между многими моими затеями я ввел, по военному примеру, ежедневные приказы на имя вотчинного правления, с замечаниями, выговорами, распоряжениями по мнимому хозяйству и управлению, с моими решениями по поданным мне прошениям, обыкновенно о сложении оброка и прочее... Приказы эти оканчивались собственноручною моею подписью и словами «быть по сему» и скреплялись гербовою печатью...

Бурмистров же я нарядил в кафтаны с широкими галунами и с серебряными булавами, на набалдашниках коих вырезан был семейственный мой герб, а писарей (называемых там земскими) обрил, остриг и облек в форменные с гербовыми пуговицами сюртуки...

Сам я присутствовал в вотчинном правлении по утрам, творя суд и расправу, выслушивал просьбы, клал резолюции, давал волю мирским прениям и приговорам, нравившимся моему отвлеченному

полулиберализму, по оттенку в них полуавтономии, но рядом с этим назначал, увы! телесные наказания провинившимся и по военному обыкновению находился при их исполнении. В доме ночевал всегда при мне дежурный по очереди мальчуган из крестьян, в виде рассыльного, на долю коего выпадало за ту службу какое-нибудь лакомство или баловство, и все это юное поколение, если не обольщая себя, любило меня. Словом, хотелось мне поиграть в царьки, и не верится почти теперь, чтобы вся эта дурь происходила в действительности».

Богатые семьи проводили лето в деревне, а на зиму уезжали в город — или в губернию, или в столицы. Но было так называемое поместное дворянство, проводившее в деревне и лето и зиму. Так жили пушкинские Ларины, и Татьяна в первый раз увидела Москву, только когда ее привезли сюда «на ярмарку невест».

Зима в деревне пушкинского времени — сейчас это трудно себе даже представить! Темнеет рано, в доме жгут свечи, но обычно свечи берегут, и в гостиной полумрак. В девичьей, куда забирались дети послушать сказки или песни девушек, занятых пряжей, горит лучина, от нее совсем мало света. Новые книги попадали к деревенским помещикам редко — девушки осваивают материнскую библиотеку или перечитывают старые журналы. Об учителях заботятся больше всего для мальчиков — им служить, а девушку и так замуж выдать можно, было бы приданое. Но так думали, конечно, не все. Е.А.Сабанеева вспоминает о семье своей тетушки, которая была женщина очень просвещенная: «Тетушку Марью Петровну Леонтьеву, сестру моей матушки, я очень хорошо помню. В семье деда она и супруг ее Сергей Борисович пользовались большим уважением... Имение Леонтьевых, сельцо Корытна, было недалеко от имения моего батюшки, и мы часто там гостили...

Трудно себе представить, как жили Леонтьевы в 1820-х гг. в их калужском имении Корытне. Несомненно, что они не сходились с соседями; на них был особый отпечаток мирной жизни и душевного спокойствия. Они тоже неусыпно трудились в кругу их домашнего обихода, и их дом был точно улей, в котором работа кипела с раннего утра. Марья Петровна была отличная хозяйка, хотя она, правда, не вносила по этому предмету той щепетильной возни в смысле проверки провизии и т.д., столь излюбленной барынями, но у нее в доме все шло ровно, точно в такт. Ни у кого не пекли такого вкусного домашнего печенья к чаю, как у нее; что за вкусные булочки и заварные крендельки, и как нарядно и опрятно лежали эти булочки и крендельки на большом подносе, когда экономка Наталья, с ее степенным лицом, ставила этот поднос в столовой на стол каждое утро перед барыней, которая всегда сама разливала чай. Семья собиралась вокруг этого стола, и было столько гармонии и патриархальной простоты в этом доме. Детей у Леонтьевых было очень много, и их воспитание составляло цель жизни их родителей.

Как свободна была тетушка Марья Петровна от увлечений французскими и чужеземными вообще гувернерами и гувернантками для своих детей! Как осторожно выбирала воспитателей! — Правда что, владея тремя иностранными языками, она часто сама занималась уроками со своими детьми. Я знаю, что одна гувернантка, жившая в их доме, говорила, что у них она отвыкла справляться со словарями, потому что хозяйка дома была сама живой лексикон».

Самовар на столе, большая семья вокруг, цветы под окнами, вдали лес, речка — какие теплые воспоминания уносили в сердце обитатели дворянского гнезда! Эта патриархальная жизнь неизбежно уходила в прошлое. А.П.Чехов жалел вишневые сады, которые рубили в старых усадьбах. Дворянские гнезда становились историей, оставались памятью в поэзии. Баратынский вспоминал подмосковное Мураново, с такою любовью построенное им самим:

*Я помню ясный чистый пруд;  
Под сению берез ветвистых,  
Средь мирных вод его три острова цветут;  
Светлея нивами меж роц своих волнистых,  
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит  
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,  
А там счастливый дом... туда душа летит,  
Там не хладел бы я и в старости глубокой!*

\* \* \*

Усадьба широко раскидывалась по обеим сторонам деревенского проезда, по одну сторону барский двор, по другую овины, скирдник, конопляник и пруды. Дом стоял среди двора и отделял чистую переднюю половину от заднего двора. Одноэтажный, без фундамента, он вмещал очень мало жилых комнат; огромные, по-старинному, сени и кладовые занимали большую часть его. Передние и задние сени отделяли три жилых покоя от двух холодных кладовых; из передних дверь вела в переднюю же комнату, зал; самая большая из всех, эта комната была холодная, без топки, и в ней никогда не жили; ее тесовые стены и потолок почернели и закоптились от времени, что при маленьких окошечках придавало комнате мрачный вид; вдоль темных стен, по-старинному, тянулись узкие

деревянные лавки, а у переднего угла стоял длинный стычной стол, покрытый ковром. Вторая угольная комната была главным, почти единственным жильем хозяев; в ней было больше окон и свету, а огромная печь из разноцветных кафелей давала много тепла. Здесь опять сияло много образов; древний киот с мощами и неугасимой лампадой занимал передний угол. Несколько стульев и почерневший комод одни напоминали Европу. Здесь же стояла кровать. Третья меньшая комната имела много назначений; она сообщалась с задними сенями и служила одновременно девичьей, лакейской и детской.

*А.Т.Болотов. Записки*

В деревнях дворяне или помещики любят ездить в гости из одного села в другое, таща с собою в нескольких экипажах почти весь свой причет слуг и служанок, к которому в старину принадлежали непременно дураки и дуры, имевшие право делать с господами своими и с их гостями разные грубые шутки и говорить им всевозможные грубости, доставлявшие смех и веселье... Приехав к соседу, помещики-путешественники находят несколько комнат для себя и изобильный стол: весь дом бывает к их услугам; это остатки патриархальной и вместе гостеприимной жизни доброй старины, которая еще не совсем вывелась из наших нравов. У помещиков прислуга бывает большей частью многочисленная и хорошо одетая, т.е. довольно великолепно, но, к сожалению, довольно и неопрятно: нередко пальцы слуги проглядывают сквозь лакированные сапоги, а локти сквозь рукава золотом обшитой ливреи.

*В.Бурьянов. Прогулка с детьми по России*

Граф В.П.Орлов-Давыдов напечатал однажды в московских газетах, что его имение *Отрадное*, где все было с иголки, можно осматривать ежедневно до четырех часов. Долго не являлся на зов никто. Наконец, приехал бедный студент петровской академии. Увы! Было уже четыре часа и пять минут. Граф вынул часы и сказал, что, к своему необычайному сожалению, не может отступить от назначенного срока. Потом он добавил: что, есть у вас фрак и белый галстук? Этих принадлежностей у студента, разумеется, не оказалось. Тогда, извините меня, — возразил граф, — пригласить вас к обеду никак не могу. Самому себе никогда не позволю обедать иначе, как в белом галстуке. В Англии все так делают.

*К.Головин. Мои воспоминания*

## *Сады*

Сад издавна воспринимался как образ Вселенной. Сад отражает мир в его доброй, идеальной сущности.

*Вертоград моей сестры,  
Вертоград уединенный;  
Чистый ключ у ней с горы  
Не бежит запечатленный.  
У меня плоды блестят  
Наливные, золотые;  
У меня бегут, шумят  
Воды чистые, живые...*

Это стихотворение Пушкина требует расшифровки. Вертоград — сад, Эдем, рай. В нем дивные цветы и обязательно плодовые деревья. Сад — это божественная Книга, которую надо уметь читать. В XVII в. в Европе это понимали почти буквально — на садовых скамейках раскладывали книги. В России попробовали этот прием в начале XVIII в. Садовник парка Летнего дворца рассказывал о своем разговоре с Петром I: «Я очень доволен твоей работой и изрядными украшениями. Однако не прогневайся, что я прикажу тебе боковые куртины переделать. Я желал бы, чтобы люди, которые будут гулять здесь в саду, находили в нем что-нибудь поучительное. Как же бы нам это сделать?» — «Я не знаю, как это иначе сделать, — отвечал садовник, — разве Ваше Величество прикажете разложить по местам книги, прикрывши их от дождя, чтобы гуляющие, садясь, могли их читать». Государь смеялся сему предложению и сказал: «Ты почти угадал; однако читать книги в публичном саду неловко. Моя выдумка лучше. Я думаю поместить здесь изображения Эзоповых басен».

Впрочем, не надеясь на просвещенность своих подданных, Петр около каждой скульптуры велел поставить столб с белой жостью, на которой четким русским письмом написана была каждая басня, и притом с толкованием. Таким образом, сад становился книгой, обучающей и приучающей человека



бродить по зеленым аллеям и размышлять. Высокие зеленые стены особым образом подстриженных кустарников создавали полную иллюзию одиночества. Время от времени гуляющие натыкались на уединенные скамейки, поставленные в укромных уголках сада и окруженные зелеными стенами, — зеленые кабинеты. Человек привыкал чувствовать себя в саду как дома, не только отдыхать здесь, но работать, заниматься.

Это ощущение оказывается ключевым для человека первой половины XIX в. В 1834 г. Пушкин жил недалеко от Летнего сада, где всегда было много гуляющей публики, но жене писал так: «Нашла за что браниться!.. за Летний сад... Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома». И хотя вряд ли Пушкин, к потехе гуляющих, действительно спал в Летнем саду, эта его шутка говорит об отношении к саду, *что* здесь делают.

Итак, сад — это книга, место размышления, уединения. Поэтому в саду обязательно появлялись специальные постройки, куда можно уединиться. Такая постройка называлась эрмитаж — в переводе на русский язык это слово означает «уединение». Эрмитаж строили в самом дальнем уголке сада, на границе сада и дикой природы. Гуляющие случайно забредали сюда и должны были удивиться, вскрикнуть от неожиданности. Самые богатые люди могли себе позволить разные чудачества, даже нанимали специального человека, который должен был изображать отшельника «с Библией, с очками, с ковриком под ногами, с пучком травы в качестве подушки, с песочными часами, водой в качестве единственного напитка и едой, приносимой из замка. Он должен был носить власяницу и никогда, ни при каких обстоятельствах не стричь волос, бороды, ногтей».

В России до таких причудливых изобретений не доходили, а вот «пустыньки», как по-русски называли эрмитаж, в садах строили — для отдыха усталых гуляющих. Андрей Тимофеевич Болотов вспоминал, как в конце XVIII в. он строил сад в селе Богородицком по заказу богатого екатерининского наместника: «Показал я ему мимоходом скрытую тут внизу небольшую пустыньку, или так называемую меланхолическую сцену. Местечко сие окружено густым и непрозрачным лесом, и посреди площадки на небольшом холмике поставлена была черная пирамида с белыми на ней надписями, имеющая вид некоторого надгробия. Наместнику сцена полюбилась, и он похвалил меня за оную. Но не успели мы выйти из сего меланхолического места и пробиться сквозь чащу лесочка на простор, как, в приятный контраст тому, представилась вдруг взору его самая лучшая и прекраснейшая во всем саду смеющаяся сцена. Тут в правой стороне увидел он между двумя покосами горы растущими густыми лесочками прекрасную лужайку, простирающуюся отлого с самого низа горы до самого ее верха, и прямо в конце оной стоящий на горе каменный, круглый, хотя небольшой, но прекрасный и к сему времени совсем отделанный павильон. Впереди, в полугоре и в некотором отдалении, увидел он нашу прекрасную ротонду, или круглую сквозную из многих колонн составленную и круглым куполом верх имеющую и прекрасно отделанную и раскрашенную беседку. Она с места того казалась стоящей поверх ближних лесочков на каменной крутой скале и властно как господствующей над всем садом и всеми тутошними окрестностями. А в левой стороне, также впереди, представился взору его наш нижний и главный водоем, имеющий вид довольно порядочной величины прудка, с сделанным посреди его небольшим островком, со стоящим, как на пьедестале, мраморным белым бюстом, а внизу другой островок с прекрасной березовой рощицей и со сделанными на нем с обеих берегов для перехода мостиками».

Игра контрастами, о которой говорит Болотов, — это тоже особенность сада. Смена настроений доставляет особенное наслаждение посетителю парка, так называемого английского сада. Таков парк в Павловске. И в Богородицке Болотов строил английский, пейзажный парк. Планировать пейзажный парк — искусство очень трудное, здесь садовник подражает природе, старается не придумать, а угадать, что и как должно быть. Наместник удивлялся и спрашивал Болотова, как ему это удалось? — и Болотов рассказывал, как долго он бродил по окрестностям, изучал каждый холмик, рощи, ручейки, делал зарисовки и размышлял, как усилить эффекты, приготовленные самой природой, не искажая ее, сохраняя все ее красоты. Это трудное занятие — не то что прежние регулярные сады, которые планировали, изменяя ландшафт до неузнаваемости.

*Пусть грубый землемер, компасом вооруженный,  
Идет в свой кабинет, от сада удаленный,  
Соразмеряя все, премудрый план чертит,  
И пусть по правилам хороший портит вид;  
А ты иди в свой сад; на белый лист бумаги  
Снимай там сколки с мест, вид вдаль, холмы, овраги;  
Все затруднения умеи предузнавать,  
Предвидеть способы и средства приискать:  
Чудотворения из трудностей родятся.*

Садовод рисует не красками, как художник, а живыми деревьями и цветами. Регулярные сады — явление искусственное, это как бы интерьер, созданный из деревьев, искусно подстриженных и выращенных так, что они похожи на вазы, бокалы, пирамиды. Фонтаны и садовые беседки дополняют картину. Наступающая в начале XIX в. эпоха романтизма отказывалась от этих искусственных украшений. Это был гимн естественности. Садовод уже не просто художник — он архитектор, он угадывает образ, который не достроила сама природа, и как скульптор в камне прозревает прекрасную фигуру, так он видит образ своего сада. Здесь и контрасты, и естественные красоты, и даже философия.

Болотов ведет своего хозяина к пустыньке по тесной кривой дороге. Это лабиринт — старая садовая забава, она присутствовала даже в монастырских садах. Извилистая дорожка, запутанная, приводящая неопытного путешественника в одно и то же место, символизировала в монастырских садах крестный путь Христа, на поворотах дорожки ставили кресты. Позже лабиринт стал восприниматься как аллегория человеческой жизни. Идею лабиринта привез в Россию Петр I. В Летнем саду он любил шутить со своими гостями — заведет в лабиринт и бросит. Как будто и сад не так уж велик, но люди неопытные запутывались и без посторонней помощи не могли выбраться. Болотов попробовал построить лабиринт в своем маленьком саду: «...Последние дни сентября употребил я на назначение в саду лабиринта. Как я с малолетства превеликую охоту имел к игрушкам сего рода и все деланные мною до того опыты были как-то неудачны, то восхотелось мне употребить и в этом саду одно пустое место под лабиринт и занять его оным. Наиболее же побудило меня к тому то, что около самого сего времени случилось мне выдумать лабиринт отменно замысловатого рода. И как, по нетерпеливости моей в таких случаях, возгорелось во мне желание видеть оный в самой практике; а место случилось к тому удобное, в работниках и материалах к тому не было недостатка, — то и принялся я за назначение оного. Намерение мое было произвести все стены его из насажденного сплошь кустарника. И потому не успел я его назначить, как и велел по всем местам, где быть дорогам, прорывать широкие борозды, а из земли, вынимаемой из них, делать по всем тем местам, где быть стенам, гряды, назначаемые под посадку кустарника. Но как к достижению оного до совершенства требовалось много времени, то, желая скорее оным пользоваться, предпринял я по всем сим грядкам набить сплошные и столь частые колья, чтоб сквозь их с одной дорожки на другую никак пролезть было не можно, а переплетя их сверху, все спилить в одну препорцию. В середине же, как в центре оного, сделать нарочитый курган и на нем поставить на пьедестале статую. Чрез что, чрез короткое время и привел оный до желаемого совершенства и не один раз имел удовольствие видеть, что никто не мог войти в него не ошибаясь множество раз на распутиях. Однако время и опытность доказали мне, что старинные садовые игрушки сего рода скорее могут прискучить, и потому и повеселился я сим лабиринтом не более как года два или три, а там его и запустил в лесок».

Лабиринт принадлежит еще к затеям старого регулярного парка. В конце XVIII в. такой регулярный кусок сада сохранялся только перед домом, и громоздкие постройки здесь негодились. Зато «обманки», столь любимые строителями регулярных садов, приживались прекрасно. «Обманные картины» писали на стенах зданий или ставили в конце аллей. Это была забава: вдруг в густом лесу открывался вид на залитую солнцем поляну, украшенную прекрасными зданиями, скульптурой... А подходишь, и оказывается, что все это великолепие нарисовано на холсте! Рассказывали о картине, которую написал знаменитый декоратор Гонзаго: некая собачка расквасила себе морду, пытаясь вбежать в несуществующую дверь, нарисованную им! В парке Павловска стоит Пиль-башня — романтическое сооружение, похожее на старинную крепость необычной постройки. Эта башня была очень популярна, ее изображали на гравюрах как достопримечательность Павловска. И что же? Оказывается, это была всего лишь старая мельница, которую Гонзаго всю расписал кистью — наличники окон, швы кладки, осыпающуюся штукатурку. Получилась настоящая объемная «обманка»...

Болотов тоже сумел сделать замечательную «обманку» в саду в Богородске: «Неподалеку... народилась в высоком берегу пруда одна крутая и почти в утесе осыпь, простирающаяся в длину сажен на двадцать. Из сей осыпи вздумалось мне сделать особенную штуку и такое обманное украшение, какого нигде еще до того делано не было, а именно: мне хотелось нарисовать на ней в перспективическом виде некоторый род развалин или часть старинного какого-нибудь монастыря и назади с башенками, и вблизи воротами, а кой-где в каменных стенах окошками. И как осыпь сия находилась версты за полторы от дворца и была вся очень видна за прудом с большой тульской дороги, то избрал я для нарисования оной один пункт на самой сей большой дороге и из оного и изобразил картину сию в перспективическом виде и в такой величине, чтоб она могла здесь всякого проезжающего большою дорогою и въехавшего на сей пункт обманывать и заставить почитать сие действительно старинным каким-нибудь разрушающимся зданием. Но каким образом картину сию из-за пруда и расстоянием сажен на сто и более нарисовать — к тому потребна была особая выдумка. Однако я скоро догадался, как это сделать: я велел навозить туда белых драниц и узкого кровельного теса и, уложив ими, по примеру поздному, вместо карандаша все черты, долженствующие означать ворота, стену, видимые за нею верхи зданий и башенки, поехал сам за

пруд и, став на избранном на дороге пункте, смотрел на изображенный драницами рисунок, и где надобно было их поправить и положить либо прямее, либо косее, либо в которую-нибудь сторону отнесть оттуда, крича в сделанную на скорости из политуры трубу, приказывал находящимся тут за прудом людям, как надобно исправлять и перекаладывать, и, уравнивши все по желанию, поехал опять сам туда и велел по сим драницам землю срывать и оную — где белыми песками — где желтыми, где известью усыпать; а назначенные кровли, для означения, будто они черепичные, укладывать сплошь кирпичным щебнем; ворота же и окошки усыпать угольями. Словом, я смастерил сие новое дело так удачно и хорошо, что, окончивши оное и поехав за пруд на дорогу на фигуру свою взглянуть, вспрыгался почти сам от радости и удовольствия, увидев, что она так натурально походила на настоящее здание... и обманывала зрение наисовершеннейшим образом».

Чем не *потемкинские деревни*? Может быть, правы некоторые исследователи, считающие, что Потемкин не стремился обмануть Екатерину, но показать ей в натуре, каким процветающим будет этот край через несколько лет. Ведь люди того времени были достаточно опытны в садовых «обманках»...

Болотов даже грот, устроенный в саду, превратил в «обманку» и развлекательное зрелище. Грот был построен на месте бывшего когда-то погребка. Внешне он выглядел просто как бугор, а внутри... «Сей вздумалось мне убрать совсем отменным таким образом, каким еще никто до того не убирал гротов. Я велел сперва отгородить досками все его углы во внутренности и дать ему чрез то внутри форму осьмиугольную и сообразную с его потолком, срубленным наподобие осьмиугольного свода. В помянутых отгородках велел поделывать круглые углубления, ниши, в которых бы сидеть было можно, а в своде срубить маленький лантерн с четырьмя окончинами и поставить на нем, как на пьедестале, мраморную статую. В сей лантерн входил свет в мой грот. Но как сие было не довольно, то получал он несколько света и в оба свои входа, которые сделаны были в него с двух сторон, как я прежде упоминал, пещерами. При самом входе его поделал я порядочные стеклянные двери, а соответственно им, в противостоящих стенах, сделал две другие, точно такой же величины и формы, фальшивые двери и вместо стекол вставил в них зеркала... Самая сия выдумка и составила наилучшее украшение моего... грота, ибо всякий, входящий в грот, обманывался и не иначе думал, что с противоположной стороны есть в него другой вход и также идут в него другие люди, и сей обман зрения был столь совершенен, что многие, обманувшись и увидев там людей и сами себя не узнав, снимали из вежливости шляпы и кланялись, и чрез то подавали повод к смеху и хохотанью».

В таком саду человек не столько предавался размышлениям, сколько удивлялся, ахал и развлекался. В начале XIX в. настроение меняется. Сад становится местом воспоминания, поминовения, тихого самоуглубления. Павловск весь служил таким *напоминанием*: императрица Мария Федоровна, которой он принадлежал, распланировала и устроила его так, чтобы уголки сада напоминали ей Европу, Германию — места, где она провела детство и раннюю юность. Здесь же, в Павловске, разместилась *Семейственная роща*: каждое дерево в ней посажено в память рождения детей или членов царствующего дома, здесь же, скрытый в зелени, — мавзолей в память «незабвенного супруга и благодетеля». Стремление ввести в сад буколические мотивы, построенные здесь молочни, птичники, конюшни заставляли хозяина как бы переместиться в Аркадию, хозяин сам с наслаждением играл роль деревенского жителя.

Все эти особенности садовых затей — извивающаяся дорожка, символ лабиринта, келья отшельника, памятный монумент — как будто в миниатюре повторены в поместье княгини Дашковой селе Троицком. «А теперь можно пойти погулять в сад, пройтись по аллеям — мы ходим здесь каждый день, и снег совсем не помеха, — записывает Марта Вильмот. — Если ты найдешь, что слишком холодно, можно зайти в оранжерею. Княгиня очень любит тропинку, петляющую среди берез, — она ведет к холму, на котором высится гранитный монумент, посвященный восшествию Екатерины на трон! Позади него — келья отшельника с высеченными из камня сиденьями, устланными мхом, а за ней начинаются лесные дебри». Особенно любопытно наблюдать, как все эти затеи воспринимают те, кто видит их впервые. Однажды, 21 августа 1808 г., Марте Вильмот поручили показать сад гостям: «Я водила *свое войско* по дорожкам и в конце концов нашла, что показ достопримечательностей — очень интересное занятие. Люди видят одни и те же вещи настолько по-разному, что можно составить себе представление о человеке, если знать, на что он особенно обращает внимание».

«В отличие от садов других стилей сад романтический — вечно становящаяся категория, — писал Д.С.Лихачев. — Сад воспринимается в развертывании, когда человек гуляет, проникает в него, входит в его идеи и настроения. Он развертывается во времени — в сменах дня и года, в сменах погоды, в появлении в нем новых и новых памятных мест. Он сам по себе движется благодаря наличию не только неподвижных, но меняющихся в окраске прудов и озер, но и реки, ручьев, водопадов. Тонкие ветки нестриженных кустов и деревьев колеблются по ветру...»

*Воспоминанием смущенный,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный*

*Вхожу с поникшею главой, —*

писал Пушкин в 1829 г. во втором «Воспоминании в Царском Селе». «Царскосельский парк был парком воспоминаний, и, как указывает И.Ф.Анненский в своем замечательном очерке «Пушкин и Царское Село», тема воспоминаний стала ведущей темой поэзии Пушкина: «...именно в Царском Селе, в этом парке «воспоминаний», по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться склонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный настрой», вызываемый «сумраком священным» тенистых деревьев.

\* \* \*

Когда мы следуем по извилистым аллеям какого-то удачно расположенного и хорошо спланированного сада, нам последовательно представляются ландшафты, которые иногда выглядят весело, иногда грустно, а иногда — спокойно и безмятежно. Если ум находится в своем естественном состоянии, он приспосабливается к объектам, которые сами себя последовательно представляют и с каждым новым видом пейзажа до некоторой степени изменяют свое настроение и существующий характер.

*Адам Смит. Журнал «Экономический магазин».  
Правило для садовладельца*

Ему не надлежит никогда всего сада своего так располагать, чтоб план всего расположения его мог вдруг и одним разом обозреваем быть. Ему не надобно давать зрителю видеть и допускать догадываться, какая сцена за какою последовать будет. Чем более он сокрыть может, тем живее будет нас трогать внезапное чего-нибудь явление. Где мы всего меньше чего ожидаем, там неприятнейше внезапностью настигаемся...

Там, где человек отдыхает, где он предается мыслям и воображениям, где он охотнее ощущает, нежели рассматривает, там надлежало быть духовитым цветным произрастаниям, испускать из недр своих сладкие, пряные, приятные испарения, услаждать ощущение его роскошью натуры, удовлетворяя его чувство обоняния. Вокруг сиделок, назначенных для отдохновения, и скален, вокруг кабинетов штудировальных или назначенных для упражнения в чтении и науках, вокруг столовых беседок и вокруг ванн да распространяются благовония мартовских фиолей, ландыша, матрональ-фиолей, нахт-фиолей, желтофиолей, левкоев, монардов, белых нарциссов, белых лилий, гиацинтов, гвоздик, миниотов, или египетской резеды, туберозов, женкилей и прочих тому подобных.

...Дедовский манер цветочные грядки делать узорами, изрезывать их в бесчисленные мелкие части, выводить ими всякие фигуры, косицы, травы, а иногда самых зверей, птиц и другие странные подобию, можно почесть такою детскою игрушкою, которая всего меньше подражания заслуживает... Последуем лучше по стопам натуры. Ежели хорошие и избранные роды цветов вместо сажания их на узорчатых и циркулем очерченных грядках разбросать кой-где нерадиво по площадке, покрытой низкою травою, и перемешать хорошими полевыми цветами, то таковая пестрота многообразием и контрастом своим должна неотменно произвести весьма приятное действие.

*Гиришфельд*

Для гуляния по большому пруду (в Царском Селе) содержались весьма разные двувесельные мелкие суда; а в августе 1777 г. привезены и спущены на большой пруд сделанные по высочайшему повелению на партикулярной верфи два четырехвесельные трешкоута, обошедшиеся построением в 507 рублей 71 коп. с позолотою резьбы в приличных местах и окрашиванием, один зеленого, а другой красного цвета, краскою, на коих ее величество, по благорассуждению, изволила иногда по большому пруду забавляться плаванием. Суда сии в торжественные праздники и доньше украшаемы бывають множеством разноцветных флагов, всегда для сего сохраняющихся в шлюбочном сарае, а при происходивших в садах Села Царского иллюминациях самым прелестным образом освещаемы бывали множеством разноцветных фонарей, по всем снастям и бортам, отсветом своим к поверхности водной производивших вид бесподобной. Летом, по 1825 г., посреди большого пруда стояли на якоре двенадцатипушечная яхта и большой бот, а у пристани большого каскада всегда стоит готовых, в значительном числе двувесельных малых яликов, для желающих покататься по Большому пруду...

*И.Яковкин. История Села Царского*

***В салоне***

Салон начинается тогда, когда в объявленный день без специального приглашения собирается определенная группа людей, чтобы побеседовать, обменяться мнениями, помузицировать. Ни карт, ни застоля, ни танцев такие собрания не предусматривали. Традиционно салон формировался вокруг женщины — она вносила ту атмосферу интеллектуального кокетства и изящества, которые создавали непередаваемую атмосферу салона.

«В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества, — вспоминал С.П.Шевырев. — Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя забыть впечатления, которое производила она своим полным и звучным контральто и одушевленную игрою в роли Танкреда в опере Россини. Помнится и слышится еще, как она в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его, положенную на музыку Геништой:

*Погасло дневное светило,  
На море синее вечерний пал туман...*

Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства».

Музыкантша, поэт, художница, Зинаида Волконская была всесторонне одарена и прекрасно образована. Она владела трудным искусством хозяйки салона — умела организовать непринужденную беседу, построить вечер так, что всем казалось, будто это сплошная импровизация. Здесь серьезная музыка соседствовала с разыгрываемыми шарадами, стихи — с эпиграммами и шутками. Однажды по неловкости один из гостей Зинаиды Александровны сломал руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу. Пушкин тут же откликнулся эпиграммой:

*Лук звенит, стрела трепещет,  
И клубясь, издох Пифон,  
И твой лик победой блещет,  
Бельведерский Аполлон!*

*Кто ж вступился за Пифона,  
Кто разбил твой истукан?  
Ты, соперник Аполлона,  
Бельведерский Митрофан.*

Но «Бельведерский Митрофан» был не так уж прост — он ответил тут же другой эпиграммой:

*Как не злиться Митрофану?  
Аполлон обидел нас:  
Посадил он обезьяну  
В первом месте на Парнас.*

Шутки были «с перцем», но на салонные эпиграммы не принято было обижаться, если честь не затронута. Дружеское общество допускало легкое подтрунивание — такие словесные игры особенно ценились остроумными собеседниками. Племянник А.А.Дельвига сохранил забавный рассказ о приключении в салоне своего дядюшки: «Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826—1827 г. был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи, и, не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белою краскою. Он был постоянно в дурных отношениях со своими родителями, за что его Дельвиг часто журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек, мать же и добрая, и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что «мать его ни рыба, ни мясо», Дельвиг однажды, разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал: «Нет, она рыба!» Конечно, спор после этих слов кончился смехом».

Каждый салон отличался своим подбором посетителей, своим «характером». Если к княгине Волконской собирались наслаждаться музыкой и поэзией, у Дельвига собиралось общество друзей-литераторов, то в петербургских салонах Елизаветы Михайловны Хитрово и у ее дочери графини Фикельмон, жены дипломата, собирался салон великосветски-политический. Петр Андреевич Вяземский

вспоминал: «В летописях петербургского общежития имя Е.М.Хитрово осталось так же незаменно, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь — европейская и русская, политическая, литературная и общественная — имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий, был и *premier Pétersbourg* с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше — эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах!»

Совершенно другими были вечера известного литератора Владимира Александровича Соллогуба, автора нашумевшей в свое время повести «Тарантас». По рождению Соллогуб принадлежал к высшему обществу, женился он на дочери Вьельгорского, человека именитого, придворного и прекрасного музыканта, жили они в доме на Михайловской площади в Петербурге — ныне рядом с Русским музеем. Общество, которое собиралось у Соллогуба, даже нельзя назвать салоном в строгом смысле этого слова. Соллогуб вспоминал: «...Кроме моих братьев и других артистов, у меня бывало на вечерах множество людей сановных, придворных и светских; их привлекало, во-первых, то, что они могли вблизи посмотреть на это в те времена диковинное явление — «русских литераторов», им по их воспитанию на иностранный лад совершенно чуждое, но в особенности потому, что я устроил эти вечера единственно ввиду того, чтобы собирать у себя именно этих писателей, живописцев, музыкантов, издателей тогдашних газет и журналов и вообще людей, близко связанных и с родным, и с иностранным искусством, и потому несколько не желал, чтобы люди чисто светские бывали на этих вечерах. Этого, разумеется, было достаточно, чтобы «весь Петербург» стремился ко мне. Теперь мне часто становится смешно, когда я вспоминаю все ухищрения, употребляемые в то время некоторыми дипломатами, убеленными сединами сановниками, словом, цветом тогдашнего петербургского общества, чтобы попасть ко мне. О женщинах нечего и говорить: с утра до вечера я получал раздушенные записки почти всегда следующего содержания: «Милейший граф, я так много наслышалась о ваших прелестных вечерах, что чрезвычайно интересуюсь и желаю побывать на одном из них! Прошу, умоляю вас, если это нужно, назначить мне день, в который я могу приехать к вам и увидеть вблизи всех этих знаменитых и любопытных для меня людей. Надеюсь... и так далее». Но женщинам самым милым и высокопоставленным мне приходилось наотрез отказывать, так как их появление привело бы в бегство не только мой милый зверинец, но и многих посетителей кабинета. Только четыре женщины, разумеется, исключая родных и Карамзиных, допускались на мои скромные сборища: графиня Ростопчина, известная писательница, графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, графиня Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Демидова. Надо сказать, что все они держались так просто и мило, что несколько не смущали моих гостей. Между нами было условлено, что туалеты на них будут самые скромные; они этому, хотя нехотя, подчинились, и раз только Аврора Карловна Демидова, которой, едучи на какой-то бал, вздумалось завернуть к нам по дороге, вошла в гостиную в бальном платье. Правда, платье было темное, бархатное, но на обнаженной шее сиял баснословный демидовский бриллиант, стоивший, кажется, более миллиона рублей ассигнациями.

— Аврора Карловна, что вы это надели, помилуйте! Да они все разбегутся при виде вас! — идя ей навстречу, смеясь, закричал я, указывая на ее бриллиант.

— Ах, это правда! — с таким же смехом ответила мне Демидова и, поспешно отстегнув с шеи ожерелье, положила его в карман».

Замкнутость салона, отделение «своих» от «чужих», без чего невозможно создать обстановку непосредственности и доверенности, того особого игрового пространства, которое отличает салон от ученого собрания и призвано стимулировать творческое соревнование — все это характерные черты каждого салона, со времени его возникновения во Франции во времена Ришелье, то есть в первой половине XVII в. Таким был салон маркизы Рамбуйе, возникший в Париже в 1617 г. Эта дама противопоставила свой маленький двор пышному великолепию королевского дворца. В ее салоне собирались самые знаменитые, остроумные и талантливые люди Франции. При этом они могли быть не имениты. Так, одним из самых почетных гостей маркизы был поэт Вуатюр, сын дижонского виноторговца, один из самых талантливых и известных людей своего времени. Салон Рамбуйе объявил себя республикой — в противовес абсолютной монархии. Вход сюда открывали только личные заслуги. Переступая порог дома, участники игры оказывались не в Париже, а в Афинах, добровольно отказываясь от всех преимуществ, дарованных им

светом, и принимая имена литературных героев — Альцест, Валер, Зарфея, Маналинда. Надо всем господствовал вкус, а вкус, как считали в это время, прерогатива женщин — отсюда господство женщины в салоне.

Женщины в салоне Рамбуйе погружены в философские изыскания и ученые статьи. Они отрицают замужество и признают только чистую, платоническую любовь — опять противоречие с королевским дворцом, погрязшим в разврате. Это была оппозиция. Оппозиция проявлялась и в том, что литературно-салонная поэзия вырабатывала ясный современный французский язык в противовес академической рутине. В этом французский салон и задачи, которые стояли перед французским обществом в начале XVII в., сходясь с задачами, стоящими перед русской культурой конца XVIII — начала XIX в., — выработка литературного языка, способного объединить страну. Во Франции времен кардинала Ришелье и «трех мушкетеров» это было связано с массой диалектов, носители которых ринулись в Париж, создавая ситуацию взаимного недовольствия и непонимания; в России это объяснялось засильем французского языка, которым пользовались образованные дворяне, ведь даже пушкинская Татьяна, «русская душой», «изъяснялася с трудом//на языке своем родном».

В салоне Н.М.Карамзина с самого начала французский язык был запрещен. Со смертью Николая Михайловича в 1826 г. карамзинский салон не прекратился. Хозяйкой салона вместе с Екатериной Андреевной, вдовой писателя, стала его дочь Софья Николаевна. Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта и фрейлина императрицы, так вспоминала о салоне Карамзиных: «Салон Е.А.Карамзиной в течение двадцати и более лет был одним из самых привлекательных центров петербургской общественной жизни, истинным оазисом литературных и умственных интересов среди блестящего и пышного, но мало одухотворенного петербургского света...

Я познакомилась с этим салоном лишь в самые последние годы жизни Екатерины Андреевны, уже в то время, когда самые выдающиеся писатели, входившие в него, как Пушкин, Дашков, Баратынский, Лермонтов, сошли со сцены. Но традиции остроумной беседы и умственных интересов сохранялись по-прежнему, и в этой скромной гостиной, с патриархальной обстановкой, с мебелью, обитой красным шерстяным штофом, сильно выцветшим от времени, можно было видеть самых хорошеньких и самых нарядных петербургских женщин в элегантных бальных туалетах прямо с придворного бала или пышного праздника, расположившимися на красной оттоманке за затянувшейся до четырех утра беседой. Вельможи, дипломаты, писатели, светские львы, художники — все дружески встречались на этой общей почве: здесь всегда можно было узнать самые последние политические новости, услышать интересное обсуждение вопроса дня или только что появившейся книги: отсюда люди уходили освеженные, отдохнувшие и оживленные. Трудно объяснить, откуда исходило это обаяние, благодаря которому, как только вы переступали порог салона Карамзиных, вы чувствовали себя свободнее и оживленнее, мысли становились смелее, разговор живее и остроумнее. Серьезный и радушный прием Екатерины Андреевны, неизменно разливавшей чай за большим самоваром, создавал ту атмосферу доброжелательства и гостеприимства, которой мы все дышали в большой красной гостиной. Но умной и вдохновенной руководительницей и душой этого гостеприимного салона была несомненно Софья Николаевна...»

Обычно в гостиной, где собирались гости, мебель стояла уголками, так что все общество то распадалось на группы по несколько человек, занимаясь своими частными разговорами, то объединялось, обращая внимание на гостя, которым сегодня «угощали», — был ли это дипломат, поэт или заезжий музыкант. Создать такое пространство, в котором каждый чувствовал бы себя наилучшим образом, — особое искусство хозяйки, и Софья Николаевна обладала им в высшей степени: «Перед началом вечера Софи, как опытный генерал на поле сражения и как ученый стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников; она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом, которые лучше всего к ним подходили. У нее в этом отношении был совершенно организаторский гений. Бедная и дорогая Софи, я как сейчас вижу, как она, подобно усердной пчелке, порхает от одной группы к другой, соединяя одних, разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая хорошенький туалет, организуя партию в карты для стариков, *jeux d'esprit* (игра ума — *фр.*) для молодежи, вступая в разговор с какой-нибудь одинокой мамашей, поощряя застенчивую и скромную дебютантку, одним словом, доводя умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добродетели...

Гости собирались каждый вечер. В будни бывало человек восемь, десять, пятнадцать. По воскресеньям собрания бывали гораздо многочисленнее: собиралось человек до шестидесяти. Обстановка приема была очень скромная и всегда одна и та же. Гостиная освещалась яркой лампой, стоявшей на столе, и двумя стенными кенкетами на противоположных концах: угощение состояло из очень крепкого чая с очень густыми сливками и хлеба с очень свежим маслом, из которых Софья Николаевна умела делать необычайно тонкие тартинки, и все гости находили, что ничего не могло быть вкуснее чая, сливок и тартинков карамзинского салона».

Салон Карамзиных объединял самых разных людей одних умственных интересов. Это был салон смешанного типа — здесь интересовались и политикой и литературой. Но это не был салон политический — здесь не решались государственные вопросы, и посетители салона вряд ли влияли на политику России. Зато литераторы почитали за большую честь стать завсегдатаями его. В.А.Соллогуб вспоминал, как однажды он встретил здесь Лермонтова перед его отъездом на Кавказ: «Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него «соскочила», он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да я давно написал эту вещь, — проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое-трое из гостей окружили его, он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

*На воздушном океане  
Без руля и без ветрил  
Тихо плавают в тумане...»*

В 1830-х гг. в Москве приобрел популярность салон Каролины Павловой. «Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее талант и ее живой и образованный разговор могли делать ее салон приятным и даже привлекательным для литераторов», — вспоминал Борис Николаевич Чичерин, впоследствии профессор Московского университета. Дом писателя Николая Филипповича Павлова и его жены поэтессы Каролины Карловны на Рождественском бульваре был местом, чрезвычайно привлекательным для молодежи. «По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры, Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его безукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы — и философские, и исторические, и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия... — писал Чичерин. — Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка, без сомнения, имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль».

Чичерин прав: в 1830—1840-е гг. салон все больше превращался в литературный кружок. Центром собрания была теперь не очаровательная женщина, но объединяющие собиравшихся умственные интересы. А.А.Фет вспоминал салон поэта Ф.Н.Глинки: «Не помню хорошо, каким образом я вошел в почтенный дом Федора Николаевича и Авдотьи Павловны Глинок. Вероятно, это случилось при посредстве Шевырева. Нетрудно было догадаться о небольших материальных средствах бездетной четы, но это нимало не мешало ни внешнему виду, ни внутреннему значению их радушного дома. В небольшом деревянном домике, в одном из переулков близ Сретенки, мне хорошо памятли только три, а если хотите, две комнаты: тотчас направо от передней небольшой хозяйский кабинет, куда желающие уходили курить, и затем налево столовая, отделенная аркой от гостиной, представлявшей как бы ее продолжение. Зато это был дом чисто художественных интересов. Здесь каждый ценился по мере своего усердия к этому вопросу, и если, с одной стороны, в гостиной не появлялось чванных людей напоказ, зато не было там и неотесанных неуклов, прикрывающих свою неблаговоспитанность мнимой ученостью».

Эти литературные кружки, сменившие салоны, стали знаком нового времени, времени толстых журналов и демократических кружков.

\* \* \*

Княгиня Голицына была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова она была в первой своей молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какою-то свежестью и целомудрием девственности...

Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне — хотелось бы сказать: в этой храмине, тем более, что и хозяйку



можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что здесь собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: *собирались по вечерам*. Найдется и тут поправка: можно было бы сказать — собирались *medianoche*, в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге *Princesse Nocturne* (Ночная княгиня — *фр.*). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, а беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра...

Сравнивать парижские салоны того времени с салонами Большой Миллионной было бы слишком смело; подводить под один знаменатель личности, которые встречались там, и те, которые могли встречаться у нас, было бы неловко. Ограничимся тем, что мы сказали, не принимая на себя ответственности решать вопрос ни в том, ни в другом отношении: ум вообще, и женский ум в особенности, остается пока еще открытым вопросом.

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

Чаадаев назначил один день в неделю для приема знакомых своих в послеобеденное время, т.е. от часа до четырех, в доме, им занимаемом на Басманной. Туда с поспешностью и с нетерпением стекались представители различных мыслей и нравов. Бывали тут и простые слушатели или зрители даваемых даровых представлений. Иные, чтобы сказать, что и они были в спектакле, другие потому, что сочувствовали развлечениям подобного лицедейства. Утренний салон или кабинет Чаадаева, этого *Периклеса*, по выражению друга его, Пушкина, был в некотором и сокращенном виде Ликей, перенесенный из Афин за Красные ворота.

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

## *Летучие листки альбома*

«Представьте себе, читатель, небольшую, но уютную гостиную, в которой вокруг небольшого стола, освещенного матовым стеклом лампы и заваленного книгами, тетрадями, листами, собралось несколько собеседников. Простота, выражающаяся во всем, и отсутствие всяких затей роскоши и претензий на моду немедленно сообщаются каждому, даже непривычному посетителю гостиной. Здесь всякому весело, легко и свободно. На большом диване, в глубине комнаты, сидит Софья Дмитриевна, окруженная многочисленным обществом и постоянно охраняемая Гектором и Мальвиною (любимые собаки Пономаревой), которым не шутя завидовали многие из присутствующих».

Так рассказывает В.П.Гаевский о петербургском салоне С.Д.Пономаревой. Умница, обаятельная, шаловливая как ребенок, она сама создавала общество своего салона. У нее не было ни знаменитого отца, имя которого освещало салон Карамзиных, ни богатства, но ее непреодолимо тянуло к людям, одаренным литературным талантом. Она знала языки, неплохо переводила, писала стихи, рисовала. В нее были влюблены и Дельвиг, и Баратынский, и Кюхельбекер. О ее салоне дошло много воспоминаний, но главное — дошел альбом, который заполняли посетители салона Софьи Дмитриевны. Это редчайший культурный феномен — в письменной традиции оказалась закреплена жизнь салона Софьи Дмитриевны. Результатом исследования этого явления стала книга В.Э.Вацура «С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры».

«Альбомы распространили у нас вкус к чтению — приохотили к литературе. И это ясно!.. Женщины, эти легкие, непостоянные, ветреные, но всегда милые для нас создания — женщины делают все, что хотят с нами, их усердными поклонниками... Давно говорили, что одни женщины могут выучить нас приятно говорить и писать; давно сказано, что только их верный, тонкий вкус может заставить нас отвыкнуть от странного и низкого языка, которым витийствуют герои русских романов... Благодарение женщинам! Они ввели в употребление альбомы и доставили приятное и полезное занятие нашим молодым людям. Я даже уверен, что со времени появления альбомов у нас стали писать лучше, приятнее, выражаться свободнее, приличнее, ближе к общественному разговору».

Это строки из статьи «Об альбомах», опубликованной в 1820 г. в журнале «Благонамеренный». Видимо, тема эта занимала уже современников. То, что говорит автор статьи о роли альбомов в выработке литературного русского языка, может быть отнесено и к салону. Важно другое: альбомы в жизни русского общества начала XIX в. занимали довольно большое место — к ним относились неравнодушно, даже когда на них сердились:

*Я не люблю альбомов модных:*

*Их ослепительная смесь  
Аспазий наших благородных  
Провозглашает только спесь...*

Это Пушкин. А между тем даже сердитый поэт писал в альбомы — и далеко не всегда эпиграммы. В альбомы писали Батюшков, Баратынский, Вяземский, Языков... В XIX в. сложилась форма девичьих альбомов с загнутыми уголками-секретами, где скрывалась надпись: «Кто прочтет секрет без спроса, тот останется без носа»; с надписями на последней странице: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Удивительно — форма альбома почти без изменений прошла через столетие и достигла почти нашего времени. Разве только нынешнее поколение, увлеченное компьютерами и плеерами, перестало интересоваться альбомами...

*Альбом красавицы есть список послушной,  
Где всякий смелою рукой  
Свое суждение о них писать несетя;  
Листы сии раскрыв, я в них нашел, что ты  
Любезна и добра и ангел красоты,  
Так что мне ничего сказать не остается...*

Хозяйка давала альбом кому-нибудь из посетителей ее салона с просьбой написать ей стихи. Получивший «задание» из любопытства читал другие записи — и реагировал на них. Получался разговор. Конечно, альбомная лирика — это всевозможные мадригалы, здесь особенно сюжеты варьировать не приходится. Зато можно развивать различные формы — каламбуры, галантные уподобления, неожиданные концовки.

*Три Грации досель считались в мире,  
Но как родились вы, то стало их четыре.*

*Когда б вы жили в древни веки,  
То верно б греки  
Курили фимиам  
Вместо Венеры... вам!*

Сушкова рассказывала, как юный Лермонтов в альбомной записи перевернул первые три строки и вместо мадригала написал эпиграмму:

*Три Грации считались в древнем мире,  
Родились вы... все три, а не четыре.*

Неожиданная концовка придает особую остроту не только эпиграмме, но и мадригалу. Одной из блестящих петербургских красавиц была княжна Анна Давыдовна Абаменек, фрейлина императрицы. Она родилась в 1814 г. и в начале 1830-х гг. «расцвела прелестно». Ей посвящали стихи Козлов, Баратынский, Пушкин. Летом 1832 г. юная княжна едет за границу. В ее альбом вписывают свои стихи Козлов и Пушкин, здесь же — прощальная запись Илличевского, бывшего лицейского поэта, помеченная: «Пароход. Июля 2-го дня. Алопеус». Илличевский вписывает своей рукой стихотворение Пушкина «Бог помочь вам, друзья мои...», обращенное к друзьям-лицеистам — и тем, кто в Петербурге, и тем, кто сослан в Сибирь после восстания декабристов. А ниже Илличевский записывает свой мадригал:

*Прощаясь, просите вы памяти от нас,  
Как будто позабыли сами,  
Что кто минуту пробыл с вами,  
Уже без памяти от вас.*

Альбом давал простор для своеобразной альбомной игры. Николай Иванович Греч, известный своею ученостью, и в альбоме сохраняет солидную позу. Его записи в альбоме Софьи Дмитриевны Пономаревой стилизованны, слегка жеманны и остроумны. Сперва он берет на себя роль школьного учителя и записывает: «Учительские наставления», в которых, между прочими правилами, пишет: «За столом сиди прямо, с соседями не дерись, и не ешь ничего без хлеба. Ходя по улицам, не заглядывай в окна. Над старыми людьми и учителями своими не насмехайся». А дальше вступает в игру «Если вещь, то какая» и дает остроумную характеристику хозяйке альбома, выступая в роли педантичного библиографа:

*«Современная русская библиография. Новые книги. 1818 г. Софья Дмитриевна Пономарева, комический, но чувствительный роман с маленьким прибавлением. Санктпетербург, в малую осьмушку, в*

*типографии мадам Блюмер, 19 страниц».*

Типография мадам Блюмер — модная петербургская лавка, а маленькое прибавление — сын Пономаревой. Читателю легко догадаться, что 19 страниц — по числу лет владелицы альбома. А дальше Греч дает рецензию на «книжку»:

«Начав читать сию книжку, я потерял было терпение: мысли автора разбегаются во все стороны, одно чувство сменяет другое, слова сыплются как снежинки в ноябре месяце; но все это так мило, любезно, что невольно увлекаешься вперед; прочитаешь книжку и скажешь: какое приятное издание! Жаль только, что в нем остались некоторые типографские ошибки!»

*Издатель «Сына отечества» Николай Греч*

Посетители салона альбом читали. След этих чтений сохранился в переписке Павла Лукьяновича Яковлева, брата лицейского старосты пушкинского курса, и его дядюшки Александра Ефимовича Измайлова, баснописца и издателя журнала «Благонамеренный», навсегда платонически влюбленного в очаровательную хозяйку салона. На вопрос племянника: «Где комический, но и чувствительный роман с маленьким прибавлением?» — следует обстоятельный ответ Измайлова: «Этот прелестный роман, который читаю всегда с новым удовольствием, был прежде в сельской, а теперь уже по-прежнему в городской библиотеке».

Софья Дмитриевна собирает обильную дань. В ее альбоме появляются автографы Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера. Это важно — альбомы и сейчас служат драгоценным источником поэтических текстов, многие из которых так и не попали в печать при жизни автора, потому что автор писал их в разные альбомы, применяя мадригал к адресатам; другие дают варианты известных стихотворений. Проходило время, менялись отношения между людьми. Пушкин листает альбом Анны Алексеевны Олениной и под стихотворением «Я вас любил, любовь еще, быть может...», вписанным его собственной рукой в 1829 г., приписывает: «Plusqueparfait — давно прошедшее. 1833».

*Альбом походит на кладбище;  
Для всех открытое жилище,  
Он так же множеством имен  
Самолюбиво испещрен.  
Увы! Народ добросердечный  
Равно туда, равно сюда  
Несет надежду жизни вечной  
И трепет страшного суда.  
Но я, смиренно признаюсь,  
Я не надеюсь, не боюсь,  
Я в ваших памятных листах  
Спокойно имя помещаю.  
Философ я; у вас в глазах  
Мое ничтожество я знаю.*

Эти стихи Баратынский вписал в альбом Каролины Павловой. И вот что обращает внимание: «Альбом походит на кладбище». На обложке альбома часто помещали название: «Souve-nir» — сувенир, воспоминание. Альбом заполнялся долго, иногда переходил от матери к дочери. И действительно, иногда около записей появлялись могильные кресты — знак, что автора записи уже нет на свете. Альбом не только сопровождал человека по жизни — он обозначал его отношения со смертью. Существовали предрассудки: боялись заполнять первый лист, потому что было поверье, что автор такой записи умрет. Заполнять альбом начинали с конца, потом появлялись записи в середине — в этом беспорядке наблюдалась некоторая последовательность. Чаще всего новая запись появлялась рядом с той, которая чем-то задела автора. Вот девичий альбом некой Лизы:

*Давно б душа моя увяла  
И охладела в сердце кровь,  
Когда б меня не подкрепляли...—*

а вместо последней строки рисунок: крест, якорь и пылающее сердце. Смысл ясен: крест — вера, якорь — надежда, а пылающее сердце означает любовь. Так получается последняя строчка:

*Надежда, вера и любовь.*

Иногда владелец альбома не соглашался с рисунком. В альбом известного масона и нумизмата

Михаила Петровича Баратаева некто нарисовал колонну, к которой прибит щит с голубым наметом, вокруг колонны знамена, а по бокам — богини с лавровыми венками в руках. Рядом с рисунком владелец альбома написал:

*«Ответ Д.С.П., нарисовавшему мне сей Трофей власти надгробного памятника.*

*На что трофей?.. на то ль, чтоб всем напоминал  
Под игом сколь его мой род и я страдал?»*

В альбоме завязывалась беседа. Один пишет: «О слабостях людей молчи, о добродетелях кричи», а другой отвечает: «Добродетель и без крику себя выкажет». Или в ответ на стихотворный комплимент:

*Говорят, что глаза бывают зеркалом души  
Так мудрые и милые твои так хороши.*

Стихи не получились, и тут же явилась отповедь:

*Видал я много глаз таких,  
Что в них души совсем не мало:  
А пощипте сердца в них, —  
Так сердца будто не бывало.*

Это уже отражение салонной культуры — в альбоме как бы застыла беседа, которая только что прозвучала в гостиной. В контексте такой беседы многое становится понятно. В альбоме отражается кокетливая игра-беседа, запечатлевается разговор наедине — это не предназначено для печати, но уже и не дневник, который никому не показывают. Это шутка, допустимая в узком кругу. Вяземский записывает шутливо-интимный мадригал в альбоме своей светской приятельницы княгини Юсуповой:

*Фортуна чрез меня вам башмаки подносит,  
И, надевая их, вам вспомнить случай есть  
О том, который сам вас и Фортуну просит  
У ваших ног ему дать жизнь свою провесть.*

Вяземский — мастер той словесной мадригальной игры, которая делает это альбомное четверостишие маленьким шедевром.

Модные альбомы наполняются автографами — знакомство с литераторами престижно, альбом с автографами Пушкина, Вяземского, Баратынского ценится высоко. П.Л.Яковлев в статье об альбомах в 1820 г. писал: «Я видел альбомы, которые драгоценнее всех диссертаций, коими похвалиться может счастливая Россия со времен Тредьяковского до наших дней, — я видел альбомы, в которых писали лучшие из наших авторов, в которых рисовали лучшие артисты наши! Что может быть приятнее такой книжки для милой владетельницы? — Что может быть полезнее такой книжки для молодых людей?

И как драгоценна становится со временем эта книжка! Перебирая листки ее, мы переносимся в прошедшее — вспоминаем о людях, которые тут писали... Многие состарелись — иные... разделены от нас вечностию — другие морями... Воспоминание, то приятное, то печальное или забавное, занимает нас, и мы дорожим своим альбомом, свидетелем прошедших лет, прошедших знакомств...»

Альбом передавали по наследству, в нем отпечатывались литературные и житейские интересы, споры, даже прочитывалась целая поэтическая переписка. Такой альбом сохранился в семье Даргомыжских. Мать композитора, еще будучи невестой, вместе с женихом писала свой альбом. Переписка увенчалась браком. А когда родилась дочь, Марья Борисовна Даргомыжская завела для нее альбом, который открыла своей записью-посвящением. Эту запись малютка прочитает, когда вырастет и научится читать и понимать прочитанное:

«Дарю тебе альбом, моя Людмила, не для того, чтобы заставить тебя следовать во всем глупой моде, но для того, чтобы доказать тебе, сколько я с самого твоего рождения занималась тобою и обдумывала все, что может служить к пользе и удовольствию твоему, когда достигнешь ты тех лет, в которые будешь уметь постигать вещи и ценить любовь мою. Я желаю, чтоб не мода, но рассудок руководствовал тобою, друг мой, а потому не найдешь ты в сем памятнике ничего страстного, ничего романического, ничего такого, что приятно в молодости, но пагубно на весь остаток жизни нашей! Здесь помещены правила честных людей, нравоучения опытных и дружеские советы матери».

А через год, 23 мая 1815 г., любящая мать вписывает в альбом стихотворение «Сегодня год, как ты родилась, // Людмила, друг души моей...», правила поведения, моралистические сентенции из Вольтера, Буало и других модных писателей. Это был «педагогический» альбом.

В альбомах пушкинского круга приняты игра, обмен цитатами, переделки известных

стихотворений, так что тексты «присваиваются», становятся «авторскими». Появляется специфическая альбомная поэзия — ведь предполагается, что владелец альбома прекрасно узнал подлинник. Превращение известного стихотворения в бродячий сюжет свидетельствует о его популярности.

*Геннадий! Когда жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись,  
В день уныния смиришь,  
День веселья, верь, настанет...*

Стихотворение Пушкина почти не изменено. Признанным альбомным шедевром, кочующим из альбома в альбом, стало стихотворение второстепенного поэта пушкинской поры А.А.Крылова, однофамильца знаменитого баснописца:

*Скажи, альбом, в простых словах  
Твоей владельнице милой,  
Что царствует она в сердцах  
И всех влечет волшебной силой;  
Что слишком счастлив был бы я,  
Хоть мне она давно знакома,  
Когда бы вспомнила меня  
Она без помощи альбома.*

Смелая надежда — Баратынский не надеется на память Софьи Дмитриевны Пономаревой:

*Вы слишком многими любимы:  
Знать наизусть их имена  
Чрезчур обязанность трудна, —  
Сии листы необходимы.*

Эта легкая альбомная игра, оставившая нам такое драгоценное наследство, кончилась с пушкинской эпохой. В 1846 г. Н.М.Языков писал А.А.Вульфу: «Альбом, в котором заключаются стихи Пушкина, есть драгоценность, и он же должен быть сохранен, как памятник того золотого времени, когда у девиц были альбомы». Время салонов и салонных игр осталось в прошлом. В 1871 г. неизвестный нам молодой человек пишет своей тетушке:

*Ваш альбом сорок первого года,  
Где любовью лист каждый дрожит,  
Нынче в ящике верхнем комода  
Позабытый спокойно лежит.  
Да! Прошла на альбомы уж мода,  
Время быстро вперед все бежит,  
И альбом сорок первого года  
Позабытый на полке лежит...*

\* \* \*

*Альбомы женщин.* Обыкновенно подарен мужем в первый год брака, и то, что писал он тогда, служит самым действительным средством бесить его. Альбом женщин не имеет своего особенного характера и переменяется по обстоятельствам, связям и капризам хозяйки. Замечательно, что ни в каком другом альбоме нет столько элегий.

*Альбомы девиц.* В восьмушку. Переплет обернут веленовою бумажкой. На первом листке советы от матери, стихи французские, английские, итальянские, выписки из Жуковского, рисунки карандашом. Травки и сушеные цветы между листьями.

*Альбомы молодых людей.* Разных форматов в сафьяновом переплете, без бронзы. Переплет истертый и испачканный чернилами. Рисунки казаков, гусар, улан, разбойников. Много измаранных листов, много карикатур, выписки из Пушкина.

*Альбомы литераторов.* В восьмую долю листа, в простом сафьяновом переплете с надписью: «Памятник дружбы», «Il veut le souvenir de ceux qu'il a chéris» (память о тех, кто дорог — *фр.*) или что-нибудь подобное. В таких альбомах встречаются хорошие оригинальные пьесы как друзей автора, так и неприятелей литераторов. Рисунков мало — больше карикатур».

*П.Л.Яковлев*

## О любви

Письма — один из замечательных памятников эпохи. Вы хотите понять человека? — читайте его письма. В письме диалог, перед нами и автор, его манера, слог — как бы слышится его голос, и адресат. К разным людям один и тот же человек пишет по-разному. Мы можем не отдавать себе в этом отчета, но мы строим образ не только того, кто пишет письмо, но и того, кому оно адресовано. Запечатленный диалог.

*Я к вам пишу... Чего же боле?  
Что я могу еще сказать?..*

Это Татьяна пишет Онегину. А вот Лермонтов:

*Я к вам пишу; случайно; право,  
Не знаю как и для чего,  
Я потерял уж это право.  
И что скажу вам? — ничего!  
Что помню вас? — но, Боже правый,  
Вы это знаете давно;  
И вам, конечно, все равно.*

Прямая перекличка текстов — Лермонтов пишет одно из своих самых значительных стихотворений, «Валерик», а начинает его словами из письма Татьяны. Кажется, мелочь — а на самом деле одно из важнейших явлений культуры. Современники Лермонтова недавно прочитали пушкинского «Онегина», знали его почти наизусть, и стихотворение Лермонтова вступало в диалог с пушкинским текстом, вызывая в памяти сложную цепь ассоциаций, связанную с романом Пушкина и даже с его судьбой. Мы наблюдаем один из самых сложных, универсальных механизмов культуры — создание контекста эпохи, видим, как отдельное произведение встраивается в мозаику текстов.

Татьяна писала свое письмо по-французски: Пушкин пояснял, что «она по-русски знала плохо». Французский язык — язык сердечных признаний. То, что по-русски звучит слишком интимно или вульгарно, французы выражают с изящной легкостью. Образцы писем-признаний Татьяна искала у своих любимых писателей во французских романах. И это вовсе не означает, что она была неискренней: литература и жизнь так перемешаны в сознании человека начала XIX в., что такие заимствования, такие «присваивания» себе чужих чувств вполне естественны.

Один из романов, которым увлекались во времена юности Пушкина, — «Новая Элоиза» Руссо. Герой романа Сен-Пре влюбляется в свою юную воспитанницу Юлию и открывает ей свои чувства. Но здесь нет слов «Я вас люблю» — нет, все очень осторожно, это полупризнания, рассчитанные на догадки, готовность к самопожертвованию и чувства, возвышающие душу:

*«Сомненья нет, я должен бежать от вас, сударыня! Напрасно я медлил, вернее, напрасно я встретил вас! Что же мне делать? Как быть? Вы мне посулили дружбу; убедитесь, в каком я смятении, и поддержите меня советом.*

Как вам известно, я появился у вас в доме лишь по воле вашей матушки. Зная, что мне удалось развить в себе кое-какие полезные способности, она рассудила, что это окажется не лишним для воспитания ее обожаемой дочери, — ведь в здешних краях не сыскать учителей. Я же с гордостью стал помышлять о том, как помогу расцвести вашей богатой натуре, и смело взялся за опасное поручение, не предвидя для себя ни малейшей угрозы или, скорее, не страшась ее. Умолчу о том, что я уже начинаю расплавиться за свою самонадеянность. Поверьте, я никогда не позволю себе забыть и не стану вести речей, которые вам не подобает слушать, буду помнить, что должно с уважением относиться к вашей добродетели... Страдая, я утешаюсь мыслью, что страдаю один, и не хотел бы добиваться своего счастья ценою вашего...

Иногда я дерзко тешу себя мыслью, что по воле неба есть тайное соответствие между нашими чувствами, так же как между нашими вкусами и возрастом... О Юлия! Что, если такое сродство ниспослано свыше... предназначено самим небом... Никакие силы человеческие... О, простите меня! Рассудок мой помутился: я принимаю мечты за надежды, пылкая страсть манит несбыточным».

За этим книжным объяснением как будто слышится голос Татьяны: «То воля неба: я твоя». Для романтика любовь — чувство, возвышающее душу. «Мой друг, женщинам определено воспламенять нас к великим делам, к труднейшим пожертвованиям и, может быть, к самым злодействам», — писал Андрей Иванович Тургенев юному Василию Андреевичу Жуковскому 19 августа 1799 г., в год рождения Пушкина. Жуковскому было шестнадцать лет, а старшему его другу — восемнадцать. Тургеневы — замечательная московская семья. Отец, Иван Петрович, один из самых образованных людей своего времени, друг

Новикова и покровитель молодого Карамзина, в это время был директором Университетского пансиона, где воспитывался Жуковский. В доме Тургеневых Жуковский познакомился с важнейшими произведениями европейской литературы. Сыновья Тургенева, Андрей, Александр и тогда еще совсем маленький Николай, будущий «декабрист без декабря», оставили значительный след в русской культуре.

Андрей Иванович был самым старшим из братьев и, может быть, самым талантливым. Его незаурядная личность не успела развернуться: в двадцать два года в 1803 г. он умер, как тогда говорили, от гнилой горячки с пятнами. Поэт, мыслитель, энтузиаст, для Жуковского он был близким другом и непререкаемым авторитетом в поэзии. Юноши страстно любили свое Отечество и литературу. Самую большую ценность для них имело «чувствительное сердце» — то есть, переводя на современный язык, равнодушие к чужим несчастьям. Уже поэтому Андрей Иванович был поражен историей сестры своего университетского товарища Соковнина и писал об этом Жуковскому:

«Ты знаешь фамилию Соковниных. Мать — женщина, одаренная всем, что должно составлять почтенную и любезную женщину: ангельскою кротостию, умом и сердцем редким, может быть, в нынешнем веке единственным. Несколько лет уже, как лишилась она своего мужа; эта потеря сокрушила их всех; но более всего подействовала она и на одну из дочерей ее... Вообрази себе, она навсегда отказалась от всех радостей жизни; в целом мире нет ничего, что могло бы ее утешить... Она просилась у матери в монастырь; но нежная мать старалась удержать ее от сего намерения.

Несколько дней тому — она долее обыкновенного не выходит из своей комнаты; ее ждут, она не выходит; посмотрели в окно ее комнаты (дом очень низок) — ее нет. Мать падает в сильный обморок. Проходят два или три ужасные дни; об ней нет никакого известия. Наконец, входит старый крестьянин; со слезами говорит, что он виноват, просит прощения и подает письмо (которого я не читал). Но содержание то, что она ночью вылезла в окошко и пошла к Девичьему Полю; переехала через Москву-реку и, встретив на Воробьевых горах двух крестьянок, которые спрашивали ее, кто она, сказала им, что она бедная сирота и идет в село Никольское... Наконец (я не помню и не знаю всех обстоятельств) она дошла до Никольского, в двенадцати верстах от Москвы, в дом того крестьянина, который принес письмо и сказала, что намерена остаться у него; на что он согласился не прежде, пока она согласилась уведомить мать; она закликает в письме своем, чтобы ее оставили тут и что тут только может найти некоторое спокойствие. — Не знаю еще, на что решилась мать.

Я забыл сказать, что этот крестьянин давно был знаком всему дому и носил туда молоко, овощи и прочее.

Представь себе, брат, какая нежная глубокая любовь!.. — Она взяла в свое уединение Библию и Руссо».

«Из всего этого мог бы выйти прекрасный роман», — добавляет Андрей Иванович. Он стремится познакомиться с сестрами Соковниными и находит милую, добрую, веселую девушку Анну Михайловну, которую всерьез увлечен его брат Александр, и ее сестру Катерину Михайловну. Варвара, историю которой описал Андрей Иванович в письме к Жуковскому, постриглась в монахини.

Катерина Михайловна привлекла молодого романтика своею склонностью к мечтательности, и он вступил с ней в чувствительную переписку. XIX в. любил письма: люди писали друг другу записки даже из комнаты в комнату. Чтобы понять собственную душу, дать себе отчет в своих переживаниях, надо найти слова для их выражения. Дневники, альбомы, письма позволяют с большой достоверностью представить себе людей пушкинского времени. Итак, Андрей Иванович и Катерина Михайловна вступили в переписку — конечно, тайную, иначе девушка, осмелившаяся писать мужчине, неженатому и не родственнику, даже независимо от содержания письма, в глазах общества неизбежно себя компрометировала. Если такая переписка обнаруживалась, молодой человек обязан был жениться на этой девушке. Вот почему Онегин, который не собирался связывать себя узами брака, так строго выговаривал Татьяне: «К беде неопытность ведет».

Вначале Андрей Иванович действительно собирался жениться на Соковниной. Ему казалось, что он любит ее, — до тех пор, пока он не попал в Петербург и не «развлекся душой». Образ Катерины Михайловны стал стираться из его памяти, тем более что на самом деле он был живой и веселый молодой человек и чувствительные вздохи не могли его занять надолго. А Катерина Михайловна полюбила его всей своей мечтательной душой. Перед Андреем Ивановичем встала труднейшая задача: как освободиться от взятых на себя обязательств, не обидев Катерину Михайловну и оставаясь человеком чести. Рождаются самые невероятные мечты, которые он записывает в своем дневнике: исчезнуть так, чтоб его никто не нашел, жить одному, инкогнито, все деньги раздавать бедным... Но как прожить вне общества, зачем зарыть себя в безвестность в двадцать один год, что такое подвиг, даже нравственный, если о нем никто не узнает? Нет, надо исчезнуть, но так, чтобы потом явиться неожиданно перед друзьями и восхитить их своим самопожертвованием: «Другая мечта, когда я счел себя здоровым, была уехать с Жуковским, путешествовать на море по вселенной, чтоб быть забытым от Катерины Михайловны. Мы бы принялись читать полезное, и все, что относится к этому предмету; объездили Европу, и из Лондона — написали, что

я утонул в море — пустились бы в Пенсильванию, а оттуда по островам Атлантического океана, отрелись от всех сочинений кроме нашего вояжа и возвратились бы в Москву инкогнито...

Иногда представляю себя в семейственной жизни; но эта картина бледна перед теми — что делать?..

Но она страстно любит меня! — А?! вот опыт, которого я забывать не должен!»

Жизнь распорядилась иначе. Вместо Пенсильвании Андрей Иванович попал дипломатическим курьером в Вену, потом вернулся в Петербург, простудился и умер 8 июля 1803 г., не дожив до двадцати двух лет. Катерина Михайловна не надолго пережила своего друга — замуж она так и не вышла, сохраняя верность умершему поэту. На этот осуществленный в жизни романтический идеал дивились и Жуковский и Александр Иванович Тургенев — они относились к Катерине Михайловне почти с благоговением...

Шло время. Восторженный романтизм начала XIX в. сменило увлечение Байроном с его скептическими разочарованными героями. Онегин уже посмеивается над мечтательным Ленским. Молодые люди 1820-х гг. были не похожи на своих старших современников.

*Каков я прежде был, таков и ныне я:  
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,  
Могу ль на красоту взирать без умиления,  
Без робкой нежности и тайного волнения.  
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?  
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,  
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой:  
А не исправленный стократною обидой,  
Я новым идолам несу мои мольбы...*

Пушкин шутит: он еще не полюбил, но он был всегда влюблен. Как писала в своих мемуарах умница Мария Николаевна Волконская, вспоминая время, проведенное с Пушкиным в Крыму и на Кавказе, он был влюблен в одну женщину — свою Музу. А то, что она принимала очертания знакомых девушек... какое это имеет значение!

Письма женщинам Пушкин всегда писал по-французски. Отсюда — возможность той легкой изящной шутки, даже чуть-чуть дерзости, которую угадываешь в черновике одесского письма. Неизвестно, было ли оно отослано и к кому обращено:

«Да, конечно, я угадал двух очаровательных женщин, удостоивших вспомнить ныне одесского, а некогда кишиневского отшельника. Я тысячу раз целовал эти строки, которые привели мне на память столько безумств и мучений стольких вечеров, исполненных ума, грации и мазурки. Боже мой, до чего вы жестоки, сударыня, предполагая, что я могу веселиться, не имея возможности ни встретиться с вами, ни позабыть вас. Увы, вдалеке от вас я утратил все свои способности, в том числе и талант карикатуриста... У меня есть только одна мысль — вернуться к вашим ногам. Правда ли, что вы намерены приехать в Одессу? Приезжайте, во имя неба! Чтобы привлечь вас, у нас есть балы, итальянская опера, вечера, концерты, чичисбеи, вздыхатели, все, что вам будет угодно. Я буду представлять обезьяну...

Должен вам сказать, что я стал целомудрен и добродетелен, собственно говоря, только на словах, ибо на деле я всегда был таков. Истинное наслаждение видеть меня и слушать, как я говорю. Заставит ли это вас ускорить ваш приезд? Приезжайте, приезжайте во имя неба, и простите свободу, с которой я пишу той, которая слишком умна, чтобы быть чопорной, но которую я люблю и уважаю».

Когда Пушкин писал это письмо, ему было почти столько же лет, сколько было Андрею Ивановичу Тургеневу в пору его мечтательной любви. Как изменилось время! Письмо Пушкина — тоже литературное произведение, но в другом роде. Пушкин играет, кокетничает, сочиняет, и не скрывает этого. Он надеется на ум своей корреспондентки — это нечто совершенно новое в любовном письме и вообще в отношении к женщине. В Михайловском Пушкин получает от Анны Петровны Керн последнее издание сочинений Байрона, о котором мечтал, и в восторге благодарит ее:

«Я совсем не ожидал, волшебница, что вы меня вспомните. Благодарю вас от всей души. Байрон получил для меня новое очарование; все его героини облекутся в моем воображении в черты, которые нельзя забыть. Я буду видеть вас в Гюльнаре и в Леиле. Идеал самого Байрона не может быть более божественным. Значит, как и прежде, судьба посылает вас, чтобы населить чарами мое одиночество».

Поэт не расстается со своим игровым пространством: как раз в это время он создает образ Татьяны «с французской книжкою в руках, с печальной думою в очах». Русская барышня воображает себя героиней своих излюбленных певцов — а в письме Пушкин, кокетничая, сам предлагает адресатке те роли героинь Байрона, в которых он хочет ее видеть. Впрочем, и это письмо — та же литературно-куртуазная утонченная игра, и глупа будет дама, если совершенно всерьез примет восторги поэта.

*И вы поверить мне могли,*



*Как простодушная Аньеса?  
В каком романе вы нашли,  
Чтоб умер от любви повеса?  
Послушайте: вам тридцать лет,  
Да, тридцать лет — не многим боле.  
Мне за двадцать; я видел свет,  
Кружился долго в нем на воле;  
Уж клятвы, слезы мне смешны;  
Проказы надоесть успели;  
Вам также с вашей стороны  
Измены верно надоели;  
Остепенясь, мы охладели,  
Некстати нам учиться вновь.  
Мы знаем: вечная любовь  
Живет едва ли три недели...*

Пушкин назвал это стихотворение «Кокетке». При жизни поэта оно не печаталось, к кому обращено — неизвестно, да, скорее всего, оно и не дошло до адресата. Пушкин не позволял себе быть таким злым с женщинами. Он просто «выговорил» свою досаду. Но этот текст как нельзя яснее показывает, что при всей игровой ситуации, в отличие от юношей начала века, поколение 1820-х гг. четко разделяло жизнь и литературу. Любовь перестала носить столь романтически-неземной характер, как это было свойственно мечтателям начала века. Другое дело — дружба...

\* \* \*

К новому, 1835 г. правительство вознамерилось учредить городскую почту. У нас старшими гостями и хозяевами подчас выражались порицания этой мере: — чего доброго! — с такими нововведениями, к молодым девушкам и женщинам полетят любовные признания, — посыплются безыменные пасквили на целые семейства!.. То ли дело заведенный порядок! Войдет в переднюю огромный ливрейный лакей с маленькой записочкой в руках, возгласит четверем-пяти своим собратьям: «От Ольги Николаевны, ответа не нужно», — или: «От Глафиры Сергеевны, просят ответа», — и один из заслуженных домочадцев несет писульку к барыне, докладывает ей от кого, часто — и об чем, как будто сам умеет читать, даже по-французски. — Не лучше ли? Не нравственнее ли? — Вся жизнь барыни и барышень на ладони всякого лакея; каждый из них может присягнуть, что ни за одной из них ни малейше-шероховатой переписки не водится, а почтальон что? — какое ему дело? — отдал, получил плату, и был таков!

*Воспоминания Е.Ладыженской*

## ***Язык цветов***

Рассказывают, будто «язык цветов», которым так увлекались в XVIII—XIX вв., привез в Европу шведский король Карл XII — тот самый Карл XII, которого разбил под Полтавой Петр Великий. После поражения он скрылся, жил при османском дворе и там узнал язык цветов. Но это совершенно не похоже на Карла. Он был суров, воинствен, не признавал другой музыки, кроме барабана и боевых труб, не знал любви — для чего ему это галантное искусство «говорящих букетов»? Тем более что в Европе и так знали цветы, которые играли большую роль в легендах и мифах.

*Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник, —  
У дыханья цветов есть понятный язык:  
Если ночь унесла много грез, много слез,  
Окружусь я тогда горькой сладостью роз.  
Если тихо у нас и не веет грозой,  
Я безмолвно о том намекну резедой;  
Если нежно ко мне приласкается мать,  
Я с утра уже буду фиалкой дышать;  
Если скажет отец: «Не грусти, — я готов», —  
С благовоньем войду апельсинных цветов.*

Фет упоминает резеду. Резеда означает *исключительность*, а цветущая ветка апельсина знаменует

*благородство*. Но попробуйте подставить эти значения в стихотворение Фета — не получается! Видно, недаром утверждали знатоки, что крайне редко можно ожидать точного понимания того, что сказано цветами. Ведь в восточной традиции учитываются все нюансы: когда поднесены цветы? Как дарящий держал букет: если соцветиями вверх — это одно значение, а если букет был опущен — совсем другое. Важно учесть, украшен ли букет листьями и убраны ли шипы у розы. И еще: в какой руке держит букет тот, кто подносит, в правой или в левой. А та, кому поднесли букет, наклонила его вправо? — тогда это означает согласие, а если влево — отказ. Молодой человек дарит девушке цветок и пристально смотрит: если она приколотла его на корсете, у сердца, значит, любит, а если поместила в прическу — предостережение.

*Утром шлю тебе фиалки,  
В роще сорванные рано;  
Для тебя срываю розы  
В час вечернего тумана.*

*Ты поймешь, конечно, эту  
Аллегорию цветную?  
Оставайся днем мне верной  
И люби порой ночью.*

Это Гейне в переводе Александра Блока. Фиалка у Фета — «утром буду фиалкой дышать», у Гейне фиалка тоже связана с утром... Фиалка символизирует застенчивость, невинность. У католиков Деву Марию называли «фиалкой смирения» и посвящали ей белую фиалку.

Фиалка — цветок скромный, простенький, но зато какой аромат! И как хорош цвет фиалки в маленьком букете... Греческая легенда рассказывает, что однажды бог солнца Аполлон преследовал своими жгучими лучами одну из прекрасных дочерей Атласа. Девушка испугалась страсти солнечного божества и обратилась к Зевсу с мольбой укрыть и защитить ее. И тогда Зевс превратил девушку в фиалку, укрыл в тени своих рощ и велел цвести весной. А чтобы оттенить ее красоту, Зевс дал фиалке чудный аромат.

*У лунных фей в бутонах гиацинта  
Шиповника медовое вино,  
И в сердце мне ударило оно;  
Спокойно спят в пустом старинном замке  
Нетопыри, и вежи, и кроты.  
Укрывшись то в расщелине, то в ямке;  
И от расплесканных повсюду брызг,  
Пьяняще пахнувших из темноты,  
Им весело становится во сне,  
И слышно бормотанье их и визг:  
Они не знали о таком вине...*

Гиацинт — цветок необыкновенный. Он попал в Европу из Малой Азии. Его название в переводе с греческого означает «цветок дождей» — на родине он распускался с наступлением теплых весенних дождей.

В Европе гиацинт узнали не сразу. Из Малой Азии он сначала попал в Турцию: в начале XVII в. турецкий султан гордился своим садом, где росли одни гиацинты. Он приходил сюда любоваться переливами нежного цвета в окраске гиацинта и вдыхать его ароматы. Во второй половине XVII в. гиацинты завезли в Вену, но по-прежнему этот цветок тщательно охраняли как чрезвычайную редкость. Сад почитали отражением небесного райского сада Эдем на земле, а гиацинт был одним из редчайших его украшений.

Однажды у берегов Голландии разбилось генуэзское торговое судно. Среди других товаров купцы везли ящики с луковицами гиацинтов. Ящики разбились, а луковицы, найдя подходящий для себя грунт, пустили ростки и зацвели. Страстные любители цветов, голландцы подивились их красоте и чудному запаху и пересадили в свои огороды. Голландцы начали культивировать гиацинты, выводить новые сорта и торговать ими. Стоили гиацинты очень дорого: однажды за луковицу «Адмирал Лифкен» было заплачено 20 000 гульденов, целое состояние.

Конечно, гиацинты тут же заняли свое место в галантном языке цветов: гроздеобразный гиацинт назывался «муши-руми», что означало «ты получишь все, что только я могу дать»; а простой голландский гиацинт связывали с понятием кокетства, игры. Больному и уже старому Фету молодая графиня Олсуфьева принесла букет гиацинтов, и поэт тут же ответил стихотворением:

*В смущенье ум, не свяжешь взглядом,  
И нем язык:  
Вы с гиацинтами, — и рядом  
Больной старик.*

*Но безразлично, беззаветно  
Власть вам дана:  
Где вы парите так приветно —  
Всегда весна.*

Самый популярный цветок — роза. Греки считали, что белая роза явилась из пены, которая покрывала рождающуюся Афродиту, богиню любви и красоты. Роза стала красной, когда неосторожный Амур во время пира богов опрокинул на нее сосуд с божественным напитком — нектаром. Ни один цветок не наделили такими разными смыслами и символами, как розу. В бутоне розы греки видели символ бесконечности, потому что роза круглая, — а круг не имеет начала и конца и потому символизирует бесконечность; к тому же в бутоне листья туго скручены, так что его нельзя развернуть. Но как только роза раскрылась — ее век недолог. Лепестки ее осыпаются или увядают, будучи сорваны. «Дева-роза» называли юных прекрасных девушек, напоминая, что и их век красоты недолог. Недолгая пленительная красота розы напоминала о кратковременности красоты, о быстротечности человеческой жизни. Поэтому греки носили розы на голове и на груди в знак траура.

От греков роза была перенесена в Рим. Здесь во времена республики роза считалась символом строгой нравственности. Римские воины, отправляясь в поход, снимали свои шлемы и надевали венки из роз — считалось, что эти венки вливают в сердца воинов мужество. Роза служила эмблемой храбрости: знаменитый римский полководец Сципион Африканский разрешил своим солдатам в день их триумфального вступления в Рим нести в руках букеты из роз, а чтобы увековечить память об их храбрости — выбить изображения розы на их щитах.

Но у розы было еще одно, совершенно неожиданное значение: она стала символом молчания. Во время пиршеств с потолка залы свешивалась искусственная роза — она была посвящена богу молчания Гарпократу. В Риме времен Нерона это было полезное напоминание — чего не сболтнет хмельной человек! А шпионы Нерона тут как тут. Роза не одному болтуну спасла жизнь.

*Богородица царица  
Киргиз-Кайсацкая орды!  
Которой мудрость несравненна  
Открыла верные следы  
Царевичу младому Хлору  
Взойти на ту высоту гору,  
Где роза без шипов растет,  
Где добродетель обитает...*

Так писал Державин в оде, посвященной Екатерине II. Поэт называет Екатерину Киргиз-Кайсацкой царевной Фелицей, будущего Александра I — царевичем Хлором, которому мудрая Фелица открывает путь туда, «где роза без шипов растет». А роза без шипов, согласно христианским легендам, это добродетель, и росла она в раю, но было это до грехопадения человека. После изгнания Адама и Евы из рая на розе появились шипы как напоминание о смертном грехе.

Белая роза, как и белая фиалка, стала символом невинности, чистоты и целомудрия Богородицы. Деву Марию называли Волшебной Розой, Розой Небес, Розой Без Шипов. Легенда рассказывает, что архангел Гавриил взял белых, желтых и красных роз и сделал из них три венка для Пресвятой Богородицы. Венок из белых роз означал ее радость, из красных — ее страдания, из желтых — ее славу.

В Англии роза появилась только в XIV столетии. Всем памятна — хотя бы по названию — война Белой и Алой Розы. Война велась за английский престол и названа была по эмблемам, которые несли на своих щитах претенденты. Ланкастерский дом имел на щите белую розу, а Йоркский — красную. Об этом рассказывает Шекспир в трагедии «Генрих VI». В 1450 г. в парке Тампля у куста роз собралось многочисленное общество. Решается спор, представитель какой фамилии сядет на английский престол.

*Плантагенет:  
Коль так упорны вы в своем молчаньи,  
Откройте мысль мне знаками немymi.*

*Пускай же тот, кто истый дворянин  
И дорожит рождением своим,  
Коль думает, что я стою за правду,  
Сорвет здесь розу белую со мной.*

*Сомерсет:*

*Пусть тот, кто трусости и лести чужд,  
И искренно стоять за правду хочет,  
Со мною розу алую сорвет...*

В XIX в. язык цветов приписывал розе уже исключительно значение любовного признания. Но при этом различали розы по сортам: австрийская роза означала «с большой любовью», дамасская — «застенчивая любовь», белая — любовь тихая, а желтая — неверность. Впрочем, важно еще, с какими цветами роза соединена в букете...

*Где наша роза,  
Друзья мои?  
Увяла роза,  
Дитя зари.  
Не говори:  
Так вянет младость!  
Не говори:  
Вот жизни радость!  
Цветку скажи:  
Прости, жалею!  
И на лилею  
Нам укажи.*

Шаловливое стихотворение Пушкина-лицеиста указывает путь: от увлечения, влюбленности к чистоте и невинности, которые означаются лилией. Лилии каждое утро жених присылал невесте, в Греции жениха и невесту увенчивали лилиями и пшеничными колосьями, желая им чистой и полной изобилия жизни. В венке из лилий шла к первому причастию молодая француженка. Христиане считали, что лилия проросла из слез Евы, когда она покидала рай. С лилией изображается архангел Гавриил в сцене Благовещения. Наконец, лилия появилась в гербе французских королей. Легенда рассказывает:

«Говорят, что французский король Хлодвиг, будучи еще язычником, видя, что он терпит поражение, воскликнул: «Христианский Бог, помоги мне одержать победу, я верю в Тебя!» И тогда внезапно ему явился ангел Божий с ветвью из трех лилий и сказал, чтобы отныне он сделал этот цветок своим оружием и завещал его своим потомкам. В ту же минуту солдат Хлодвиг охватило необычайное мужество, с обновленными силами они устремились на врага и обратили его в бегство. В благодарность за это Хлодвиг принял святое крещение, а лилия с тех пор стала эмблемой королевской власти во Франции». Так языком цветов учились разговаривать даже государственные гербы. Этим языком владели современники Пушкина, переписывали его в свои альбомы и, конечно, понимали монолог сумасшедшей Офелии лучше нас.

*Офелия:* «Вот розмарин, это для памятности: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это чтоб думать. Вот укроп для вас, вот водосбор. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно также назвать богородичной травкой. В отличие от моей носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но они все завяли, когда умер мой отец».

Розмарин в переводе с латыни означало «морская роса» — считалось, что это растение цветет у моря. Древние греки использовали напиток из этого вечнозеленого растения для улучшения памяти. В XIX в. студенты вплетали в волосы веточку розмарина — говорят, помогало. Гирлянды, сплетенные из розмарина, надевали на обручающихся — залог долгой любви, память любви. А водосбор в Англии символизировал Святого Духа — это растение напоминает голубя в полете. Другое значение водосбора — безрассудство. Рута душистая означала очищение, а ромашка, как и маргаритка, — невинность. Во Франции XVI в. анютины глазки называли *али пенсе*, то есть цветок мысли. Людовик XV, возводя в дворянское звание славного в свое время врача и экономиста Кане, велел ему поместить в свой герб три цветка анютиных глазок с надписью: «Глубокому мыслителю». Но в Англии те же анютины глазки означали сердечную радость, покой. Молодые люди 14 февраля, в Валентинов день, день всех влюбленных, посылали их тем, кто им нравился. Это было всем понятное объяснение в любви — без слов. Достаточно было послать засушенный цветок и написать свое имя — та, кто получит такое послание, все поймет. Этот ли цветок нашел в книге Пушкин?

*Цветок засохший, безуханный,  
Забывший в книге вижу я;  
И вот уже мечтою странной  
Душа наполнилась моя...*

\* \* \*

Язык цветов прост;  
Подобрать то, что хочешь сказать,  
Не быть многословным,  
Не повторять цветы Пасхи,  
Не делать букета, чтоб никто не мог понять,  
И постараться быть нежней.

*Элизабет Баретт Броунинг*

*Акация: желтая — ушла любовь,  
розовая — элегантность  
Анемон — хрупкость  
Анютины глазки — думай обо мне  
Астра — уходящая красота  
Амарант — бессмертие  
Барбарис — скорбь  
Барвинок малый — светлое воспоминание  
Базилик — ненависть  
Береза — грациозность  
Бессмертник — неизменная память  
Боярышник — надежда  
Бузина — сострадание  
Вербена — чувствительность  
Вишня — чистота помыслов  
Водосбор — безрассудство  
Водяная лилия — чистота сердца  
Вьюнок — покорность  
Вяз — достоинство  
Гвоздика — непорочность  
Георгин — достоинство и элегантность  
Герань: желтая — трезвый рассудок,  
светло-коричневая — я встречаюсь с вами,  
розовая — предпочтение,  
пурпурная — утешение  
Гиацинт — игра  
Гортензия — бессердечие  
Дуб — гостеприимство  
Дурман — я тебя никогда не забуду  
Душистый горошек — расставание  
Жасмин: белый — дружелюбие,  
желтый — элегантность и грациозность  
Зверобой — враждебность  
Земляника — совершенное превосходство  
Ива плакучая — покинутый  
Ирис — послание для вас  
Кедр — сила  
Кипарис — скорбь  
Клен — сдержанность  
Колокольчик — постоянство, горе  
Конский каштан — несправедливость*

*Крапива* — клевета  
*Кукуруза* — изобилие, избыток  
*Кукушкин цвет* — обещание  
*Лаванда* — признание  
*Лавр* — я не изменю до самой смерти; слава  
*Ландыш* — возвращение счастья  
*Львиный зев* — самонадеянность  
*Левкой* — неподвластная времени красота  
*Лилия* — скромность  
*Липа* — супружество  
*Лиственница* — смелость  
*Лопух* — назойливость  
*Лотос* — ушедшая любовь  
*Люпин* — печаль  
*Лютик* — расположение  
*Магнолия* — влечение  
*Мак* — найди утешение во сне  
*Маргаритка* — невинность  
*Мать-и-мачеха* — материнская забота  
*Мимоза* — чувствительность  
*Мирт* — исчезнувшая любовь  
*Можжевельник* — защита  
*Мох* — материнская любовь  
*Мята* — целомудрие  
*Нарцисс* — обманчивые надежды, желание, эгоизм  
*Настурция* — патриотизм  
*Незабудка* — истинная любовь  
*Ноготки* — беспокойство  
*Овес* — музыка  
*Одуванчик* — непреложная истина  
*Олеандр* — остерегайся  
*Оливковая ветвь* — мир  
*Орхидея* — красавица  
*Осина* — чувствительность  
*Пальма* — победа  
*Папоротник* — искренность  
*Первоцвет* — естественная грация, юность  
*Петрушка* — веселье  
*Пихта* — время  
*Пион* — хвастовство  
*Плющ* — дружба  
*Подсолнечник* — фальшивое богатство  
*Полынь горькая* — отсутствие  
*Резеда* — исключительность  
*Репейник* — признательность  
*Роза* : австрийская — с большой любовью,  
дамасская — застенчивая любовь,  
белая — тихая печаль,  
желтая — неверность,  
роза-эглантиера — поэзия  
*Розмарин* — воспоминание, подарок на память  
*Рута душистая* — очищение  
*Сирень* — первое чувство любви  
*Тамариск* — преступление  
*Терн* — трудности  
*Тис* — скорбь  
*Тростник* — послушание  
*Турецкая гвоздика* — улыбка

Тюльпан — выражение любви  
Флокс — мы едины  
Фиалка: синяя — скромность,  
белая — искренность,  
желтая — сельское счастье  
Хризантема — приветливость  
Чабрец — коварные чары  
Чертополох — мизантропия  
Шалфей — добродетели  
Шелковница — мудрость  
Яблони цветы — великолепие  
Ясень — величие

Язык цветов. 1846 г.

## Девичьи школы

«Щеголиха говорит: как глупы те люди, которые в науках самые прекрасные лета погубляют. Ужесть как смешны ученые мужчины; а наши сестры ученые — о! Оне-то совершенные дуры. Беспременно, как оне смешны! Не для географии одарила нас природа красотою лица; не для математики дано нам острое и проницательное понятие; не для истории награждены мы пленяющим голосом; не для физики вложены в нас нежные сердца. Для чего же одарены мы сими преимуществами? — чтоб были обожаемы. В слове: *уметь нравиться* — все наши заключаются науки».

Так в сатирическом журнале XVIII в. щеголиха рассуждает об образовании женщин. Чем не госпожа Простакова, возмущенная грамотностию Софьи: «Вот до чего дожили! К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!» А между тем еще Петр Великий одним из первых своих указов запретил венчать девушку, не умеющую подписать своего имени. Андрей Тимофеевич Болотов в своих воспоминаниях рассказывал, что о нем «пустили разговор», будто он колдун, потому что много книг читает, и девушка, к которой он сватался, отказала ему. В поисках невесты молодой человек обратился к свахе и просил подобрать ему невесту грамотную. В 1760-х гг. это было не так просто в провинции. Сваха такую девушку нашла и хвалила невесту. «Вот, — говорит, — и читать, и писать может, а коли мать прикажет, так и книги читает». Это уже воспринималось как подвиг дочернего послушания, которое почиталось первейшею добродетелью. А бабушка Благово рассказывала о старом времени: «Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь; мы не смели сказать: за что вы изволите гневаться, или чем я вас прогневала; не говорили: это вы мне подарили, нет, это было нескладно, а следовало сказать: это вы мне пожаловали, это ваше жалованье. Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их — не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было послушаться отца или мать».

С самого почти рождения детей отдавали на руки кормилицам, нянькам, гувернанткам, и родителей они видели чаще всего утром, когда приходили пожелать им доброго утра, да во время общего обеда. Мальчика готовили к будущей службе, а девочка с самого детства — невеста. У нее не было самостоятельности. Сперва ее жизнь определялась родителями, потом — мужем. Гувернантка больше всего заботилась о хорошем французском языке, без этого в обществе нельзя, учила девочку правильной походке, умению вести себя в обществе, учитель музыки давал уроки на фортепиано и обязательно разучивал со своей воспитанницей несколько модных песенок и популярных оперных арий, образование завершал учитель танцев. Девушки, имеющие серьезные интересы, были редкостью. Бабушка Благово хвалила свою родственницу как на редкость образованную девушку: «Анна Александровна была очень умна и воспитание получила хорошее, что тогда было довольно редко. Все учение в наше время состояло в том, чтоб уметь читать да кое-как писать, а много было знатных и больших барынь, которые кое-как с грехом пополам подписывали имя свое каракулями. Анна Александровна, напротив того, и по-русски и по-французски писала очень изрядно и говорила с хорошим выговором».

Среди этих девушек, болтающих по-французски и уже научившихся подписывать свое имя, женщины одаренные выделялись особенно. Такова была Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, одна из самых ярких женщин XVIII в., впоследствии возглавившая две российские академии и работу над академическим словарем русского языка. О своем детстве она вспоминала: «Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы — по своему времени — получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать; некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с

нами занимался Бехтеев; у нас были изысканные и любезные манеры, и потому немудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц». «Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем книги, — признавалась Екатерина Романовна — все мои карманные деньги уходили на покупку книг».

В конце XVIII в. она уже была не одинока. Николай Иванович Новиков, замечательный русский просветитель, первый озаботился образованием женщин. В типографии Московского университета он начал издавать романы и сказки, нравоучительные и занимательные, из которых стали составляться женские библиотеки. Новиков издавал журнал «Детское чтение для сердца и разума». Тон журнала был поучающий, а намерения серьезные. «Любезные дети! — так обращался издатель к своим юным читателям. — Может быть, многим из вас удивительным покажется издание особого для вас журнала. *Причина*, побудившая нас к изданию, есть та, что доселе на отечественном языке нашем не было ничего, что бы служило собственно для *детского чтения*».

В журнале давали советы. Вот один из них:

*«Рецепт для молодых девушек.*

Во всякое время, а особливо летом, надобно вставать рано, и если можно, вместе с солнцем. Утренний воздух делает кровь свежее, а потому в лице производит живость, и губам придает такой же приятный цвет, каков цвет утренней зари. От долгого сна лицо бывает бледно и припухло.

Вставши, должно умываться свежеею водою для того, что от теплой воды тело со временем желтеет и показываются на нем морщины.

Потом во весь день надобно остерегаться от всех страстей, особливо ж от зависти, которая производит в лице желтый цвет и бледность.

...Белизна рук служит украшением красавиц. Для сего надобно держать их всегда в чистоте и мыть свежеею студеною водою. Но и этого не довольно: надобно, чтоб при том руки были как можно чаще в движении, и потому всего лучше заниматься чаще разными женскими рукоделами... Бабушки наши имели по большей части белые руки, коим мы удивляемся на их портретах. Они не употребляли к тому никакого иного средства, кроме прилежности к рукоделиям.

Если при всем том молодая красавица будет одеваться чисто и просто, то она сохранит до самой старости ту приятность и те прелести, которых тщетно ожидают от разных притираний и пышных нарядов».

Вместе с матерью дети читали книги, собранные в женской библиотеке. От сказок, где Иван-царевич или богатырь побеждал злого врага и освобождал заколдованную принцессу, юные слушатели переходили к чтению назидательных рассказов, воспитывающих рыцарские чувства к женщине у мальчиков и желание подражать героиням у девочек, к «Плутарху для детей», повествующему о героях древности. Так воспитывались будущие воины, героически сражавшиеся на полях Отечественной войны 1812 г., будущие декабристы, готовые принести свои жизни на алтарь отечества.

Чтобы воспитывать будущих матерей, появляются частные пансионы, особенно французские. В одном из таких заведений была воспитана героиня пушкинского «Графа Нулина» Наталья Павловна, которая не знала домашнего хозяйства, потому что была воспитана «не в отеческом законе», «а в благородной пансионе / у эмигрантки Фальбала». Пансион чаще всего не давал серьезного образования — здесь готовили светскую даму. В мемуарах начала XIX в. рассказывается, как воспитывали девушек в одном из таких заведений:

«Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы светской жизни.

— Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, — в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это сделаете?..

Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или дедушкой».

Умение занимать гостей и вести разговор, занимательный и остроумный, было обязательным. Возможно, такой «театр на дому» был совсем неплохим способом наглядного обучения, но только этого явно было недостаточно.

Одним из самых старых и почтенных заведений, где обучались девушки из хороших семей, был Институт благородных девиц, расположенный в Смольном монастыре. Институт заведен был при Екатерине II и всегда пользовался покровительством царской семьи. Кто не помнит портреты смолянок работы Левицкого? Учиться в Смольном было престижно, после выпуска из смолянок делали фрейлин, это были завидные светские невесты.

Обучение в Смольном продолжалось девять лет. Сюда привозили маленьких девочек, лет пяти-шести, и они должны были жить в институте во все продолжение учебы, практически не зная родного дома. Таким образом думали уберечь смолянок от вредного развращающего влияния среды, на самом деле их просто лишали материнского тепла в то время, когда оно было девочкам особенно необходимо.



Девять лет обучения разделялись на три ступени. Учение на первой ступени длилось три года. Учениц этой низшей ступени называли *кофейницами* — они носили платья кофейного цвета с белым коленкоровым воротником. Жили они в дортуарах по девять человек, в каждом дортуаре с ними жила классная дама. Надзор был строгий, жизнь почти монастырская. Средняя группа носила голубые платья — их и звали *голубые*. Они отличались отчаянными шалостями, безобразничали, дразнили учительниц, не делали уроков. Девочки старшей группы носили зеленые платья, но они уже танцевали на институтских балах и для этого имели белые платья — их называли *белые*. В особых случаях на институтские балы приезжали придворные кавалеры, даже великие князья, в остальное время роли кавалеров в танцах исполняли сами воспитанницы.

Девочки низшей группы, по неписаным институтским законам, обязательно выбирали себе идеал из числа *белых* и *обожали* ее, то есть постоянно ее сопровождали и выражали свое восхищение.

Александру Осиповну Россет отдали в Екатерининский институт. «Мне купили маленький сундучок, уложили белье и платье на неделю, и мы поехали в Екатерининский институт, прямо к начальнице. Она нас приняла очень благосклонно... Тут я простилась с маменькой, она очень плакала, а я не проронила ни слезинки... Я поступила в институт в 1820 г.»

О распорядке дня в институте Александра Осиповна рассказывала так:

«Наш день начинался в шесть часов зимой и летом. Наши слуги были инвалиды, которые жили в подвалах, женатые, со своими семьями. Тот, который звонил, курил смолкой в коридорах. Курилка звонил беспощадно четверть часа, так что волей-неволей мы просыпались. Курилка был в Париже и уверял, что говорит по-французски: «Коли хочешь белого хлеба, только скажи дю пан дю блан, а коли черного — дю пан дю двар, а у немцев спросишь свечку, и скажи лихтеру, а подсвечник — подлихтер, отрежь хлеба, — дай кому, да еще полкомсы». Солдатики были наши друзья. После моей продолжительной лихорадки доктор сказал, что мне надобно позволить спать до семи часов и обедать у начальницы для подкрепления, что было весьма приятно. Мы все были готовы в половине осьмого и шли молча попарно в классы. Были три отделения и каждое в особой комнате. У дежурной классной дамы была тетрадь, куда она записывала малейший проступок в классе. Дежурная девица читала главу из Евангелия, а потом воспитанница разносила булки; те, за которых родители платили даме классной 10 р. в месяц, пили у нее чай с молоком и получали три сухаря из лавочки вдобавок к булке, а прочие пили какой-то чай из разных трав с патокой и молоком, это называли декоктом, и было очень противно.

В девять часов звонок, и все должны были сидеть по местам в ожидании учителя... Вечером мы сами перестилали наши постели. В среду и субботу нам мыли головы и ноги. Зимой вода была так холодна, что мы молоточком пробивали лед и мылись ею».

Самое удивительное, что позднее Александра Осиповна вспоминала институт с большой теплотой. Наконец наступил день выпуска: «В 10 часов была обедня, молебен с коленопреклонением, все уже были одеты в городские платья, всякая по своему состоянию. Я была в казенном платье, меня никто не брал... Три звонка. Дверь отворилась в рекреационной зале, и вошла государыня. Мы стояли, за ней шла начальница и дамы классные в своих синих мундирных платьях и несли шифры, золотые и серебряные медали. Первый шифр получила Бартоломей, дочь известного доктора Бартоломея, второй я... Шифры очень красивы: золотая буква «М» с короной, на белой муаре ленте, окаймленной красным цветом».

Шифр — это знак того, что лучшие ученицы института стали придворными фрейлинами: «Спустя месяц нам сшили черные шерстяные платья, и начальница повезла нас в Зимний дворец, где нас представили как будущих фрейлин императрицы Александры Федоровны...»

Так начиналась взрослая жизнь. Одних после института забирали домой, им искали жениха, других, чаще из родовитых, но обедневших семей, старались пристроить во дворец, где их ожидала не самая легкая служба...

\* \* \*

Я посетила воспитательные учреждения, основанные императрицей... Институт святой Екатерины состоит из двух домов, в каждом из которых находится двести пятьдесят девочек из дворянских и буржуазных семей; они воспитываются там под надзором императрицы, заботы о них превосходят уход, оказываемый детям в богатой семье. Порядок и изящество заметны в малейших деталях, и чувство религии и самой чистой морали направляет все, что могут развить искусства. В русских женщинах столько природной грации, что, войдя в зал, где все девушки приветствовали нас, я не заметила ни одной, которая не вложила бы в свой реверанс всей вежливости и скромности, которые может выразить это простое действие.

*Мадам де Сталь. 1812*

Александра Федоровна постоянно посещала воспитательные заведения для молодых девиц, она любила детей, советовала им быть умными и прилежными, посылала им к празднику пакеты с

конфетами, но она ласкала всегда самых красивых из них, улыбалась тем, которые танцевали с особенной грацией, а улыбка императрицы была законом, и целые поколения будущих жен и матерей подданных воспитывались в культе тряпок, жеманства и танца «с шалью».

*А.Ф.Тютчева. При дворе двух императоров*

## ***Итак, я женюсь...***

«Участь моя решена. Я женюсь...

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством — боже мой — она... почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заматавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит.

Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наперед, что не будет отказа».

Жениться! Легко сказать — большая часть людей видят в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок.

Другие — приданое и степенную жизнь...

Третьи женятся так, потому что все женятся — потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму.

Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.

Узнаете? Пушкин писал это в 1830 г., когда ему было тридцать лет и он сам собирался жениться.

Женитьба — важный шаг в жизни молодого человека. Венчание — это таинство, и развод был тогда практически невозможен. Мужчина задумывался о женитьбе обычно лет в тридцать, девушка считалась невестой уже в четырнадцать-пятнадцать лет. В этом возрасте она уже по-взрослому плясала на детских балах, куда приезжали молодые люди высматривать себе невест. Так было принято среди дворян; а купцы и чиновники жили по старинке, невесту поручали подыскать свахе, да непременно узнать, сколько за нею приданого. Первую встречу молодых людей назначали так, чтобы никто из чужих не знал. Об этом вспоминает англичанка Марта Вильмот, бывшая свидетельницей сговора в Серпухове в 1808 г.:

«Смотрины всегда происходят на рассвете, чтобы о них не узнал никто, кроме членов семьи, т.е. людей заинтересованных. Если случится, что молодой человек, увидя свою суженую, откажется на ней жениться, то, может, ее уже никто никогда не возьмет замуж. Правда, случается это редко, так как отцы в купеческих семьях очень деспотичны. Что касается девушек, то их мнением вовсе не интересуются, так как в семье они живут на положении затворниц. Им не с кем сравнивать жениха, не из кого выбирать, кроме того, замужество освобождает их из опостылевшего домашнего заточения, поэтому они обычно соглашались на всякого, кого им предложат родители. Первые смотрины определяют судьбу девушки, а несколько дней спустя устраивают вторые смотрины, в присутствии всех родных с обеих сторон. К этому времени родители невесты показывают родным жениха опись одежды, белья, жемчугов, бриллиантов, посуды и прочего, что они собираются дать в приданое за дочерью, и выслушивают претензии к качеству и количеству вещей и требования добавить то, что более необходимо. На вторых смотринах, подготовка к которым ведется уже в открытую, молодой человек должен в присутствии родственников попросить сваху, это важнейшее лицо на купеческих свадьбах, произнести громким шепотом имя его суженой и после этого впервые берет невесту за руку, и они считаются сговоренными».

Известный театрал Степан Петрович Жихарев рассказывал, как он наблюдал «ловлю женихов» в Москве 6 января 1806 г. В этот день он отправился к стенам Кремля, где традиционно устраивалась Иордань — праздник Крещения, а после освящения воды и окончания богослужения здесь устраивали смотр невест, никем, конечно, специально не объявленный:

«По окончании церемонии народ стал расходиться, и Нил Андреевич Новиков (приятель Жихарева) повел меня на смотр невест, который у низшего купечества и мещанства бывает ежегодно в праздник Крещения и о котором я понятия не имел. По всей набережной стояло и прохаживалось группами множество молодых женщин и девушек в довольно богатых зимних нарядах: штофных, бархатных и парчовых шубах и шубейках: многие из них были бы очень миловидны, если б не были чересчур наделены, нарумянены и насурмлены, но при этой штукатурке и раскраске они походили на дурно сделанных восковых кукол. Перед вереницею невест разгуливали молодые купчики в лисьих шубах и высоких шапках, и все были, по выражению Новикова, *с кондачка*, то есть чистенько одеты и прикидывались молодцами. Между тем какая-то проворная бабенка подбежала к нам и прямо обратилась ко мне с вопросом: «А ты,

золотой мой, невесту, что ли, высматриваешь?» — «Невесту высматриваем вот с тятенькою, — отвечал я очень учтиво, показывая на Новикова, — да только по мысли-то не найдем». — «А вот посмотрите, мои красавцы, я вашей милости покажу: такая, матушка, жирненькая, да и приданьице есть: отец в Рогожской постоялый двор держит», — и с этими словами привела нас к одной группе, в которой стояла девушка в малиновой штофной шубе, лет, по-видимому, двадцати пяти, недурная собою, но также намалеванная и такого необъятного для девушки дородства, что она, в сравнении с другими, казалась тыквою между огурцами. «Вот вам, сударики, невеста так уж невеста! — с самодовольствием сказала сваха. — Коли приглянулась, так скажите, где жить изволите и как вашу милость звать, а я завтра понаведаюсь и о вашем житье-бытье невесте порасскажу...»

Этот выбор невест показался мне очень похожим на выбор молодых канареек в Охотном ряду: выбирай из сотни любую, покрупнее или помельче, пожелтее или позеленоватее, а которая из них пет будет — Бог один весть».

Именитые дворяне обычно не прибегали к услугам свахи-профессионалки. Эту роль выполняла старшая родственница или отец жениха. Елизавету Петровну Римскую-Корсакову сватали несколько раз, но отец все не соглашался.

«Раз как-то батюшка и говорит за столом:

— Не понимаю, отчего это Янькова так зачастила ко мне; давно ли была, а сегодня опять ко мне приезжала; не знаю, что ей нужно, а уж верно даром — она прелукавая.

И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего...

Прошло еще сколько-то времени, приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорит ему:

— А я, Петр Михайлович, к тебе свахой приехала, хочу сватать жениха твоей дочери.

— Которой же?

— Елизавете, батюшка.

— Елизавете? Она еще так молода... А кто жених?

— Старший из Яньковых, Дмитрий.

— Нет, матушка сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложения: Елизавета еще так молода; я даже ей и не скажу».

Но прошло время, и Елизавету Петровну все-таки выдали замуж.

«Настала весна; мы начали собираться ехать в деревню и часть обоза отправили уже вперед; это было после Николина дня; вот как-то я утром укладываю кой-что, для отправки тоже, присылает за мною батюшка: «Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную». — Спрашиваю: «Кто там?» — Говорят: «Яньков».

Вошла я в гостиную; батюшка сидит на диване превеселый, рядом с ним Дмитрий Александрович, весь раскраснелся, и глаза заплаканы; когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне:

— Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал согласие, теперь зависит от тебя принять предложение или не принять... Подумай и скажи.

Я отвечала: «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться, соглашаюсь и я...»

Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня; батюшка нас обоих обнял, был очень растроган и заплакал; глядя на него, заплакали и мы оба, его обняли и поцеловали руку. Потом батюшка говорит, смеясь и обнимая Янькова:

— Ведь экой какой упрямец, четвертый раз сватается, и добился-таки своего! Ну, Елизавета, верно было тебе написано на роду, что тебе быть за Яньковым... Поди объяви сестрам, что я тебя просватал, и позови их сюда, мы помолимся.

Я побежала к сестрам и объявила им новинку, что я невеста; все меня целовали, поздравляли, и мы пошли вместе в гостиную. Батюшка стал пред образом лицом на восход и потом взял мою руку и передал Дмитрию Александровичу.

— Вот, мой друг, — сказал он, — отдаю тебе руку моей дочери, люби ее, жалуй, береги и в обиду не давай; ее счастье от тебя теперь зависит. — А мне батюшка примолвил: — А тебе, Елизавета, скажу одно: чти, уважай и люби мужа и будь ему покорна; помни, что он глава в доме, а не ты, и во всем его слушайся.

Это называлось в наше время «ударил по рукам»; через несколько дней был назначен сговор».

Это событие было таким важным в жизни женщины, что даже много лет спустя Елизавета Петровна, рассказывая, как будто все переживает заново. Отец, мать или опекун подписывали с женихом так называемую рядную запись, в которой подробно оговаривалось все приданое невесты, движимое и недвижимое. В метрической книге церкви, где происходило венчание, подробно записывается, кто присутствовал при этом, и существовала такая обязательная в записи формула, что «обыск учинен», то есть священник и свидетели, совершающие таинство, удостоверились, что жених и невеста чисты и не имеют

другой тайной семьи.

В мемуарах оживают картины прошлого, становится многое понятно — в психологии, в жизни. В истории, а особенно в истории культуры, нет пустяков, важны все мелочи.

Особый рассказ — свадьбы королей и императоров. «Теперь, женка, послушай, что делается с Дмитрием Николаевичем, — пишет Пушкин жене об ее брате 26 августа 1833 г. — Он, как владетельный принц, влюбился в Надежду Чернышову *по портрету*, услыша, что она девка плотная, чернобровая и румяная...»

Пушкин иронизирует, а ведь браки в императорской семье так и совершались. Когда наступало время женить или выдавать замуж великих князей и княжон, просматривали все владетельные фамилии иностранных государств, где могли оказаться подходящие женихи или невесты, и, сообразуясь с необходимостью государственного союза, укрепления отношений, посылали кого-то поразведать о настроениях этого двора. Комаровский, который служил дипломатическим курьером, рассказывал о своей службе при графе Румянцеве: «Граф Николай Петрович с своею маленькою свитою, в которой находился и я, возвратился в Франкфурт. Он объявил мне, что намерен ехать в Карлсруэ к маркграфу Баденскому, при котором он также был аккредитован и который, бывши на коронации, будто приглашал его к себе приехать, и что он возьмет меня с собой. Граф сие говорил для того, чтобы не дать мне ни малейшего подозрения о настоящей причине его поездки. Я после узнал, что императрица Екатерина, когда вознамерилась женить великого князя Александра Павловича, поручила графу Н.П.Румянцеву, как бывшему в сношениях со многими маленькими имперских князей дворами, объехать оные и доставить ее величеству сведения о всех принцессах, бывших тогда в летах для бракосочетания. Выбор императрицы пал на Баденский двор. Со мной было прислано графу повеление отправиться в Карлсруэ, сделать маркграфу предложение: выдать одну из принцесс его дома в замужество за великого князя Александра Павловича и, когда получено будет согласие, прислать портреты принцесс к императрице». В таких случаях трудно говорить о взаимных чувствах будущих супругов. Здесь брак — дело государственное.

Напротив, романтики считали чувства самым главным условием счастливого брака. Нормой «романтического» поведения в начале XIX в. стало «умыкание» невесты — чаще всего даже не потому, что родители не согласны, а так, ко взаимному удовольствию. Гоголь, рассказывая о старосветских помещиках, в жизни которых ровно ничего не происходит, замечает, что не всегда жизнь была такой и что Афанасий Иванович в молодости «увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него». В пушкинской повести «Метель» молодой человек как бы в шутку во время такого тайного венчания занял место жениха, а девушка осталась — жена, да неизвестно чья. Впрочем, в «Метели», как известно, все кончилось хорошо.

Так бывало и в жизни. Родной племянник Пушкина, сын Ольги Сергеевны, вспоминал о свадьбе своих родителей: «Формальное предложение отца моего, Павлищева, встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны Пушкиной решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича и Жуковского; Сергей Львович замахал руками, затопал ногами — и Бог весть почему — даже расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась весьма решительно: она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало: когда, две недели спустя, Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона отец сделал с нею тура два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась; Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 г., а на следующий день, 25 числа, в среду, в час пополудни, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец; они сели в сани, помчались в церковь святой Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей — друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за своим братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и, после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь... этого не сделает».

Но это «умыкание невесты» — свадьба «неправильная», а если все идет, как надо, — после того, как «ударил по рукам», следовал сговор, обед с родственниками и близкими друзьями, на котором объявлялась помолвка. В оставшееся время между сговором и венчанием, накануне церковного обряда, жених прощался с холостой жизнью, устраивая «мальчишник», на который приглашал друзей своей холостой жизни, а у невесты был «девишник».

Свадьба тоже строилась по строго определенному порядку. Сначала — церковный обряд. На

венчание невеста и жених приезжали отдельно, встречались уже в церкви, где священник соединял молодых. Этот обычай остался от старины, когда жених действительно порой не видал своей невесты, пока не поднимали в церкви фату с ее лица. В XIX в. молодые люди, конечно, были знакомы заранее. Марта Вильмот так описывает венчание генерала Лаптева и княжны Голицыной 25 января 1808 г. в Москве: «Мы пошли в церковь в 12 часов, и вскоре после этого появился жених в брачном одеянии. Невеста прибыла получасом позже, одетая в атлас, кружева, украшенная бриллиантами, с бриллиантовыми серьгами. Молодые трижды обменялись кольцами, трижды отпивали вина, символизируя готовность делить поровну радости или горести жизни. На них надели брачные венцы и трижды обвели вокруг аналоя. Затем священник прочитал что-то вроде проповеди, и на этом церемония закончилась. На невесте не было фаты, как у крестьянок, да и вообще эта свадьба понравилась мне меньше крестьянской».

Маркиз де Кюстин в 1839 г. присутствовал при венчании герцога Лейхтенбергского с дочерью русского императора Марией Николаевной. Он, напротив, отмечает красоту и торжественность православного обряда:

«Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии, как мне показалось, лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных.

Стены и потолки церкви, одежды священников и служек — все сверкало золотом и драгоценными камнями; люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга... Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченных в роскошные одежды, — большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес...

Во время венчания по греческому обряду наступает минута, когда молодые супруги пьют из одной чаши. Затем в сопровождении священника, совершающего богослужение, они трижды обходят вокруг алтаря, держась за руки в знак своего соединения в браке и грядущей верности друг другу. Все эти действия тем более величавы, что напоминают об обрядах древних христиан.

Затем над головами жениха и невесты поднимают венцы. Венец великой княжны держал ее брат, наследник престола... венец герцога Лейхтенбергского держал граф Пален, русский посол в Париже...

Невеста дышит изяществом и чистотой; у нее белокурые волосы и голубые глаза; лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце...

Перед благословением в церкви, по обычаю, выпустили на волю двух сизых голубей; они уселись на золоченый карниз прямо над головами молодых супругов и до самого конца церемонии целовались там».

Согласно обряду, во время церемонии священник спрашивает каждого из брачующихся, согласен ли он взять другого в супруги. В этот момент девушка, если ее выдают замуж насильно, может объявить о своем несогласии, и тогда брак считается несостоявшимся. Но это, скорее, теоретическая возможность...

После венчания обычно отправляются на свадебный обед. Писатель Владимир Александрович Соллогуб вспоминал: «Свадьба наша совершилась с необыкновенною пышностью в Малой церкви Зимнего дворца; государь Николай Павлович соизволил быть посаженным отцом; весь двор присутствовал на вечере у Вьельгорских. Теща моя, всегда эксцентрическая, выкинула штуку при этом, о которой я до сих пор не могу вспомнить без смеха. Для жены моей и меня в доме моего тестя была приготовлена квартира, которая, разумеется, сообщалась внутренним ходом с апартаментами родителей моей жены. Теща моя была до болезни строптива насчет нравственности и, предвидя, что ее двум дочерям девушкам придется, может быть, меня видеть иногда не совершенно одетым, вот что придумала: приданое жены моей было верхом роскоши и моды, и так как в те времена еще строго придерживались патриархальных обычаев, для меня были заказаны две дюжины тончайших батистовых рубашек и великолепный атласный халат; халат этот в день нашей свадьбы был, по обычаю, выставлен в брачной комнате, и, когда гости стали разъезжаться, моя теща туда отправилась, надела на себя этот халат и стала прогуливаться по комнатам, чтобы глаза ее дочерей привыкли к этому убийственному, по ее мнению, зрелищу».

На другой день после свадьбы молодые делают визиты, а затем часто устраивается бал — такой, о каком в 1808 г. писала Марта Вильмот: «Через два дня после свадьбы (князя Ухтомского и графини Толстой) мы были у них на балу. Молодая чета встречала приезжающих у входа и принимала поздравления, а потом почти все гости, и мужчины, и женщины, отправились в спальню, беспорядочно загроможденную разными вещами и мебелью. Эта комната всегда обставляется невестой, поэтому все эти вещи перевозятся из ее дома в дом жениха и сгружаются в полном беспорядке. После того как их *благословит священник*, они становятся объектом общего любопытства. Каждый считает своим долгом взглянуть на них и осведомиться о цене кружев, украшающих туалетный столик, розовых шелковых занавесок, стеганых одеял, подушечек или булавок и свадебной корзинки, украшенной розовыми бантами. Все это осматривается и женщинами и мужчинами, все хвалится в глаза и критикуется за ее спиной, и, повертевшись напоследок перед зеркалом, гости один за другим покидают спальню». Конечно, этот обычай вторжения в частную жизнь кажется англичанке Вильмот варварским. При этом иностранцев удивляло, что имущество супругов никогда не объединялось. «Тебе следует знать, — пишет Китти Вильмот сестре в

1806 г., — что каждая женщина имеет право на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же независим от своей жены. Следовательно, брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и, если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму, так как он не имеет права ни на один фартинг из ее состояния. Это придает любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые, на взгляд кроткой английской женщины, пользуются огромной независимостью в этом деспотическом государстве».

Итак, все свершилось, свадебный ужин окончен, гости разъехались по домам, и начинается семейная жизнь. К сожалению, не всегда удачная. Разводы в старину были очень затруднены, и потому чаще супруги, обнаружив полное несходство характеров, просто, как тогда говорили, жили в разъезде. При этом молодая женщина выигрывала свободу, которой не было у нее в девичестве. Но только если она достаточно богата и родовита. Жена сына княгини Дашковой, которую гордая княгиня не признала, вынуждена была жить в деревне на скудные средства: «Последние пять-шесть лет молодая Дашкова жила безвыездно в деревне, совершенно *в русском стиле*, то есть проживая с мужем раздельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях, и переписывалась с ним при каждой оказии».

При вступлении в брак служащий дворянин обязан был испросить высочайшего позволения. «Молодой Нарышкин женился на мадемуазель Мэттем, опасаются, что могут быть неприятные последствия, так как он еще находится на военной службе, офицер же не должен жениться без разрешения императора, а он его не испрашивал», — тревожится М.Вильмот. Гораздо позже А.С.Грибоедов, также не получивший позволения на свой брак с Ниной Чавчавадзе, просил И.Ф.Паскевича заступиться за него перед императором.

Крепостные крестьяне должны были получить позволение на женитьбу у своей барыни. 20 июня 1808 г. Марта Вильмот записала в дневнике просьбу кучера Дашковой, которая показалась ей любопытной: «Мавра Романовна, я хочу попросить у вас милости: помочь мне получить разрешение жениться. Княгиней я очень доволен, да и она добра ко мне, но прошлой зимой мне очень дорого обходилась стирка, а если бы я был женат, мне бы чинили одежду и стирали белье бесплатно и у меня был бы свой угол». В крестьянский дом нужна была прежде всего работница!

\* \* \*

— Как это тебе никогда не вздумалось жениться? — спрашивал посланника Шредера император Николай в один из проездов своих через Дрезден.

— А потому, — отвечал тот, — что я никогда не мог бы позволить себе ослушаться Вашего Величества.

— Как же так?

— Ваше Величество строго запрещает азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная.

*П.А.Вяземский. Записные книжки*

Князь Меншиков, защитник Севастополя, принадлежал к числу самых ловких остряков нашего времени. Как Гомер, как Иппократ, он сделался собирательным представителем всех удачных остроумцев. Жаль, если никто из приближенных не собрал его остроумств, потому что они могли бы составить карманную скандальную историю нашего времени. Шутки его не раз навлекали на него гнев Николая и других членов императорской фамилии. Вот одна из таких.

В день бракосочетания нынешнего императора (будущего Александра II) в числе торжеств назначен был и парадный развод в Михайловском. По совершении обряда, когда все военные чины одевали верхнюю одежду, чтобы ехать в манеж: «Странное дело, — сказал кому-то князь Меншиков, — не успели обвенчаться и уже думают о разводе».

*Н.В.Кукольник. Анекдоты*

## ***Трещат крещенские морозы...***

«Елка была самым большим моим праздником, и я терпеливо ждал, пока папа, няня и живший у нас дядя Гога, закрыв двери в кабинет, наряжали елку. Многие елочные украшения мы с папой заранее готовили сами: золотили и серебрили грецкие орехи (тоненькое листовое золото постоянно липло к пальцам), резали из цветной бумаги корзиночки для конфет и клеили разноцветные бумажные цепи, которыми обматывалась елка. На ее ветках вешались золотые хлопушки с кружевными бумажными манжетами и с сюрпризом внутри. С двух концов ее тянули, она с треском лопалась, и в ней оказывалась

шляпа или колпак из цветной папиросной бумаги. Некоторые бонбоньерки и украшения сохранялись на следующий год, а одна золотая лошадка и серебряный козлик дожили до елки моих собственных детей. Румяные яблоки, мятные и вяземские пряники, подвешенные на нитках, а в бонбоньерках шоколадные пуговицы, обсыпанные розовыми и белыми сахарными крупинками, — до чего все это было вкусно именно на рождественской елке! Сама елка у нас всегда была до потолка и надолго наполняла квартиру хвойным запахом. Парафиновые разноцветные свечи на елке зажигались одна вслед за другой огоньком, бегущим по пороховой нитке, и как это было восхитительно!»

Так вспоминал рождественскую елку в родном доме замечательный русский художник Мстислав Валерианович Добужинский.

Обычай украшать елку пришел к нам из древности. Да и сама елка в доме — это не просто зеленое дерево среди зимы. Это напоминание о том, как наши предки зажигали костры и приносили символическую жертву ради будущего урожая — так называемое «рождественское полено». Потом о жертве забыли, но обычай собираться всей семьей и сжигать в очаге «рождественское полено», призывая в дом благодать и довольство, остался. В городах вместо полена в дом вносили зеленую елку, украшали ее. По самой древней традиции игрушки делали из специально приготовленного теста, конфет, яблок, а зажженные свечи напоминали о костре, который жгли в древности. Под елку клали подарки для каждого члена семьи, а во все время рождественского ужина должна была гореть свеча. И ужин, и подарки — все должно было обеспечить семье благополучный год и сытую жизнь.

С наступлением Рождества кончался пост и начиналось веселое время Святков — переодевания, маскарады, святочные гадания, шуточные стихи. В 1818 г. Пушкин написал сатирические куплеты на манер распространенных на Западе святочных стихотворений — «Noël», или «Сказки»:

*Ура! в Россию скачет  
Кочующий деспот.  
Спаситель громко плачет,  
А с ним и весь народ.  
Мария в хлопотах  
Спасителя стращает:  
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:  
Вот бука, бука — русский царь!»  
Царь входит и вещает:  
«Узнай, народ российский,  
Что знает целый мир:  
И прусский и австрийский  
Я сшил себе мундир.  
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;  
Меня газетчик прославлял;  
Я ел, и пил, и обещал —  
И делом не замучен.*

По традиции таких сатирических стихотворений, куплеты полны политических намеков на события прошедшего года — польский сейм, Священный союз, который возглавил Александр I, и несбывшиеся надежды на реформы в России. Кончалось стихотворение иронически: в ответ на обещания царя-батюшки младенец Спаситель радуется:

*А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;  
Пора уснуть уж наконец,  
Послушавши, как царь-отец  
Рассказывает сказки».*

Праздник Рождества совпадал по времени с зимним солнцестоянием: самая длинная ночь проходила и дни начинали увеличиваться. Люди говорили: солнце на лето, зима на мороз. Святки обязательно связывали с переодеваниями: вывороченные шубы, раскрашенные лица, мужчины, превратившиеся в женщин, и женщины — в мужчин. В языческие времена все такие действия имели символическое значение — обмануть злых духов, отвести от дома беду. К началу XIX в. символика забылась, а переодевания остались и превратились в веселый маскарад, как в доме Ростовых накануне 1812 г. в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»:

«Наряженные дворовые: медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснились в

залу и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святочные игры...

Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах — это был Николай. Турчанка был Петя. Гусар — Наташа и черкес — Соня с нарисованными пробочными усами и бровями... Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось».

Время от Рождества до Крещения насыщено событиями особенно значительными. Через неделю после Рождества наступал Новый год — по старому стилю. Когда-то в России Новый год начинался 1 сентября, а счет велся от сотворения мира. Но однажды Москва праздновала Новый год дважды. Как всегда, 1 сентября 7208 г. все порадовались хорошему урожаю и наступлению нового 7209 г., а 19 сентября на Ивановской площади в Кремле был оглашен именной указ Петра I «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 г. во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». В том же указе велено было следующий день после 31 декабря 7208 г. от сотворения мира считать 1 января 1700 года. Оглашен еще один указ — «О праздновании Нового года». Всем москвичам предписывалось отметить это событие особенно торжественно, пускать ракеты и стрелять из мушкетов, людям зажиточным украсить свои дома хвоей «из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевельных», а с наступлением ночи зажигать огни. Петр сам подал пример: в канун Нового года зажег первую ракету на Красной площади и дал сигнал открытию праздника. Гуляние продолжалось всю ночь: улицы осветились иллюминацией из горящих плашек, взлетали ракеты, звонили колокола, раздавались звуки труб и литавр, пушечная и оружейная пальба. Россия вступила в новое столетие вместе с Европой — начинался XVIII век.

Новый год праздновали через неделю после Рождества. Это уже не семейный праздник — его отмечали балами и маскарадами: и публичными, и домашними. О таком домашнем маскараде вспоминала М.П.Каменская, дочь художника графа Федора Петровича Толстого — этого прекрасного рисовальщика очень любил Пушкин и мечтал украсить свой сборник виньеткой его работы. В 1835 г. Ф.П.Толстой был президентом Академии художеств.

«Канун нового 1835 г. встретили у нас чем-то вроде маскарада. Мы и все дамы в этом году не наряжались, но зато приходило много наряженных из учеников Академии, и также приезжало много знакомых в прелестных костюмах. Очень умно и мило был наряжен «старым 1834 годом» скульптор Рамазанов. Он изобразил из себя древнего седого старца в рубашке, обвешанного с головы до ног старыми объявлениями и газетами за прошлый год, и печально с старенькой поломанной дубинкой в руке бродил по нашей зале в ожидании Нового года. Как только зашипели часы, чтобы начать бить полночь, в залу влетел «новый 1835 год», Нестор Васильевич Кукольник, одетый в новенький с иголки светло-серенький фрак, с большим букетом свежих роз в петлице фрака. Влетел и прямо кинулся весело обдирать со старого 1834 г. все отжившие свое время объявления и новости, а самого беззащитного старца схватил поперек сгорбленного туловища и без церемонии выкинул за дверь залы. Все это безжалостное торжество *нового* над *старым* совершилось по-театральному — в одно мгновение ока; часы били еще первые свои удары на новый год, когда о старом годе не было уже и помину. А новый со свежими розами, стоя один в торжественной позе посреди залы, проворно вынимал из своих новых карманов и кидал в публику новые, своей страпни, четверостишия с пожеланиями и пророчествами на новый 1835 год».

Сочинять пророчества на Новый год было принято. Накануне 1832 г. на маскараде в московском Благородном собрании появился звездочет — в мантии и в колпаке, усыпанных звездами, с большой книгой, украшенной таинственными каббалистическими знаками, из которой он вынимал и раздавал пророчества и эпиграммы. Под маской звездочета прятался семнадцатилетний Михаил Юрьевич Лермонтов.

Целая неделя проходила в веселых праздниках: балы, театральные представления. На Неве, а в Москве прямо на льду Москвы-реки у Каменного моста устраивали состязания в быстрой езде на тройках, на площадях устраивали ледяные катальные горки. Это совершенно особенные сооружения — их описал Павел Петрович Свиньин, литератор пушкинского времени: «Ледяные горы основываются на деревянных столбах, иногда до 8 сажен и более в высоту, с коих делается постепенная покатость на несколько сажен в длину, также утвержденная на столбах. Они выкладываются кубическими кусками льда, которые после поливаются водою и смерзшись представляют совершенно гладкую поверхность, подобную зеркалу. Простой народ катается с них на лубках, ледянках и на саниах, а кто не умеет управлять оными, тот садится в них с катальщиком, который наблюдает, чтобы сани держались в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствия, когда видишь себя перелетающим в одно мгновение ока 40 или 50 саженей — это кажется очарованием!.. Вечеру горы освещаются фонарями; отражение сей массы разноцветных огней в снегу, мешаясь с тенями, представляет необыкновенное зрелище не только для иностранца, но для самого русского: это совершенная фантазмагория!»

Ледяные горы — не только народная забава. Англичанка Марта Вильмот описывает свои впечатления от катания на горах в Москве в 1804 г.: «Несколько дней назад я впервые в жизни каталась с



ледяных гор... Это чрезвычайно забавно. Мы поднялись по меньшей мере футов на 80 по лестнице и здесь наверху увидели увитую зеленой хвоей прелестную беседку, от которой до самой земли тянулась ледяная дорожка, обсаженная деревьями. Гору полили водой, которая моментально замерзла, превратившись в совершенно гладкий лед. Ну, хорошо, давайте еще раз поднимемся в беседку и усядемся в кресло с каким-нибудь компаньоном. У кресла вместо ножек полозья. Человек на коньках, стоящий сзади, толкает высокие сани и, направляя их, катится вместе с вами. Вы стремительно несетесь вниз, и, пока гора не кончится, остановиться невозможно. Мне кажется, ощущение при этом такое, будто летишь по воздуху как птица. По тому, что я спускалась семь раз, вы можете понять, насколько мне понравилось катание с ледяных гор».

Наконец наступал Сочельник — вечер накануне Крещения Господня. В этот вечер девушки гадали о своей судьбе. Так и начинается баллада Жуковского «Светлана»:

*Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:  
За ворота баимачок,  
Сняв с ноги, бросали;  
Снег пололи; под окном  
Слушали; кормили  
Счетным курицу зерном;  
Ярый воск топили;  
В чашу с чистою водой  
Клали перстень золотой;  
Серьги изумрудны;  
Расстилали белый плат  
И над чашей пели в лад  
Песенки подблюдны.*

Татьяна Ларина, «русская душой», верила и снам и карточным гаданьям, а тем более гаданьям святочным. Пушкинский текст ироничен, но проникнут теплым сочувствием к своей героине:

*Морозна ночь, все небо ясно;  
Светил небесных дивный хор  
Течет так тихо, так согласно...  
Татьяна на широкий двор  
В открытом платьице выходит,  
На месяц зеркало наводит;  
Но в темном зеркале одна  
Дрожит печальная луна...  
Чу... снег хрустит... прохожий; дева  
К нему на цыпочках летит,  
И голосок ее звучит  
Нежней свирельного напева:  
Как ваше имя? Смотрит он  
И отвечает: Агафон.*

Следующий день — праздник Богоявления, или Крещения Господня, который отмечали в России особенно торжественно. Издревле на реке Яузе близ кремлевской стены во льду делалась четырехугольная прорубь: «Прорубь эта по окраинам своим обведена была чрезвычайно красивой деревянной постройкой, имевшей в каждом углу такую же колонну, которую поддерживал род карниза, над которым видны были четыре филенка, расписанные дугами; в каждом углу постройки имелось изображение одного из четырех евангелистов, а наверху два полусвода, посреди которых был водружен большой крест... Самую красивую часть этой постройки, на востоке реки, составляло изображение крещения Господа нашего во Иордани Иоанном Крестителем...» — вспоминал голландец де Бруин, посетивший Москву в самом начале XVIII в.

Голландца потрясла торжественность и нарядность праздничных строений. «Обозревши все это хорошенько, — пишет он, — я взошел на пригорок, находившийся около Кремля, между двумя воротами, именно поблизости ворот, называющихся Тайницкими или Тайными, через которые должен был проходить крестный ход. Он начал приближаться в 11 часов, вышел из церкви Соборной, т.е. из места собрания святых, главнейшей из московских церквей в Кремле. Весь этот ход состоял единственно из духовенства, за исключением только нескольких человек из мирян в светских платьях, которые шли впереди и несли хоругви на длинных древках. Духовенство все одето было в свое церковное облачение, которое было

великолепно. Священники низшего чина и монахи, в числе двухсот человек, шли впереди, предшествуемые множеством певчих и мальчиков, принадлежавших к хору, одетых в светское платье, и каждый держал в руке книгу... Когда сих последних прошло около двухсот, то появилось все то, что разные священники несли в ходе, а именно: большое древко с фонарем, представляющим свет слова Божия, в честь образов или для придания им блеска; далее два позолоченных херувима, называемые по-русски репидами, тоже на двух древках. Затем два креста, поясной образ Иисуса Христа, почти в натуральную величину; за ним чрезвычайно большая книга (Евангелие?), наконец, двадцать золотых и серебряных шапок, богато усыпанных драгоценными камнями и несомых каждая особым человеком... Шапки эти называют митрами, и они составляют головное покрытие высокого духовенства. Митрополит, занимавший место патриарха, шел тотчас за большой книгой, держа в руках большой золотой крест, усыпанный драгоценными камнями, и касаясь от времени до времени челом до этого креста, причем священники постоянно поддерживали его под руки с обеих сторон. Прибыв в таком порядке на берег реки и закончив обряд, продолжавшийся добрые полчаса, митрополит приблизился к воде и погрузил троекратно в оную крест, произнося, подобно тому, как делает это обыкновенно патриарх, следующие слова: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!» Затем все возвратились в Кремль».

После описанного ритуала вода в реке почиталась освященной — ее набирали и бережно относили домой, кропили углы в доме, поили этой водою больных. Когда столицею России стал Санкт-Петербург, самую торжественную Иордань стали строить на Неве. Древний обряд приобрел новые черты. Е.Ф.Комаровский вспоминал: «Января 6-го 1797 г., в день Богоявления Господня, был парад всем гвардейским полкам для водосвятия и окропления знамен и штандартов святою водою. Мороз был в 14 градусов при сильном ветре. Иордань была устроена против Сената; император и оба великих князя были при войсках верхами, а императрица, великая княгиня, великие княжны и весь двор шли пешком из Зимнего дворца на Иордань и обратно, и многие от сего занемогли».

Крещением оканчивался цикл рождественских праздников. Но весь зимний праздничный цикл завершала Масленица. «Самым веселым временем в Петербурге была Масленица и балаганы. Елка и Пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий всенародный праздник и веселье, — так вспоминал свое детство М.В.Добужинский. — Приближаясь к Марсову полю, где стояли балаганы, уже с Цепного моста и даже раньше, с Пантелеймоновской, я слышал, как в звонком морозном воздухе стоял над площадью веселый человеческий гул и целое море звуков — и гудки, и писк свистулек, и заунывная тягучка шарманки, и гармонь, и удар каких-то бубен, и отдельные выкрики — все это так тянуло к себе, и я изо всех сил торопил мою няню попасть туда поскорей. Балаганы уже виднелись за голыми деревьями Летнего сада — эти высокие желтые дощатые бараки тянулись в два ряда вдоль всего Марсова поля и на всех развевались трехцветные флаги, а за балаганами высились вертящиеся круглые качели и стояли ледяные горы, тоже с флажком наверху».

Праздники кончались веселым обрядом проводов зимы — сжигали чучело Масленицы. Наступала весна — сорок дней Великого поста, во время которого закрывались театры, не было никаких балов и свадеб, и только концерты серьезной музыки составляли все светские развлечения. «В Лазареву субботу первое гулянье вокруг Кремля, — читаем в «Московском телеграфе» за 1832 г., — и тогда в Кремле и городе прохода нет от продавцов *вербы*. Восковые яблоки, персики, груши, херувимы на палочках — утеха и радость детей — продаются сотнями тысяч, и целые леса вербы всяких цветов, всяких цен видны повсюду. Нет бедняка, который бы не купил себе тогда вербочки. В Вознесенском монастыре, в Кремле, толпа людей: тамошние монахини и послушницы целый год заготавливают запас верб, и славятся искусством в делании оной. Но вот Страстная неделя: вербы исчезли, и на всех углах рынков, в городе и за городом, являются тысячи, сотни тысяч яиц, крашенных, золоченых, серебряных, деревянных, мраморных, восковых; на Кузнецком мосту тысячи *сюрпризов*; самые конфеты принимают вид яиц. Последние дни Страстной означаются *пасхами* и *куличами*: сотни их, всякой цены, всякого вида, расставляются по рынкам и улицам, на длинных столах, и исчезают, как снег весною. Настала Пасха — все бежит под Новинское, и заботам мелкой промышленности нет конца: за три недели она строит и красит балаганы, потом пляшет в них, играет, кричит, шумит, продает орехи, пряники, кормит, поит, усыпает дорожки песком, качает, удивляет народ».

\* \* \*

Вообще в России простолюдины по преданиям помнят, что прежде *Новый год* начинался с 1-го марта, а потом с 1-го сентября; теперь еще старики говорят: «Семенов день — Новый год», и хотя по новому уложению стали считать Новый год с 1-го января, но простолюдины этого дня не празднуют.

Е.А.Авдеева. Записки о старом и новом русском быте

24 декабря (1855). Сегодня, в Сочельник, у императрицы была елка. Это происходило так же,

как и в предыдущие годы, когда государь был еще великим князем, — в малых покоях. Не было никого приглашенных; по обыкновению, присутствовали Александра Долгорукая и я; мы получили очень красивые подарки. Была особая елка для императрицы, елка для императора, елка для каждого из детей императора и елка для каждого из детей великого князя Константина. Словом, целый лес елок. Вся большая «золотая зала» была превращена в выставку игрушек и всевозможных прелестных вещей. Императрица получила бесконечное количество браслетов, старый Sahe, образа, платья и т.д. Император получил от императрицы несколько дюжин рубашек и платков, мундир, картины и рисунки. Впрочем, я должна сознаться, что вся эта выставка роскоши вызывает во мне скорее чувство пресыщения и печали, чем обратное.

*А.Ф.Тютчева. Дневник*

## ***Под качелями***

В отличие от зимних праздников, когда главное веселье сосредоточивалось возле высоких ледяных гор, весенние и летние гулянья называли «под качелями». «Вы можете смеяться, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в головах охоту к народным гульбищам», — писал Карамзин. В Петербурге качели строили на Исаакиевской и Адмиралтейской площадях, и они оставались до ранней осени. Качели были самые разные — круглые, маховые, подвесные; их украшали всякими изображениями и флагами. Около качелей сооружали разнообразные балаганы, воздвигали деревянные горы для катания. Выглядели они так же, как зимние ледяные катальные горки: желающие прокатиться по лесенке поднимались в павильон, поставленный на высокие столбы, и оттуда в маленьких колясочках по деревянному отполированному желобу, снабженному по бокам бортиками, эти любители острых ощущений отправлялись вниз, и, хотя горка спускалась отлого, к концу разбега коляска летела с бешеной скоростью...

Вокруг качелей разбивали шатры для продажи крепких напитков, разносчики на каждом шагу предлагали лакомства и закуски, на балконах балаганов дурачились паяцы, выделявая «штуки». Вот столпился народ около человека с небольшим ящиком. У ящика спереди два увеличительных стекла, а внутри с одного катка на другой перематывается длинная полоса с изображениями разных городов, знаменитых битв, портретов полководцев и так далее. Зрители «по копейке» глядят в стекла — одновременно смотрят двое, а за ними стоит толпа, ожидая свой черед. Раешник передвигает картинки и приговаривает: «Посмотрите, поглядите, вот большой город Париж, в него въедешь — угоришь, большая в нем колонна, куда поставили Наполеона; в двенадцатом году наши солдатики были в ходу, на Париж идти уладились, а французы взбудоражались. А эфта, я вам доложу-с, французский царь Наполеонт, тот самый, которого батюшка наш, Александр Благословенный, сослал на остров Еленцию за худую поведенцию...»

Не обходилось на ярмарочной площади и без театра — большого балагана, построенного из грубо сколоченных свежеструганых сосновых досок. Таким в пушкинское время был театр Лемана — его даже освещали настоящие люстры, а в отделке лож использовали бархат. Перед небольшой сценой находилась оркестровая яма на двенадцать — пятнадцать музыкантов, к ней примыкал ряд открытых лож, а за ложами шло два или три ряда кресел. Лож и кресла имели отдельный вход с первой линии и отдельный выход на вторую линию — здесь места были нумерованные. От остальной части зала ложи и кресла отделялись глухим барьером. За барьером шли «первые места» — семь-восемь рядов скамей, за ними, на более покатой части пола, — десять — двенадцать рядов скамей «вторых мест», дальше еще один прочный барьер, а за ним стоячие места — сколько втиснется.

Представления обычно начинались в полдень и заканчивались в девять часов вечера или позднее. Каждый спектакль продолжался тридцать — сорок минут и повторялся сеансами пять-шесть раз в день. Этот балаган пользовался особенно большой популярностью. «Северная пчела» в 1834 г. писала: «Леман покажет вам чертей, скелеты, ад, пожар, убийства, но он добр по природе, и потому если убьет кого-нибудь, то через минуту опять воскресит; если оторвет Пьеро голову, то, из жалости, опять скоро возвратит ее туловищу; если разрежет Арлекина на части, то немедленно склеит их... Из всех его убийств ни одно не огорчает, а все заставляют смеяться...»

*Эй! Господа!  
Сюда! Сюда!  
Для деловых людей и праздных  
Есть тьма у нас okazji разных:  
Есть дикий человек, безрукая мадам!  
Взойдите к нам!*

*Добро пожаловать, кто барин тароватый,  
Извольте видеть — вот  
Рогатый — нерогатый  
И всякий скот...*

Эти стихи Александра Сергеевича Грибоедова — подражание ярмарочным зазывалам, которых он с детства наблюдал с балкона родительского дома на Подновинском бульваре в Москве.

В Москве гулянья в большинстве были приурочены к церковным праздникам и строго соотнесены с местом: Лазарева суббота накануне Вербного воскресенья — на Красной площади, праздник по преимуществу детский, с широкой продажей детских игрушек и пушистой вербы; Семик, сорок шестой день после Пасхи, — гулянье в Марьиной роще близ Останкина; Духов день, или по-русски Пятидесятница, — в Лефортовском саду, больше всего там бывало купечество. Особое гулянье 28 июля, в день святых Прохора и Никанора, у Новодевичьего монастыря: от Девичьего монастыря экипажи катились по Пречистенке на Арбат, по Поварской к Подновинскому и до Кремля. Но особенно славилось в Москве гулянье первого мая — в Сокольниках.

«— Отвори окно, Никифор! — сказал я. — Кажется, дождик перестал.

— Нет еще, сударь, — моросит немножко, словно ситом сеет; да скоро пройдет — позади все прочистилось....

— И подлинно, какой приятный, благорастворенный воздух, — сказал я, садясь подле окна... — Что это на улице так пусто? — продолжал я, помолчав несколько времени. — ...вот с полчаса, как живой души не видно на улице.

— Да кому быть, сударь, — вся Москва в Сокольниках!

— В Сокольниках? Да разве сегодня первое мая?

— А как же, сударь!

— Скажи пожалуйста! Чуть было не пропустил любимого гулянья!..

Не побывать первого мая в Сокольниках, а особенно в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений жизни! От самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием Лосинового острова. До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы: в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большою ловкостью между каретных колес и, вероятно, ради удалства, гарцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною...

Кто выезжает на гуляние не верхом, а в каком-нибудь экипаже, тот должен отказаться на несколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не лицо, а вещь, он не гуляет, а его возят под арестом в карете или коляске. Он желал бы ехать, а стоит не двигаясь на одном месте, хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему ради соблюдения порядка говорят: «Не угодно ли вам еще прокатиться?» — то есть проехать версты четыре шагом. Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кой-какие вознаграждения за потерю своей свободы: для него гулянье то же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостью на толпу, которая повторяет его имя и ахает от удивления, глядя на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади не могли доставить мне этого «высокого» наслаждения, и, как бы я ни разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решил при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком».

Гулянье первого мая в Сокольниках, о котором пишет М.Н.Загоскин, — одно из самых популярных московских гуляний. Здесь бывали все — и знатные вельможи, и ремесленники, и даже крестьяне из окрестных деревень. Первое мая — праздник старинный. С древних времен этот день выбрали для праздника весны — к началу мая вся природа пышно расцветает. В древнем Риме молодые люди накануне этого дня с полночи уходили за город, в поля и леса, и, нарезав там ветвей, плели венки и букеты. На рассвете они возвращались в город и украшали цветами и зеленью двери домов. Весь день шли танцы вокруг священного дерева, посвященного богине цветов Флоре.

В Англии 1 мая начали праздновать при короле Генрихе VIII, после введения христианства. В этот день король и королева вместе со всем двором, включая кардинала, покидали дворец и отправлялись в лес за первыми весенними цветами. Тогда же вошло в обычай сажать *майское дерево* перед домом самой красивой девушки — ее избирали *майской королевой*. Увенчивала новую королеву та, которая была избрана в прошлом году. Она появлялась в венке из цветов, с крестом в руках. Ее радостно приветствовали подруги. Став в два ряда и держа в руках гирлянды из цветов, они пропускали королеву под этим

цветочным сводом на ее королевское место. Еще несколько минут — прозвучит гимн, и наступит конец царствования прошлогодней майской королевы. Звучит последняя прощальная речь королевы — она благодарит своих подданных и восхваляет их выдающиеся качества. Одна из ближайших подруг снимает с нее завядший королевский венок и заменяет его венком из незабудок. Букет из незабудок дают ей в руки. Девушка до конца жизни не забудет год своего царствования — то, что она носила высокий титул *майской королевы*. Новая королева при громких криках и всеобщем ликовании торжественно восходит на трон.

Обычай праздновать первое мая пришел в Россию при Петре Великом. В начале XVIII в. Сокольничья роща была частью Лосиногского погонного острова, где с древности русские государи любили потешаться звериной и соколиной охотой. Сохранилось предание, что здесь было первое становище немцев, вызванных в Россию Петром I. Когда в Москву привезены были пленные шведы, Петр I поселил их близ Сокольничьей рощи и раздал знающим ремесла иностранцам русских мальчиков — «в науку». Петр и сам имел дворец в Сокольничьей роще. Здесь государь угощал немецких и шведских мастеров — из этого праздника *Немецких столов* постепенно гулянье первого мая стало русским праздником. С тех пор прочно закрепилось за Сокольниками место праздника общенародного. Таким оно запомнилось людям пушкинского времени — в частности, известному театралу Степану Петровичу Жихареву.

Незадолго до 1 мая 1805 г. Жихарев приехал в Москву, чтобы стать студентом Московского университета, и взгляд вчерашнего провинциала отличается особой свежестью восприятия: «Сколько народу, сколько беззаботной, разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и прочее; сколько богатых турецких и китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами и простых хворостяных, чуть прикрытых сверху тряпками шалашей с единственными украшениями — дымящимся самоваром и простым пастушьим рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников Вакха, сколько щегольских модных карет и древних прапрадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и претощих кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких донкихотов на прежалчайших россинантах! Нет, признаюсь, я и не воображал видеть такое многочисленное, разнообразное и живописное гулянье, на какое, наконец, попал я вчера в Сокольники!

Погода стояла бесподобная: теплая, тихая, светлая — настоящий день для праздничной встречи весны. Утренний дождь сделал его еще приятнее, потому что освежил зелень и уложил пыль, столь обыкновенную на песчаной дороге гулянья и столь несносную не только для самих гуляющих, но и для тех, которые в качестве зрителей ограждали себя более или менее разными навесами и завесами...»

В Москве, где на покое доживали свою жизнь отставные тузы, можно было увидеть таких чудачков и оригиналов, каких в Петербурге не бывало. В Сокольниках, например, с трепетом ожидали появления графа Алексея Орлова, знаменитого военачальника екатерининского времени, брата фаворита императрицы всемогущего Григория Орлова. Жихарев так описывал его появление на гулянье:

«Между тем народ, наиболее тут толпившийся, нетерпеливо посматривал к стороне заставы и, казалось, чего-то нетерпеливо поджидал, как вдруг толпа зашевелилась и радостный крик: «Едет! Едет!» пронесся по окрестности; и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было бы не в гулянье народу. Впереди, на статном фаворитном коне своем, Свирипом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными камнями. Немного поодаль, на прекраснейших серых лошадях, ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали Чесменский, Новосильцев, князь Хилков, Полторацкий и множество других неизвестных мне особ. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводной лошади в нарядных пополах и богатой сбруе. Наконец, потянулись графские экипажи: кареты, коляски, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей. Этот поезд графа Орлова, богатого, знатного, тучного и могучего вельможи, с такою блестящею свитою, с таким количеством нарядных служителей, с таким множеством прекрасных лошадей и разнородных экипажей, представляет, точно, необыкновенно великолепное зрелище и не может не подействовать на толпу народную. Впрочем, сказывают, что граф Орлов и не одним своим богатством и великолепием снискал любовь и уважение москвичей, что он доступен, радушен и, как настоящий русский барин, пользуясь любимыми своими увеселениями — скачками, бегами, цыганскими песнями, плясками и прочим, обращает их также в потеху народа и как будто разделяет с ним преимущества, судьбою ему предоставленные».

В Петербурге публичное гулянье 1 мая было в Екатерингофе — существовала даже гравюра, изображающая Екатерингофское гулянье. Но Жихарева оно разочаровало: «Екатерингофское гулянье в сравнении с Сокольницким то же, что здешняя толкотня в Лазареву субботу по линии Гостиного двора в сравнении с гуляньем на Красной площади в Москве: узко, тесно, бедно и неуклюже. Нарядных экипажей и охотничьих упряжек нет, а о богатых барских палатках, которые бы служили сборным пунктом для лучшего общества, как это бывает в Сокольниках, — нет и помину. Вместо трех-четырех таборов удалых цыган, вместо нескольких отличных хоров русских песельников и роговой музыки, расставленных там и

сям по Сокольничьей роще на полянках, ближайших к дороге, по которой движутся ряды экипажей, в Екатерингофе красуются одни питейные выставки, около которых толпится народ, а по местам сереют запачканные парусиновые навесы и полупалатки — приют самоварников; при некоторых из этих походных трактиров поются песни и слышится по временам рожок или кларнет; но хриплые, давленные голоса и сиплый дребезжащий звук вполтину расколотого инструмента отнимают охоту наслаждаться такою музыкою».

В Петербурге главное гулянье летом — знаменитый Петергофский праздник в июле в день тезоименитства императрицы.

«Говорят, в день чествования императрицы из Петербурга отправляются шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бесчисленное количество лодок, и все эти полчища по прибытии в Петергоф встают вокруг него лагерем, — писал граф де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г. — В этот день и в этом месте я единственный раз видел в России толпу... И все эти люди — офицеры, солдаты, торговцы, крепостные, господа, знать, вместе бродят по рощам, откуда двести пятьдесят тысяч лампионов изгнали ночную тьму.

Мне назвали именно эту цифру, ее я вам и повторяю наугад, ибо по мне что двести тысяч, что два миллиона — все едино...

Еще говорят, что все лампионы в парке зажигают за тридцать пять минут тысяча восемьсот человек; та часть иллюминации, какая обращена к замку, загорается за пять минут. Она, среди прочего, охватывает и канал, расположенный напротив центрального балкона дворца и уходящий далеко в парк, по прямой, в направлении моря. Эта перспектива поистине завораживает: водная гладь обрамлена столькими фонарями и отражает столь яркий свет, что сама кажется огненной. Быть может, у Ариоста достало бы блеска и воображения, дабы описать вам на языке волшебства подобные чудеса; все это дивное море света используется здесь со вкусом и выдумкой; разным группам лампионов, удачно разбросанным среди листвы, придана оригинальная форма: тут есть цветы величиною с дерево, солнца, вазы, беседки из виноградных лоз — копии итальянских *pergole*, обелиски, колонны, узорные, на мавританский манер, стены, — словом, у вас перед глазами проходит целый фантастический мир, но взор ваш ни на чем не задерживается, ибо чудеса сменяют друг друга с невероятной быстротой. От огненных крепостных укреплений отвлекают вас драпировки, кружева из драгоценных камней; все сверкает, все горит, все — пламя и брильянт; боишься, как бы это великолепное зрелище не оставило по себе, словно пожар, кучу пепла.

Но самое поразительное, что видно из дворца, это все же большой канал, похожий на застылую лаву в охваченном заревом лесу.

На противоположном конце канала установлена громадная пирамида цветных огней (высотой, я полагаю, футов в семьдесят), которую венчает шифр императрицы, сияющий ослепительно белым светом и окруженный понизу красными, зелеными и синими лампами; он похож на брильянтовое перышко в обрамлении цветных драгоценных камней. Все это сделано с таким размахом, что вы перестаете верить собственным глазам. Вы скажете, что подобные эффекты — вещь невероятная для праздника, который справляется каждый год; то, что я вижу перед собою, слишком огромно и потому нереально: это греза влюбленного великана, пересказанная безумным поэтом».

Петергофский праздник завершал цикл столичных летних гуляний.

\* \* \*

### *Масленичные балаганы*

...И когда на сцене дома и залы превращаются в дома разврата и тюрьмы, Леман объявляет, что он будет превращать дома в розовые беседки, поведет вас в поля и леса, из снопов покажет вам амуров, из блинника сделает Китайского великана, заставит путешествовать Арлекина из колесницы в бутылку, из бутылки в барабан, из барабана в солонку, из солонки в китайскую мельницу, из мельницы в ланд-карту... Да это целая Одиссея!

*Северная пчела. 1834*

Но замечаете ли вы, что волны народа мало-помалу утихают и вам невозможно ни отступить, ни идти вперед? Толпа ждет своего любимца, русского паяца, отставного егеря, нашего народного Пасквино. Вот он выходит на балкон, в шутовском наряде, с шутовскими ужимками. Хохот не прерывается ни на минуту и возрастает при каждой из его присказок. Взгляните на его ужимки; может ли быть что смешнее?

*Северная пчела. 1839*

Еще одна, доселе почти не замеченная, собственно русская забава, — это *райки*. Их было ныне множество. Остановитесь и послушайте, какую рифмованною прозой, чрезвычайно вольной (в

отношении к рифмам), русская борода объясняет незатейливые лубочные виды своей подвижной косморамы:

— Посмотрите, поглядите, вот большой город *Париж*, в него въедешь — *угоришь*, большая в нем *колонна*, куда поставили *Наполеона*; в двенадцатом *году* наши солдатики были *в ходу*, на Париж идти *уладились*, а французы *взбударажались*. Трр! Другая штучка! Поглядите, посмотрите, вот сидит турецкий султан *Селим*, и возлюбленный сын его *с ним*, оба в трубки *курят* и промеж собой *говорят*.

И много других подобных штучек, которые, право, забавнее большей части всех этих балаганов.

*Репертуар и пантеон. 1843*

## ***Пирь и застолья***

Великолепие званых обедов не поддается описанию. Большие праздники собирали за столом сотни гостей, в обычные дни — тридцать пять — сорок человек. В поэме «Пирь» Баратынский писал:

*Как не любить родной Москвы!..  
Там прямо веселы беседы;  
Вполне уважен хлебосол;  
Вполне торжественны обеды;  
Вполне богат и лаком стол.*

Блюда носили «по чинам», а стало быть, и место каждый занимал соответственно: ближе к хозяину — именитые, знатные, на дальнем конце стола — те, кто чинов больших не имел. До них лакеи нередко доносили уже пустые тарелки. Рассказывали такой анекдот: князь Потемкин однажды позвал к себе на обед мелкого чиновника и потом милостиво спросил: «Ну, как, братец, доволен?» — «Премного благодарствуйте, ваше сиятельство, все видел-с», — смиренно отвечал гость.

Рассказывали и другой анекдот — о неизвестном офицере, который целый месяц обедал у фельдмаршала графа Разумовского, не будучи ему даже представлен. Наконец офицер исчез — вместе с полком выступил в поход. Разумовский заметил, что его место опустело, возмущился невоспитанностью молодого человека, даже не поблагодарившего его за гостеприимство, и велел вернуть офицера из похода. Слово фельдмаршала закон. Офицер явился пред грозные очи Разумовского. Граф расспрашивал, что была за причина тому, что он ходил к нему всякий день обедать? Он рассказывает ему, что, с одной стороны, принудили его к тому великая бедность и недостаток во всем, а с другой — известная и славимая его ко всем бедным милость и дозволение всякому у него обедать; и как он не мог сам себя порядочно питать, то и решился воспользоваться его гостеприимством во все время пребывания его в Москве. Все сие удалось ему так хорошо и трогательно пересказать, что граф стал далее его расспрашивать: «Ну, что ж ты теперь станешь есть?» — «Не что иное, кроме солдатских сухарей!» — «Что ж, на чем же ты едешь? Повозка, что ли, у тебя есть?» — «Какой быть повозке?! на тех же подводах присаживаюсь». — «Ну, постелишка, что ли, у тебя есть?» — «Есть, но и постелишка походная с подушонками; и ее тут же где-нибудь привязывают». — «Вот то-то, — сказал наконец тронувшийся граф, — как бы ты не был таков и не уехал, не сказавши ничего, а поблагодарил меня за мою хлеб-соль, — так бы дал я тебе хлеб-соль и на дорогу!» — «Что говорить! — отвечал офицер. — Виноват, ваше сиятельство! И без оправдания виноват! Простите мне сие великодушно!» — «Ну, братец, отобедай же с нами и сегодня». Офицер остается и садится опять на свое прежнее место, а после обеда подходит к графу и откланивается и благодарит. Но граф говорит ему: «Ну, не ездь уже сегодня, а приходи ко мне и отобедай еще завтра». — «Хорошо», — сказал офицер и приходит. Отобедавши, при прощании сказал ему граф: «Ну, прости! но сем-ка я тебя провожу! пойдём-ка со мной на заднее крыльцо». И тут находят они прекрасную коляску, запряженную в четыре лошади, с кучером и лакеем, и снабженную покойной постелью, сундуком, наполненным всяким бельем и платьем, и укладкой, наполненной всякой провизией и всеми нужными для походного офицера потребностями. «Ну вот, друг мой, — сказал граф, — поезжай-ка в этой повозке: будет поспокойнее, чем на возу ехать. Она и с лошадьми, и с людьми, и со всем, что в ней есть, — твоя; а сверх того, на проезд тебе, вот и денег 500 рублей».

Не правда ли, какие сказочные интонации, просто исполнение мечты! А в жизни бывало иначе. Даже богатые барыни на званых обедах не стеснялись собирать в ридикюль конфеты, а понравившиеся им блюда прямо отсылали в свою карету. Это выглядело как причуда богача и не осуждалось. Правда, случалось, что пришедших с ответным визитом хозяев потчевали их же собственными конфетами. Объяснялось все просто: в начале XIX в. конфетных фабрик еще не было, к каждому балу кондитер готовил конфеты специально и умели это делать хорошо только самые лучшие кондитеры, рецепты свои они

хранили в тайне. К тому же, вспоминала москвичка Е.П.Янькова, «сахар в то время был привозной, очень дорогой, так что пуд рафинада обыкновенно стоил от 35 до 40 рублей ассигнациями, а годами доходил и до 60 рублей. После двенадцатого года пуд сахару стоил 100 рублей ассигнациями, и во многих домах подавали самый последний сорт, которого потом и в продаже уже не было, называвшийся «лумп», неочищенный и совершенно желтый, соломенного цвета. Большею частью везде подавали «мелюс» и полурафинад, а у Апраксиных, у которых был большой прием гостей и сахар выходил, может статься, десятками пудов в год, подавали долгое время «лумп». Эта дороговизна сахара подала мысль завести заводы в России, и первые заводчики получили большие барыши».

Каждый кулинар славился своими особенными выдумками. В Петербурге гурманы обожали произведения повара из Английского клуба Федосеича. Приятели дразнили Крылова, большого любителя хорошо поесть, когда в конце обильного пиршества подавали произведение этого замечательного кулинара. Крылов горевал искренне и немного театрально:

— Друг мой милый и давнишний, Александр Михайлович, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? Все места заняты!

— Найдется еще у вас местечко, — утешали его.

— Место-то найдется, — отвечал Крылов, самодовольно поглядывая на свои необъятные размеры, — но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался.

На приятельских обедах кормили до отвала, а вот царским столом, куда его тоже приглашали, Крылов доволен был меньше. Рассказ Ивана Андреевича о таком обеде — целая юмористическая сценка:

«Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде думал — закромят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин — и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка — одна краса. Сели — суп подают: на доньшке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю — нет, у всех такое же мелководье. А пирожки? — не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мной обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая — форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, — куда меньше порционного! Да что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбою пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки — всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо-то уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только попробовать дадут?

А сладкое! Стыдно сказать... Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, — надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, — смотришь, опять рюмка полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает.

Вернулся я домой голодный-преголодный... Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено... Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, — ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе и не обедал...»

В поместье люди жили проще. Небогатый барин обычно ел почти то же, что его зажиточные крестьяне. Утром — чай из трав, но, правда, с густыми сливками, днем — щи да каша. Варили, конечно, всевозможные варенья, пекли пирожки — Гоголь описывает, как его потчевали старосветские помещики, или обед у Собакевича, или пирог, который заказывал своему повару Петух (из второй части поэмы «Мертвые души»). А Сергей Тимофеевич Аксаков в автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука» вспоминал, как матушка готовилась к приему гостей:

«Миндальное пирожное всегда приготавливала она сама, и смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготавливалось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды; все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к гостям... Я торжествовал и не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама».

Аксаков как будто вводит нас в атмосферу старинного усадебного дома, где домашний быт освящался особыми обрядами, теплотой семейного очага, столь дорогого сердцу русского человека.



Иностранцев это утомляло. «Я должна пожаловаться тебе на одно неудобство, которое до смерти раздражает меня и с которым ничто на свете не сможет меня примирить, — это бессмысленная трата времени, — пишет 24 сентября 1805 г. Марта Вильмот, гостившая у княгини Дашковой. — В 9 часов утра наши *filles de chambre* (горничные — *фр.*) подают нам кофе, затем часа два бездельничаем — разговариваем, музицируем или гуляем. Хотелось бы наверстать упущенное время, занимаясь часов до пяти, но в час или в полвторого раздается звон обеденного колокола — похоронный звон по всем занятиям и досугу, и мы снова собираемся, чтобы приступить к торжественной долгой трапезе, во время которой от вас безо всякого снисхождения ждут, что вы будете есть каждое предлагаемое блюдо... Обед разбивает весь день, и после него трудно вернуться к утренним занятиям. В шесть часов семья собирается к чаю, а в полдесятого или в десять — на плотный ужин с горячим. И с этим ничего нельзя поделать!» Это совершенно отличный от русского взгляд!

Сейчас много говорят о значении усадьбы в русской культуре — здесь сохранялись традиции, нарушенные в столицах, в Москве и в Петербурге. Даже расположение дома в городе стало новомодным — своя половина у жены, своя — у мужа, каждый принимает своих гостей. Дети сданы на руки няням и воспитателям, с родителями почти не видятся. В разное время утром пьют чай и кофе, между полуднем и двумя часами завтракают — холодные закуски с рюмкою водки или вина. Обедали дома редко, и только там, где еще придерживались старинных обычаев, — в три, в четыре или даже в пять часов. Готовили разные блюда, мешая свои национальные — ботвинью, кулебяку, гречневую кашу с французскими соусами, пудингами, трюфелями, а дорогие душистые вина — с русским квасом. Домашние обеды в Петербурге и в Москве часто нарушались, потому что молодежь рвалась то в клуб, то в ресторацию, как тогда говорили. Званные обеды отличались большой пышностью, так что вводили хозяев в долги. Итальянский дипломат Жозеф де Местр, по своему статусу обязанный принимать приглашения и сам давать званные обеды, приходил в ужас: «18 (30) августа 1803 г. Расходы не дают мне покою. Я ничего не понимаю в экономии. Самая обыкновенная жизнь обходится здесь чрезвычайно дорого. Один стол разорителен; все вина, все фрукты чужих земель повсюду на столах. Я ел дыню в 6 рублей, французский пирог в 30, английские устрицы по 12 рублей за сотню. Однажды, за небольшим ужином, подали бутылку шампанского. «Сколько она стоит вам, княгиня?» — спросил кто-то. «Около десяти франков». Только что я хотел заметить, что это слишком дорого, как сидевшая возле меня дама воскликнула: «Какая дешевизна!» Я убедился, что меня сочли бы настоящим Савояром, и промолчал. Впрочем, конец концов тот, что при несметных богатствах все разорены, никто не платит долгов, и взыскания нет никакого».

Эта новая манера жизни совсем не нравилась старикам, и бабушка Благово ворчала, сравнивая нынешнюю жизнь с прежними патриархальными временами: «Теперь все переменялось, и не нахожу, чтобы к лучшему. Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало: что тогда был вечер, теперь, по-вашему, еще утро! Смеркается, уже и темно, а у вас это все еще утро. Эти все перемены произошли на моей памяти. День у нас начинался в семь и в восемь часов; обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званный обед, в два часа; в пять часов пили чай. Когда матушка была еще жива, стало быть, до 1783 г., приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячею водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было; во всем доме и было только две чайные ложки: одну матушка носила при себе в своей готовальне, а другую подавали для батюшки. Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в девять часов, и к ужину подавали все свежее кушанье, а не то чтоб остатки от обеда стали разогревать; и как теперь бывают званные обеды, так бывали в то время званные ужины в десять часов».

Это удивительно: в богатом доме в конце XVIII в. — только две чайные ложки! Видно, не все в старом быте нам еще понятно — в чем-то они жили не так богато, как представляется. И понятие роскоши совсем другое — например, настоящее чаепитие уже роскошь! Но ведь чай — не травяной, а настоящий, во времена Пушкина еще не умели выращивать на Кавказе, привозили из Китая или Индии, поэтому это был очень дорогой напиток. О роли чаепития в русском быту писал в своей повести «Шлиссельбургская крепость» Николай Александрович Бестужев:

«Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий самовар согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камин, около которых во Франции и Англии собираются кружки». Видно, недаром в России любят пригласить «на чашку чаю».

\* \* \*

*Обед Екатерины II.* Стол был круглый; тогда кушанья все ставились на стол, блюда все были покрыты крышками. Приглашенные все собирались в бриллиантовую (комнату) и ожидали выхода

государыни. Пред выходом камердинер З.К.Зотов, отворив дверь, кричал: «Крышки!» Сейчас крышки с блюд снимались, и входила государыня, за нею иногда калмычѣк и одна или две английские собачки. По правую руку государыни всегда сидела А.С.Протасова, возле нее князь Зубов; князь Барятинский против государыни, Пассек возле нее. На стол ставились четыре золотые чаши, а иногда пред государынею ставили горшок русских щей, обернутый салфеткою и покрытый золотой крышкой, и она сама разливала. Государыня кушала на золотом приборе, прочие — на серебре.

Государыня кушала очень тихо, обмакивала кусочки хлеба в соусе и кормила собачек. Разговор за столом был непринужденный, веселый, по большей части по-русски. Говорили, шутили, смеялись без всякого принуждения... За столом не было никаких разговоров политических или даже о делах.

*Н.П.Брусилов. Воспоминания*

Изгоняя роскошь и желая приучить подданных своих к умеренности, император Павел назначил число кушаньев по сословиям, а у служащих — по чинам. Майору определено было иметь за столом три кушанья. Яков Петрович Кульнев, впоследствии генерал и славный партизан, служил тогда майором в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидя его где-то, спросил:

— Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев?

— Три, Ваше Императорское Величество.

— А позвольте узнать, господин майор, какие?

— Курица плашмя, курица ребром и курица боком, — отвечал Кульнев.

Император расхохотался.

*Литературные анекдоты*

В Петербурге едят хорошо и много. Поутру, смотря по времени, кто когда встает, пьют чай, кофе, к которому подают что-нибудь хлебное; между полудня и двух часов завтракают холодными закусками с рюмкою водки или вина. Обедают в весьма немногих домах, несколько придерживающихся старины, в три часа, наиболее в четыре, в пять и несколько позже... Обыкновенный обед состоит из пяти-шести блюд... Русская кухня сохранила национальные и усвоила славные блюда всех земель. Не говоря уж о чрезвычайных гастрономических собраниях, вы за самым обыкновенным обедом всегда можете заметить ее космополитизм... Русская сырая ботвинья, кулебяка, гречневая каша, французские соусы, страсбургские пироги, пудинг, капуста, трюфели, пилав, ростбиф, кисель, мороженое нередко встречаются за нашими обедами, где квас стоит рядом с дорогими и душистыми винами — бургундскими, рейнскими или шампанскими... Перед столом везде подают рюмку водки или ликеру, а для закуски икру, соленую и копченую рыбу, сыры всех возможных стран и т.п. Десерт во все продолжение обеда стоит на столе: он состоит из сухих конфетов, варений и фруктов, которые произрастают в здешних оранжереях, во множестве присылаются из Москвы и окружностей, или вместе со всевозможными лакомствами привозятся из всех стран на кораблях.

*А.П.Башуцкий. Панорама Санкт-Петербурга*

## *Дорожные жалобы*

Известно, как горько жаловался Пушкин на непроезжие русские дороги, отсутствие лошадей на станциях и грязь станционных гостиниц в стихотворении «Дорожные жалобы»:

*Долго ль мне гулять по свету*

*То в коляске, то верхом,*

*То в кибитке, то в карете,*

*То в телеге, то пешком?*

*Не в наследственной берлоге,*

*Не средь отческих могил,*

*На большой мне, зная, дороге*

*Умереть Господь судил...*

*Иль чума меня подцепит,*

*Иль мороз окостенит,*

*Иль мне в лоб шлабгаум влепит*

### *Непроворный инвалид.*

А маркиз де Кюстин писал: «В России нет далеких расстояний — так говорят русские, а вслед за ними повторяют все путешественники-иностранцы. Я принял это утверждение на веру, но на собственном опыте убедился в обратном. В России — сплошь далекие расстояния: на этих голых равнинах, простирающихся покуда хватает глаз, нет ничего, кроме расстояний...»

Хорошо зимой. Снег сравнивает ухабы, подмораживает топи болот, мороз лучший мастер по починке почтового тракта. Летом путешественника подстерегает куча опасностей. В книге «Старый Петербург» Пыляев приводит такой анекдот: «Рассказывают, что Екатерина II, желая удивить скоростью езды в России императора Иосифа, приказала найти ямщика, который бы взялся на перекладных доставить императора в Москву в 36 часов. Такой ямщик нашелся и был приведен пред государыней. «Берусь, матушка, — сказал он, — доставить немецкого короля в 36 часов; но не отвечаю, будет ли цела в нем душа».

У маркиза де Кюстина: «Путешественника подстерегает в России опасность, которую вряд ли кто предвидит: опасность сломать голову о верх экипажа. Риск этот очень велик, и опасность вполне реальна: коляску так подбрасывает на ухабах, на бревнах мостов и пнях, в изобилии торчащих на дороге, что пассажиру то и дело грозит печальная участь либо вылететь из экипажа, если верх опущен, либо, если он поднят, проломить себе череп. Поэтому в России необходимо пользоваться коляской, верх которой как можно дальше отстоит от сиденья. Недавно от толчков повозки у меня разбилась бутылка с сельтерской водой, отлично упакованная в сене, а вы знаете, как прочны эти сосуды». Ему вторит англичанка Вильмот: «12 марта 1808 г. Новгород. ...Я помимо воли стала обладательницей старого возка, то есть повозки на полозьях. Моя кибитка развалилась на части, и мы решили, что благоразумнее отдать ее и еще 35 рублей в придачу за этот смешной возок, напоминающий клетку для перевозки птицы на рынок. Когда мы с Ариной впервые в него залезли, то выглядели, должно быть, точь-в-точь как несчастные куры, предназначенные в суп. Ехать в нем, однако, очень удобно».

Коляски в России были самые разнообразные: от больших семейных карет и дрожек, которые маркиз де Кюстин называет «летние сани», до легких одноколок, в которых, верхом на жестком седле, мчались по России и за границу курьеры. Недолго выдерживал человек такую дикую езду, вот тебе и престижная дипломатическая служба! Экипажи часто ломались. Сломанную коляску чинили — иногда несколько дней нетерпеливый путешественник проводил в домике станционного смотрителя или оказывался невольным гостем какого-нибудь степного помещика. Сколько романтических историй завязывалось таким образом, сколько сюжетов для литератора! И «Станционный смотритель» и поэма-шутка «Граф Нулин» Пушкина основаны на дорожных приключениях. А Гоголь в начале поэмы «Мертвые души» дал прямо-таки портрет чичиковского экипажа:

«В ворота гостиницы губернского города N въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в каких ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки».

Гоголь недаром говорит о соответствии социального положения пассажира его экипажу. Екатерина II издала специальный указ, в котором строго определялось, кто в каком экипаже может ездить и сколько лошадей запрягать. Чиновникам 1-го и 2-го классов (ранг генералов) предписывалось ездить цугом с двумя вершинниками, то есть форейторами, которые скакали верхом на пристяжных и, разгоняя народ, чтоб никого не раздавить, кричали: «Пади! Пади!» Те, кто имел чин 3-го, 4-го и 5-го классов, ездили цугом, но без форейторов. Порядок езды нарушать не позволялось. Иногда это приводило к нелепостям. Л.-Ф.Сегюр, удивляясь количеству слуг в домах, писал и о манере ездить: «Не менее того удивил меня другой обычай, введенный тщеславием: лица чином выше полковника должны были ездить в карете в четыре или шесть лошадей, смотря по чину, с длиннородым кучером и двумя форейторами. Когда я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в соседнем доме, то мой фореитор уже был под ее воротами, а моя карета еще на моем дворе!»

Даже во время военных действий офицеры из высшего состава, то есть самые именитые дворяне, не ограничивали свои потребности. «В Шведскую войну, при Екатерине II, забыли ограничить обозы, и гвардейские офицеры, между прочими военными принадлежностями, повезли с собою попугаев и канареек в клетках, — сообщал в 1807 г. дипломат Жозеф де Местр из Петербурга. — Ныне нет ни попугаев, ни канареек; но так как люди постоянно совершенствуются, то граф Станислав Потоцкий повез с собою пятьдесят индеек, пятьдесят пулярок, восемьдесят килограммов бульона в плиточках, огромную бутылку бордо и так далее. Говорят, что индейки были живы, и что оне очень отличались, крича столько громко, как и солдаты, вероятно, «здравия желаем!».

Отличаясь пышностью выезда, богачи старались поразить воображение и роскошью экипажа. В середине XVIII в., при Елизавете Петровне, большой любительнице щегольских выездов, известный богач С.Н.Нарышкин к свадьбе Петра III заказал зеркальную карету — в Петербурге о ней много тогда говорили. «Не менее была известна в старину также карета Кирилла Григорьевича Разумовского, сделанная в

Лондоне с таким механизмом, что в нее вкатывалась постель; до отправки этой кареты в Россию она была выставлена в Лондоне, где ее показывали за деньги; мастер, как в то время уверяли, выручил таким образом до 5000 рублей. На ввоз иностранных карет было в царствование Павла I наложено запрещение, и надо было иметь особое дозволение от государя на провоз кареты. Император разрешил его и, когда карета прибыла в Петербург, потребовал, чтоб ее привезли для осмотра на Каменный остров, а потом к государыне в Павловск. С доставкой в Батурин она обошлась в 18 000 тогдашних рублей. Разумовский захотел ее попробовать, но она оказалась слишком грузною, восемь лошадей после четырехверстной езды едва могли привезти ее домой».

Так ездили только самые именитые и самые богатые. Чиновники 6-го, 7-го и 8-го классов должны были запрягать четверню, а обер-офицеры уже обходились парой лошадей. Теперь становится понятно, почему героиня рассказа С.П.Победоносцева «Милочка», претендующая на роль аристократки, ни за что не соглашалась ездить иначе как четверней: «Парой она боялась ездить из опасения, чтоб ее не приняли за купчиху второй гильдии». Выезд определял положение человека в обществе, чин обязывал. «Если кто-либо не дослуживается до чина, то, будь он хоть миллионер, он не вправе будет запрячь в свою карету четверку лошадей», — удивляется Марта Вильмот.

Впрочем, со временем различия все больше стирались, что немало огорчало бабушку Благово: «Говорят про старых людей, что мы хвалим только свое время; чего тут хвалить, когда все пошло вверх дном; домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнью скудна. Что по-нашему за срам и стыд считали — теперь нипочем. Ну, слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах или жили в меблированных помещениях, Бог знает с кем стена об стену?

А экипажи какие? Что у купца, то и у князя, и у дворянина: ни герба, ни коронки. Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставить напоказ: а то куда же их прикажете девать, в сундуках, что ли, держать или на чердаке с хламом? На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать — не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба: свой да мужнин, и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь Пустопятова, да статочное ли это дело? Или печатай я письмо печатью с незабудкой или, того хуже, облаткой, а не гербовой печатью? Как бы не так!

А в каретах на чем ездят? Я уж не говорю, что не четверней: теперь и двух десятков в Москве не найдешь, кто бы четверней ездил, а то просто на ямских лошадях. В мое время за великий стыд почитали на ямских лошадях куда-нибудь ехать, опричь рядов или вечером на бал, когда своих пожалеешь, а теперь это нипочем: без зазрения совести в простых наемных каретах таскаются по городу среди белого дня или, того еще хуже, на извозчиках рыскают».

Во времена Пушкина существовали самые разные извозчичьи повозки. «В извозчичьих одноколках надо было править самому, извозчик стоял назади; дрожки имели ступеньки, спинки и подушки; хорошие извозчичьи экипажи были покрыты плисом, убраны «франьями» и раскрашены пестрыми красками, — писал знаток старого русского быта историк М.И.Пыляев. — Извозчики носили летом шляпы с желтыми лентами, а зимою желтые шапки, одеты были они в кафтаны с желтыми кушаками; на спине между плечами висела из белой жести дощечка, на которой масляными красками была написана часть города, где извозчик стоял, и номер; за такой билет извозчик платил ежегодно в управу благочиния два рубля. Цена за проезд была самая ничтожная: например, от Невской лавры до Адмиралтейства — две гривны (шесть копеек). На извозчиках в старое время не находили низким ездить даже вельможи, и нередко извозчик тащил на своей кляче и первого сановника, и простого мужика...

При императоре Павле вышел приказ выслать всех извозчиков из города; приказ этот последовал по донесению императору, что один извозчик задавил прохожего. Видя крайнюю надобность в них, их скоро опять воротили, но запретили им дрожки, а велели иметь коляски. Извозчики, впрочем, нашлись: сняли подушку с дрожек, навязали на них сверху сани, — вот и вышла коляска».

«В то время поездка за двадцать, тридцать верст по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой представляла немало трудностей, и люди богатые в такой путь выезжали целым караваном: с поварами, кухней, с приспешниками и т.д.». Тащились «на долгих», в громадных каретах: «Чтобы влезть в них, откидывались три ступеньки, сложенные одна в другую. Впрочем, будь эти экипажи запряжены даже почтовыми, а не своими лошадьми, то и тогда навряд ли езда наша могла быть быстрее, так как добрая половина всего пути до Москвы была устлана кругляками, от которых кареты подпрыгивали и, конечно, часто ломались» (М.Д.Бутурлин). Ехали со своими припасами на зимовку в Москве, то есть целым обозом, давая своим лошадям отдохнуть на каждой станции. Так Ларины везли Татьяну «в Москву, на ярмарку невест»; так ехала бабушка Благово, подробно рассказавшая внуку, что такое «ехать на долгих» в начале XIX в.:

«В сентябре месяце мы поехали в Москву всею семьей. За неделю до нашего отъезда мы отправили обоз: три фуры, три кибитки на волах парами и телегу в одну лошадь, обозных три человека и Тараса-повара с парой лошадей, а сами отправились мы тринадцатого числа в восьмиместной линейке в шесть лошадей, в карете в шесть лошадей, коляске в четыре лошади и кибитке в три лошади, всего на

девятнадцати лошадях. В Липецке мы пристали у Бурцевых в их доме, где нас поджидала Екатерина Дмитриевна и ее дочь, Александра Петровна Александрова. По пути заезжали к моему деверю в село Петрово и там прогостили пять суток, и наконец приехали двадцать восьмого в Москву, после двухлетнего отсутствия».

М.Д.Бутурлин рассказывает, что каждое лето семья проводила в имении Белкине, около 100 верст от Москвы. Поездки в деревню и обратно каждую весну и осень были по тем временам нелегкими, и отец Бутурлина нашел оригинальное средство облегчить эти путешествия — построил своеобразный путевой дворец: «На полупути куплен был участок земли, не более одной десятины, на котором построен был довольно поместительный дом для нашего ночлега, так как в то время и бары и средней руки помещики не иначе путешествовали, как на своих лошадях. Место это называлось Зверево, тут были постельное и столовое белье, особое серебро, кухонная и прочая посуда и все нужные по хозяйству вещи».

Дороги были небезопасны — нередко разбойники нападали на проезжающих, грабили, а то и убивали пассажиров. Поэтому принимали специальные меры предосторожности. Семья печально известного журналиста поляка Фаддея Булгарина путешествовала по Польше во времена восстания Костюшко. «Маршрут наш назначен был предварительно, и бричка, в четыре лошади с кухонными снарядами, с поваром и поваренками, шла впереди, шестью часами перед главным поездом. На назначенных местах повар готовил обед и ужин. Завтрак и полдник везли с собою. Матушка с сестрами и со мною ехала в четвероместной карете на *пассах* (т.е. на ремнях, потому что рессоры тогда мало употреблялись), запряженной цугом в шесть сильных лошадей, без фореитора. Кучер правил с лошади, а не с козел. Перед каретою и за нею ехали верхом четыре стрелца с ружьями наперевес, с кортиками и с охотничьими рогами; на запятках стояли два огромных лакея, одетые по-венгерски, с высокими волчьими шапками. Эти лакеи назывались *гайдуками*... Подъезжая к усадьбе или местечку, кучера хлопали бичами, ездовые трубили в рога и стреляли на воздух из ружей и пистолетов, чтоб дать знать, что едет *пан*».

Иностранцы в манере русских путешествовать видели восточную экзотику. Марта Вильмот писала к матери в Англию: «5 июля 1804 г... Вам интересно узнать состав нашего каравана. Он не менялся со времени выезда из Троицкого. Сразу после молебна тронулась повозка, на которой ехали дворецкий с двумя поварами и были нагружены кухонная утварь и стол. Кухню отправили на час раньше, чтобы повара успели найти место, развести огонь и приготовить обед. За первой повозкой ехали две телеги побольше, на них везут разного рода поклажу, среди прочего — сундук, который, раскрываясь, превращается в кровать с постелью, подушками и всеми удобствами для ночлега княгини... Далее следуют три кареты. В английской едут княгиня Дашкова, Анна Петровна, Фидель, Фемида и ваша покорная слуга, в *linee* (она похожа на длинный четырехместный двухколесный экипаж, но здесь на четырех колесах, шестиместный, имеет подобие крыши и занавески от дождя) разместились три девушки, в другой *линее* — еще две. Как устроились мужчины, одному Богу известно. Короче говоря, три дамы, пять горничных, четырнадцать *choloviks* (слуг-мужчин), двадцать семь лошадей и три собаки...»

Когда своих лошадей жалели на длинную дорогу, ехали почтовыми. Для этого брали специальную бумагу — подорожную, — где указан был маршрут следования путешественника и цель его: «по своей» или «по казенной надобности». Владелец подорожной менял лошадей на каждой станции, и горе путешественнику, если едет «по своей надобности», да еще с маленьким чином! Проезжий генерал или царский курьер забирал всех свежих лошадей, и путешественник вынужден был дожидаться счастливого случая иногда по несколько дней.

Люди небогатые, отправляясь в путешествие, вынуждены были нанимать коляску, а стремясь облегчить себе дорожные расходы, публиковали в газете свой маршрут и приглашали попутчика «на паях». Это уже предвестие публичного экипажа, омнибуса, давно уже изобретенного англичанами, что так восхитило в 1790 г. русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Каждый может купить билет, оплатив его до любого места по пути следования экипажа.

При развитии промышленности в России неизбежно должны были совершенствоваться возможности передвижения. Летом 1830 г. в Петербурге появились первые городские кареты. Они отправлялись ежедневно в девять и в одиннадцать часов утра, в час дня и вечером, пассажиров брали у Думы или близ Казанского собора на Невском проспекте, а билет можно было купить в конторе у Аничкова моста. Экипажи следовали в модные предместья Петербурга — на Каменный остров или в Новую деревню. Городские кареты были большие, разделенные на две части экипажи, в каждой части помещалось шесть человек. Они сидели по трое, лицом друг к другу. Наверху кареты помещался империал — здесь на скамьях могли расположиться двенадцать человек. Впереди — кучер, сзади, на специальном сиденье, кондуктор с трубой. В карету запрягали четыре лошади.

Изобретение оказалось удачным, и в 1833 г. городские дилижансы стали ездить из Петербурга в Москву и обратно по новому открытому шоссе. Билет в дилижансе стоил гораздо дешевле, чем путешествие в наемной карете. Одною из первых новый вид транспорта попробовала Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. В мае она писала дочери: «В твердом убеждении, что дилижанс не может сломаться,

я пустилась в путь, намереваясь ехать и день и ночь и спать спокойно. Вообрази же мой испуг: только лишь я задремала, как вдруг чувствую, что я едва не на земле и коляска вот-вот опрокинется, но, к счастью, мы без труда вышли через дверцу».

Прошло еще три года, и 27 сентября 1836 г. — при жизни Пушкина! — состоялась первая поездка по Царскосельской железной дороге. А через год, 30 октября 1837 г., в 12 часов 45 минут Царскосельская железная дорога была торжественно открыта. Вначале вагоны по рельсам тянули лошади, вскоре лошадей заменили паровозы. Зрелище было необычное и приводило в восхищение как зрителей, так и самих путешественников. В «Северной пчеле» писали:

«Наши знакомые и приятели помещаются в удобные и просторные берлины, вагоны и шарабаны, по желанию и по цене взятого в кассе билета, и едва успели усесться, как длинная цепь двенадцати огромных экипажей, по звонку, величественно приходит в движение. Это, право, что-то похожее на чародейство! Слышите ли оглушительный, дикий рев огненного коня, застилающего путь густою пеленою! Нельзя себе представить ничего величественнее этой силы, непреодолимой и вместе с тем послушной, которая несется быстрее ветра. На первом шагу радостный крик вырывается из гордой пасти могущественного паровоза, но вскоре он умирается, бежит ровно... Сидящие в экипажах не чувствуют никакого движения: все летит вместе с ними; ветер хлещет крыльями по лицу и освежает горящее чело, сердце бьется медленнее: по железной дороге не едешь, а скользишь, и приедешь, когда, кажется, еще и не уезжал».

Новые скорости, новые возможности врывались в мирную жизнь людей, еще не освоившихся с ними. Тютчев жаловался, что Европа мелькнула перед ним, когда он впервые проехал не в карете, а по железной дороге. В.А.Соллогуб выражал неудовольствие тем, что разрушаются вековые устои: «В прежние годы оседлость образовала потребность. У каждого семейства был свой приход, свой неизменный круг родных, друзей и знакомых, свои предания, свой обиход, своя заветная мебель, свои нажитые привычки. Железные дороги все это изменили. Теперь никому дома уже не сидится. Жизнь не привинчивается уже более к почве, а шмыгает, как угорелая, из угла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоянным дворам. Может быть, это имеет свою хорошую сторону относительно общего рода просвещения, но мы, старожилы, не можем не пожалеть об условиях прежнего тесного семейного быта».

\* \* \*

Александр Данилович (Яньков) жил очень хорошо и открыто; когда он женился, у него была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цуг лошадей в шорах с перьями, а назади, на запятках, букет. Так называли трех людей, которые становились сзади: лакей выездной в ливрее, по цветам герба, напудренный, с пучком и в треугольной шляпе; гайдук высокого роста, в красной одежде, и арап в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанный турецкой шалью и с белой чалмой на голове. Кроме того, пред каретой бежали два скорохода, тоже в ливреях и в высоких шапках: тулья наподобие сахарной головы, узенькие поля и предлинный козырек. Так выезжали только в торжественных случаях, когда нужен был парад, а когда ездили запросто, то скороходов не брали, на запятках был только лакей да арап, и ездили не в шесть лошадей, а только в четыре, но тоже в шорах, и это значило ехать запросто. Лошадей в то время держали помногу: у батюшки при жизни матушки было три цуга: один для него, один для матушки да запасной и, кроме того, несколько лошадей рассыльных для людей, водовозок, так что на конюшнях набиралось лошадей около тридцати, а у кого и больше. Стало быть, и кучеров, и конюхов людей до десяти.

*Рассказы бабушки Благово*

Первая молодость сливается с телегой в воспоминаниях всех русских моих современников; ни дорожного, ни домашнего комфорта мы столько не знали, как нынешние молодые люди. Недавно остроумнейший из наших стихотворцев (П.А.Вяземский) украсил тележную езду всею прелестью поэзии; трогательная шутка его расшевелила мне сердце до самой глубины. Улыбаясь сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи к Орловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Все нашел я тут: и вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика, и шляпу его, украшенную даровою лентой, и руку его, вооруженную *вдохновительным кнутом*, и русоколых красоток, коими любовался, несмотря на боль моих ребер. Ни я, ни он, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь без памяти и скакать и прыгать по крупным камням и мелким бревешкам тогдашней мостовой, а вспоминать о том, право, приятно!

*Ф.Ф.Вигель. Записки*

Одно время проказники сговорились проезжать часто чрез петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в

подобной шутке. Два дня после такого распоряжения проезжает через заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто, во всеуслышание, провозглашает имя и звание свое. «Некстати вздумали вы шутить, — говорит ему караульный, — знаем вашу братию; извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к господину коменданту». Так и было сделано.

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

Мне надобны дрожки и вот условия: чтобы не модные, следовательно, отнюдь не высокие; рессоры не слишком гибкие и потому или толщина листов несколько больше обыкновенной, или один лист лишний. На крыльях не надобно наклеенных по моде ковров, но просто один лак. Пристяжки не на пару, но на тройку. Закажи дрожки нарочно и из лучших мастеров.

*Из письма А.П.Ермолова. Тифлис, 22 июля 1826*

22 марта н.с. 1808 г. Сижу на маленьком постоялом дворе в Едрово, окруженная святыми, ангелами, богородицами, Венерами, турками, императрицами, дешевыми портретами неизвестного происхождения, лошадьми и воинами, английскими и французскими гравюрами, зеркалами, пасхальными яйцами, множеством икон, тикающими часами и гусями, которые можно держать в руках, как лиру...

*Марта Вильмот. Письма*

## ***Мы все учились понемногу...***

«Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до восемнадцати лет. Учитель его, местье Декор, был простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец мой, кроме французской орфографии, кажется, ничего основательно не знал, — так описывал процесс воспитания своего героя Пушкин в неоконченном романе «Русский Пелам». — ...Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дома не давать ему покою и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке».

Пушкин не очень доверял домашнему воспитанию. Он считал, что зачастую родители, особенно провинциальные помещики, не в силах дать детям хорошее образование. А французы! Кто только не брался за воспитание русских недорослей! Ходили анекдоты о французе, преподававшем французскую грамматику, который на вопрос, что такое *модальные глаголы*, отвечал, что он давно покинул Париж, а моды там переменчивы! Он просто считал, что «модальность» от слова «мода»! В 1770 г. французский посол узнал в одном учителе... своего бывшего кучера! Можно ли, спрашивал сотрудник одного сатирического журнала, рассчитывать на нравственное воспитание ребенка, отданного на руки такого воспитателя:

«Смех и жалость я чувствую, когда вспомню о том контракте, какой видел я в Москве между одним господином и оборванным французом, сделавшимся из лотерейного разнощика учителем. Учитель показался не дорог, и контракт заключен с ним такого содержания:

1. Я, Пьер де Фаде, обязуюсь получать от господина NN каждую неделю штоф водки и каждый день по одной бутылке французского вина.

2. Потому что я, де Фаде, истинный норманнский дворянин, то мне должно иметь три раза в неделю для выезда экипаж с кучером и лакеем, которым иного дела не будет, как возить меня, де Фаде, по всему городу к моим товарищам.

3. Когда я своих приятелей посещаю, то естественно, что и они посещать меня будут, а для того иметь мне другие три дни особый стол...

Жалованья мне получать 500 рублей, а я, Пьер де Фаде, обязуюсь обучать детей упомянутого NN своему природному языку, благодарию и всему, что я знаю».

Как тут не вспомнить Грибоедова: «Стремимся набирать учителей полки / Числом поболее, ценою подешевле...» «...Звание учителя, в наших варварских понятиях, казалось нам немного выше холопядьки, вечно соперника *мусьи*», — писал Вигель.

Впрочем, не всегда, к счастью, дела обстояли столь плохо. Поэт Михаил Никитич Муравьев, о котором Карамзин говорил, что «страсть его к учению равнялась в нем только со страстью к добродетели»,

сам составлял программу обучения своего сына, будущего декабриста Никиты Муравьева. Мальчику было семь лет, когда отец передал для него «Римскую историю» и писал жене: «Посылаю Нико книгу, попавшую мне в руки. В ней много говорится о Риме и о Цицероне. Раз он больше не падает, я считаю его достаточно большим мальчиком, чтобы, развлекая себя, иногда полистать два томика об античности».

Родительская власть часто простиралась за пределы детства. В воспоминаниях Е.П.Яньковой есть рассказ о курьезном случае исправления нравов совершенно патриархальным способом:

«В то время, как мы жили в Петербурге, ко мне приезжает однажды одна моя хорошая знакомая, вдова средних лет, имевшая единственного сына, только что произведенного в офицеры.

— Я к вам с большой просьбой, Елизавета Петровна; сделайте милость, не откажите.

— Что такое, моя милая, — говорила я ей, — скажи мне, и ежели я могу — сделаю.

— Позвольте вашим двум лакеям прийти ко мне завтра поутру.

— С большим удовольствием; на что они тебе понадобились?

— Вы знаете, я имею сына, которого недавно сделали офицером...

— Ну так что же?

— Он стал дурно себя вести, замотался, на днях возвратился домой выпивши, а вчера проигрался; хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит, ежели мой сын станет так жить.

— Это очень жаль, только я все-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились.

— Я хочу сына высечь, — говорит мать, а сама плачет...

— Что это, матушка, ты за вздор такой говоришь, статочное ли это дело? Ему под двадцать лет, да еще вдобавок он и офицер; как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут.

— Да я им сечь и не дозволю; они только держи, а высеку я сама...

— Милая моя, он офицер, как это возможно...

— Он мой сын, Елизавета Петровна, и как мать я вольна его наказать, как хочу, кто же отнял у меня это право?»

Домашнее увещание подействовало вполне — молодой человек бросил пить и играть в карты. А спустя лет десять навестил Елизавету Петровну, благодарил за урок и даже дал на чай тем лакеям, которые помогали его матушке. «Вот как в прежнее время умные матери исправляли своих взрослых сыновей, и не смели они сердиться и от злости не стрелялись и не давились, а еще благодарили», — с удовольствием завершила свой рассказ бабушка.

Екатерина II ввела в моду трудовое воспитание — в этом она хотела подражать Петру I, который «на троне вечный был работник». Будущие императоры Александр и Николай Павловичи под присмотром своей венценосной бабки выращивали свой огород, обучались слесарному и токарному делу. Отчасти таким образом в жизнь проводились новые идеи об естественном равенстве людей — в духе Жан-Жака Руссо. Но и Великая французская революция заставила дворян крепко задуматься. Приятель Пушкина Александр Николаевич Раевский надписал на книжке, которую подарил своему внуку в 1863 г. (хранится в Государственном литературном музее): «Милый мой внучонок, в 1790 гг., во время самого разгара Французской революции, все опасались, что эти ужасы дойдут до нас, и молодые люди того времени выбирали себе какое-нибудь ремесло, чтобы иметь средство снискать себе пропитание. Покойный мой отец, а твой прадед, Николай Николаевич Раевский (после сделавшийся столь известный в войнах 1812, 1813 и 1814 гг.) выбрал ремесло переплетчика и эти книги были переплетены для сестры моей матери — Екатерины Алексеевны Константиновой; храню их как памятник давно минувших дней». А русский посол в Англии Семен Романович Воронцов выражался еще определеннее. Он хотел заранее оградить своего сына от неприятностей будущей революции в России. В 1792 г. он писал своему брату: «Франция не успокоится до тех пор, пока ее гнусные принципы не укоренятся здесь... Это, как я вам уже сказал, война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и теми, которые обладают собственностью, и так как эти последние немногочисленнее, то в конце концов они должны будут пасть. Зараза станет всеобщей. Наша отдаленность охранит нас на некоторое время; мы будем последними, но и мы станем жертвой этой всемирной чумы. Мы ее не увидим, ни вы, ни я; но мой сын увидит ее. Поэтому я решился обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда вассалы ему скажут, что они его больше не хотят знать и что они хотят разделить между собою его земли, он смог бы зарабатывать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членов будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета. Эти ремесла ему будут более нужны, чем греческий и латинский языки и математические науки».

Граф Дмитрий Петрович Бутурлин, крестник Екатерины II, богатый и знатный русский барин, воспитывал своих детей в строгости, обращая особое внимание на их здоровье. Сейчас удивительно читать, что дети не допускались обедать вместе со взрослыми до восемнадцати лет, спать ложились в 9 часов вечера и строго соблюдали предписанный режим. Сын Дмитрия Петровича вспоминал свою жизнь в поместье: «До шестилетнего возраста меня выпускали бегать по саду в летний теплый дождь голеньким, а в более старшем возрасте, до девяти лет, я и компаньон мой Эдуард бегали также по дождю, но уже в



длинной ночной сорочке. Это воздушное купание было для нас наслаждением. Вся эта жизненная система имела для нас самые плодотворные последствия, и ее плоды я ощущаю ныне, в старости. Телесные наказания у нас не водились, но держали нас строго».

Обучив дома мальчика читать и писать, его везли в город, в частный пансион, которые в России появились довольно рано. В пансионе воспитывалось иногда 10—15 учеников, которые жили и столовались на квартире преподавателя, и далеко не всегда обучение было хорошо поставлено. Андрею Тимофеевичу Болотову, автору мемуаров, известному садоводу, было десять лет, когда его привезли в Петербург учиться. Шел 1747 год. «Маленькая постелька и сундучок с платьем составляли весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый. Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или пятнадцать; некоторые были на его содержании, а другие прихаживали только всякой день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой... Двое жили со мной, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная... Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый... Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, так доставалось ему самому нас учить двенадцатый час да в вечер еще один час. Прочее время учил нас старший из его сыновей.

Обеды же были очень и очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! — сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булочку, либо скромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусны, что подберешь и крошечки. Нередко же случалось, что иногда ложка-другая-третья хороших щей с говядиной, варимых для себя слугой моим, помогали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всего обеда».

Лев Николаевич Энгельгардт, родственник Баратынского и Дениса Давыдова, вспоминал, как его, двенадцатилетнего мальчика, в 1778 г. отдали в пансион в городе Смоленске. Содержатель пансиона «касательно наук был малосведущ, и все учение его состояло, заставляя учеников учить наизусть по-французски сокращенно все науки, начиная с катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии без малейшего толкования; но зато строгостию содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины фирулами из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа; словом, совершенно был тиран». В пансионе была установлена система взаимной слежки, из учеников назначали «чиновников», которые выполняли эти полицейские обязанности: «Французский язык... хорошо шел по навыку, ибо никто не смел ни одного слова сказать по-русски, для чего учреждены были между учениками начальники: младшие означались красным бантом в петлице и надзирали над четырьмя учениками, а старшие чиновники отличались голубым бантом и надзирали над двумя младшими чиновниками; все они должны были смотреть, чтобы никто не говорил по-русски, не шалил и не учил бы уроки наизусть, заданные для другого дня. Младшие имели право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по руке фериулой (длинный хлыст или розга — *лат.*), а старшие чиновники — по два удара». Если содержатель пансиона узнавал, что назначенные начальники плохо выполняли свои обязанности, их наказывали «ужасным образом» и даже отбирали знаки власти — банты: «Много учеников от такового славного воспитания были изуродованы, однако ж пансион был всегда полон. За таковое воспитание платили сто рублей в год, кроме платья...»

Аристократические семьи стремились определить своих детей в дорогие престижные заведения, например в пансион аббата Николя, тайного иезуита, где в год платили 1500 рублей — по тем временам деньги огромные. Этот пансион окончил Петр Яковлевич Чаадаев, некоторые декабристы, но здесь же учился и будущий шеф жандармов А.Х.Бенкендорф. В пансион аббата Николя собирались отдать и Пушкина, но в это время открылся Царскосельский Лицей, и участь будущего поэта была решена иначе.

Не всякий пансион имел права высшего учебного заведения. В таком случае следовало поступать в университет, так как во времена Александра I требовалось образование, чтобы сделать карьеру. К вступительным экзаменам готовили тщательно, нередко на целый год нанимали учителей «по билетам», то есть с отдельной платой за каждый урок. Правда, экзамены временами превращались в пустую формальность. Родственник А.С.Грибоедова В.И.Лыкошин вспоминал: «В 1805 г. мать начала думать об определении нас в учебное заведение и решилась на Московский университет, который в недавнем времени был преобразован, и в ноябре мать повезла меня и брата Александра в Москву... В назначенный день съехались к нам к обеду профессора... За десертом и распивая кофе, профессора были так любезны, что предложили сделать нам несколько вопросов... Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату — 11 лет.

Устройство университета в то время было отлично от настоящего: здание нового университета было тогда принадлежностью Пашкова, с садом, наполненным разными диковинами, а флигель на Никитской был под Императорским театром. В так называемом теперь старом университете залы

бельэтажа были аудиториями для студентов; в большой средней ротонде была конференц-зала, а в боковом отделении направо от входа с Моховой — была церковь; под нею была квартира ректора Страхова. Верхний этаж был занят дортуарами казенных студентов и классами гимназистов. Близ самого университета был корпус больницы, а вслед за оным по Никитской дом Мосолова, занимаемый профессором естественной истории Фишером, где была и его аудитория; неподалеку же в переулке — анатомический театр, где профессор Гольбах преподавал астрономию, а Рейс — химию. Обыкновенно собирались мы на лекции в 8 утра и оканчивали в 12, чтоб после обеда слушать от трех до пяти часов».

«Казеннокоштные» студенты, жившие при университете, были дети бедных дворян, бывшие семинаристы или так называемые «однودворцы», получившие личное дворянство и не имевшие крепостных. Они не смешивались с аристократами, отличаясь от них даже цветом мундира — казеннокоштные студенты носили малиновый мундир. Студенты из аристократических семей приезжали на лекции в своих экипажах, часто в сопровождении гувернеров, потому что до определенного возраста молодой человек не имел права выходить из дома один. Гувернер спал в комнате своего воспитанника или рядом с ним. Другое дело студент — он уже получал самостоятельность. Этот момент освобождения от постоянной опеки молодой человек переживал бурно — как Николенька Иртеньев из повести Л.Н.Толстого «Юность»:

«Восьмого мая, вернувшись с последнего экзамена, закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерья от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из глянцевого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надев это платье и найдя его прекрасным... я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице... чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкий, догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папá, четыре беленькие бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папá, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову, — кажется, что «Красавчик отличный рысак»...

И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на португее, будочники могут иногда делать мне честь... я большой, я, кажется, счастлив».

Так оканчивалось детство. Молодой человек вступал в новую, самостоятельную жизнь. Университет, потом служба, семья, в 21 год совершеннолетие...

\* \* \*

Разумеется, что дети говорили и учились только по-французски. Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению и уже девяти лет любил читать Плутарха или Илиаду и Одиссею в переводе Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же состояла из классиков французских и философов XVIII в. Страсть эту развивали в нем и сестре родители, читая им вслух занимательные книги. Отец особенно мастерски читывал им Мольера.

*Из воспоминаний Ольги Сергеевны Павлицевой,  
сестры А.С.Пушкина*

«По шестому году посадили меня за букварь и часовник. В нынешнем веке смешно такое образование, но такое начало не совсем худо. Оно с юных ногтей знакомит с родным языком и научает страху Божию. Тогда еще не учили по-русски на французский манер, не было ни *а*, ни *бе*, а были просто *азь*, *буки*, *веди* и пр. Признаюсь, я и теперь не могу равнодушно слышать, как русские дети складывают *бе*, *а* — *ба*; мне кажется понятнее: *буки*, *азь* — *ба*. Славянская азбука есть вместе и молитва, и закон. Что значат для русского все *бе*, *а*, *ве*: совершенно никакого понятия с этим не сопрягается, кроме пустого звона слов, между тем как читая славянскую азбуку, я научаюсь многому: *азь ведый глагол, добро есть живете земля иже и; како люди мыслете; наш он покой; рцы слово твердо*. Вот с первым понятием ребенка, с первым началом, прежде еще складов, говорит ему Господь, что он ведаёт помыслы людей, знает, как живут они на земле, на коей суть; вместе с тем люди признают, что один Бог успокоивает их и обязуются хранить данное слово...»

В 1790 г. Брусилов поступил в Кадетский корпус.

«...Порядок в корпусе был тогда совсем иной. Я сказал уже, что дортуаров не было; постелей и платья казенных тоже не было. Всякий одевался как хотел, формы никакой не было. Чай у всякого был свой, только стол для пажей был общий. Камер-пажи к столу не ходили; им носили кушанья в комнаты. На стол отпускалось на каждого пажа по рублю в день; правда, что всегда было шесть блюд,

но я думаю, что m. Masiose находил тут порядочный счетец. К столу нас призывали по колокольчику; мы не в порядке шли, а бежали, как шалуны; кто первый прибежал, тот садился, где хотел. Шум, крик и шалости всякого рода, я думаю, и на улице давали знать, что мы обедали; но когда приходили к столу гувернеры, тогда стол продолжался смирно. В половине всякого часа утра звонок сзывал нас в классы. Их было четыре: в первом учили по-русски грамоте и начальным правилам арифметики; во втором — греческому, латыни, немецкому и французскому языкам, грамматике древней и новой истории, географии, арифметике и алгебре; в третьем продолжались те же предметы и, сверх того, преподавали геометрию, минералогию, учили фехтованию; в четвертом классе — высшие науки и фортификацию. Танцевальный и рисовальный классы были общие. Верховой езде обучали в придворном манеже...

Инспектор классов, почтенный Клостерман, был человек очень образованный, даже ученый, но по старости лет мало занимался нашими успехами; а гувернер шевалье де-Вильнев, лишившийся руки при штурме Очакова, был храбрый офицер, исполненный чести во всей силе слова, но редко принимал на себя труд заглядывать в классы...

Тех, которые были познатнее, производили в камер-пажи; и это был важный шаг, ибо из камер-пажей выпускали в гвардию поручиками, что тогда равнялось майорскому чину. Производство в камер-пажи имело характер рыцарский. Паж преклонял колена, государыня дотрагивалась рукою до его щеки, вручала ему шпагу. Пажи, которые пробыли в корпусе более девяти лет, выпускались в армию капитанами, наравне с сержантами гвардии; а те, которые служили менее десяти и более шести лет, выпускались в армию поручиками. Пажам производилось жалованья 37 рублей 50 копеек в треть, да на мундир ежегодно по сту рублей. У кого был хороший дядька, то деньги прибирал к себе; а шалуны тратили их на пряники, сбитень и прочие лакомства...

Обыкновенный мундир у пажей был светло-зеленого сукна, подбитый красным стамедом. От воротника до подола, и сзади на фалдах, были золотые петлицы с дутыми желтыми пуговицами; камзол красный с золотыми петлицами; нижнее платье красное с золотыми шлифами, башмаки с красными каблуками, шляпа треугольная, голова в пудре, с буклями и кошелек. У камер-пажей был такой же мундир, но камзол, шитый золотом, по манеру майорского галуна, и шпага. Парадный мундир был богатый: светло-зеленого бархата, шитый по всем швам золотом, нижнее платье зеленое бархатное, шляпа, шитая золотом. Мундир богатый, и в тогдашнее время, когда рубль серебром был в рубль меди, мундир стоил до семисот рублей. Мундир этот был казенный и хранился в придворной кладовой. В торжественные дни выдавали его пажам, а потом опять относили в кладовую. Так как мундиры эти шиты были уже давно, то весьма немногие приходились впору, и очень часто на маленького пажа надевали мундир, шитый на большой рост; мундир едва не волочился по полу, рукава надобно было засучить, застегнуть мундир не было возможности: он сидел кулем. Несмотря на богатство мундира, мы были в нем не очень ловки. Сами мы это чувствовали, и как счастлив из нас был тот, кому хотя несколько мундир приходился впору! Со всем тем богатый наряд немало внушал уважения».

*Из воспоминаний Н.П.Брусилова*

## **Переписка друзей**

**«14** августа 1831 г. Из Царского Села в Москву.

*Любезный Вяземский, поэт и камергер...  
(Василья Львовича узнал ли ты манер?  
Так некогда письмо он начал к камергеру,  
Украшену ключом за верность и за веру).  
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!  
На заднице твоей сияет тот же ключ.  
Ура! Хвала и честь поэту-камергеру.  
Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру.*

Услыша о сем радостном для Арзамаса событии, мы, царскосельские арзамасцы, положили созвать торжественное собрание. Все присутствующие члены собрались немедленно, в числе двух. Председателем по жребию избран господин Жуковский, секретарем я, сверхъ. Протокол заседания будет немедленно доставлен Вашему арзамасскому и камергерскому превосходительству (также и сиятельству)».

Ах, как хорошо известен этот юмор пушкинских писем, настоящих маленьких литературных шедевров! По сути, они, конечно, литературные произведения, притом достаточно сложного жанра: здесь и стихи, которые потом попадают в собрание сочинений, и публицистика, и обзор мировых событий, и сердечные признания, и критические статьи. С писем начиналась русская проза — недаром так часто еще в 1760-е гг. печатались в журналах литературные произведения в форме писем, например переписка Моды. А как долго спорили, были ли «Письма русского путешественника» Карамзина действительно письмами, или это просто литературная форма!

Письма, адресованные одному приятелю, читали в обществе и даже переписывали. И это не было нескромностью, на такое чтение письмо было рассчитано заранее. Если пишущий не хотел, чтобы какие-то письма читали, он предупреждал: это только для тебя. А впрочем, случались и казусы. Расшалившийся молодой князь Вяземский пишет Александру Ивановичу Тургеневу, приятелю Жуковского, «арзамасскую галиматью» по поводу поэта и получает нахлобучку от обиженного Василия Андреевича:

«12 ноября 1818 г.

...Вот уже два письма от тебя к Тургеневу такие, которые не понравились. Ты шутишь на мой счет, все это шутка — знаю, но не менее того — открываю тебе прямо непосредственное свое чувство — мне неприятно... Я не желал бы, чтобы я и *кариатура* были всегда неразлучны в твоём уме. Привычка к такого рода шуткам нечувствительно может оборотиться в образ мыслей; я желал бы, чтобы ты с твоим чувством ко мне обходился как с *недотрогой* и берег бы его для самого себя в некоторой чистоте; не смейся над тем, что говорю, — я прав. Нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном; оставим это для Арзамаса; в другие же минуты воображай меня без протоколов. Некоторого рода шутки на мой счет — хотя они и шутки — должны быть для тебя *невозможны*... Полно, брат, острить об меня перо! Оно и без того остро! И не забудь, что ты пишешь к Тургеневу! Он на этот счет слишком беспечен. Ему нужно умное письмо, которое бы носить за пазухой и читать встречному и поперечному. Что ж за приличие читать кому ни попало такие письма на мой счет, какие ты пишешь. А он *читает*... Мы все ошибаемся, считая непринужденностью дружеской многое, чего бы мы себе не позволили с посторонними. В этой непринужденности часто бывает много оскорбительного... В нашем Арзамасе, где мы решились, однако, позволять себе все под эгидой Галиматъи, было много неприличного».

В Арзамасе шутки позволены — там свои, это клуб друзей, близких по духу, хотя в него входят самые разные люди: и лицеист последнего курса Пушкин, и герой 1812 г. Михаил Федорович Орлов, принимавший от Наполеона акт о капитуляции Парижа. И память об этой дружбе останется на всю жизнь, недаром в письме 1831 г. Пушкин возвращается к шутливой форме арзамасского послания, а в 1837 г., опасаясь, что цензура задержит статью о смерти Пушкина, Жуковский пишет реакционному министру просвещения Уварову, напоминая об арзамасской молодости: «Посылаю Вам, Старушка, официальное письмо, при нем и сие небольшое Арзамасское завывание...» Казалось бы, тон совершенно несовместный с трагедией, которую переживает Жуковский и вся Россия, но ведь удалось ему расшевелить заржавевшие струны души министра, и статья была напечатана...

*Письмо, что грамоткой простой народ зовет,  
С отсутствующими обычну речь ведет,  
Быть должно без затей и кратко сочиненно,  
Как просто говорим, так просто объяснено.*

Эти стихи принадлежат Сумарокову, поэту XVIII в., и напоминают о том, что письма люди охотно писали друг другу задолго до рождения Пушкина. Мало того что писали — письма собирали, переплетали в тетради, и эти тетради семья или друзья тщательно хранили. Письма адресованы не только современникам, но и потомкам, о чем напоминает тот же Сумароков в «Эпистоле о русском языке»:

*То, что постигнем мы, друг другу сообщаем  
И в письмах то своим потомкам оставляем.*

Николай Иванович Новиков, человек легендарный, издатель журналов, писатель, великий просветитель, сумевший наладить книгопечатание при типографии Московского университета, был одним из известнейших московских масонов. Испугавшись роста влияния масонов на наследника Павла Петровича, страшаясь, что будет свергнута с престола, что может случиться переворот в пользу законного наследника, Екатерина II велела арестовать Новикова, и он просидел в крепости вплоть до смерти самодержицы. Освободил его Павел, и больной, изнуренный тюрьмой, разоренный Новиков доживал последние годы в своем подмосковном имении селе Тихвинском. Однако юмор его не покинул: в письме, которое Новиков послал 20 января 1802 г. своему другу масону Лабзину, он иронизирует над своим самочувствием и дает пародию на масонский рецепт по добыванию философского камня:

«Любезнейший и сердечный Друг, Дражайший Племянник!

Любезное, дорогое, исполненное любви письмо ваше от 6 Генваря я с несказанною радостью и сердечным удовольствием получил. Благодарю вас и дражайшую племянницу за сие утешение старого и дряхлого вашего дяди. Не отвечал из Москвы, потому что тот или другой у меня были и мешали, почему и отложил ответ до съезда в свою больницу, где теперь и нахожусь. Худая дорога опять меня разбила, так что и теперь, как видите, пишу не гораздо исправно, но *покорный племянник* извинит в том *упрямого дядю*. — Так, мой сердечный друг! Вы попали на самое верное средство, чтобы лечить *покорностию упрямство*! Но как и я сам в лечении кое-что смыслю, то посоветую прибавить еще некоторые специи. Покорность, по своей натуре, суха, а упрямство мое горячо, так в соединении иссушат и последнюю влагу, которой, по верному испытанию, у меня осталось уже немного; итак, надлежит прибегнуть к посредствующим: надлежит взять чистого *смирения* такое же количество, как и *покорности*, и соединить в мельчайший порошок до неразделимости. Потом взять противу обоих количеством *сублимированной, универсальной скромности* — опять соединить до неразделимости; наконец, все сие налить чистою, светлою водою, настоянною с *любовию, осторожностью и опытами* ректифицировать до того всю сию микстуру вместе, на весьма умеренном огне, с превеликим *терпением и долготерпением*, пока выйдет из сего *чистый, светлый и прозрачный эликсир*, не имеющий *никакого вкуса, никакого запаха, никакой краски*, — таков, как светлая чистая вода. Сей эликсир называется *опытами исправленной, мудростию очищенной и смирением возвышенной любви* — *эликсир универсалиссиме*. Сего эликсира во всех умственных припадках и душевных болезнях и в особенности в болезнях упрямства и пылкости, дают не более трех капель... Вот какое знаю я драгоценное лекарство, сердечный друг! Но приступить сам к составлению его боюсь, потому что у меня ныне стали дрожать руки, как то вы из почерка моего довольно приметить можете».

В письмах слышится живой голос современника событий, известных из истории. «Письма больше, чем воспоминания, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное», — писал Герцен в «Былом и думах». Под пеплом лет, как Помпея под пеплом Везувия, письма сохраняют тот эффект непосредственного присутствия, который утрачивает любое историческое повествование. Историю пишет тот, кто знает, что было после, чем кончилось событие; в письмах современников — непосредственное переживание момента, и автор письма — сам герой рассказанной им повести. В 1771 г. в Москве разразилась злая эпидемия чумы. Это был один из самых драматических эпизодов в жизни древнего города. Люди не знали, как передается зараза, что следует делать во избежание болезни. Началась паника, уличные бунты, Екатерина прислала братьев Орловых — усмирить столицу — не позволить болезни распространиться по стране, то есть запереть жителей в чумном городе. 6 апреля 1771 г. Сумароков писал Денису Ивановичу Фонвизину:

«Я сию минуту еду в деревню. Москва не слишком надежное местопребывание для жителей, которые не желают вместе с людьми своими отправиться на тот свет. Болезнь с каждым днем мало-помалу возрастает. В моем доме нет еще ни кошки больной: то я все способы употреблял чистить воздух и удалять гнилость. Но в народе, где люди и не имея предистинации (предопределения — *лат.*), более в нее впускаются, нежели магометанин, трудно жить. «Час воли Божией» есть та же магометанская предистинация. А от сей предистинации должно нам, православным, подвергнуться любой болезни. Ибо сия болезнь, иль паче смерть, к шуткам не склонна».

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые,  
Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир, —*

писал Ф.И.Тютчев. Но те, кому довелось самому пережить трагические минуты истории, оставили в письмах как бы застывший вопль. И здесь живо проявлялся характер автора письма. Иван Иванович Дмитриев, например, поэт, государственный деятель, был всегда сдержан и в письмах своих не позволял, как он сам выражался, переносить рассказ на другую страницу. Его друг Николай Михайлович Карамзин прежде всего историк — и то, что случилось с его погибшей в пожаре 1812 г. в Москве библиотекой, и потеря имущества для него прежде всего факты истории. «Скажу вместе с тобою: как ни жаль Москвы, как ни жаль наших мирных жилищ и книг, обращенных в пепел, но слава Богу, что отечество уцелело и что Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром», — писал он Дмитриеву 26 ноября 1812 г. А вот в письме другого москвича, стихотворца и драматического писателя Николая Петровича Николаева просто вопль и стон человека, который не согласен пропадать под колесами истории:

«1812 года. Ноября 5 дня.  
Милостивый государь!

Разоренный, ограбленный, лишенный в подмосковной и в Москве более нежели на сто тысяч имения от общего врага России и наконец кой-как дотащившийся с бедной семьею своею до Тамбова,

почитая за милость Божию и то, что в крестьянской избе покамест определил Бог безопасную кровлю далее от супостата, берет перо, чтоб вам, почтенному и любезному моему приятелю, принести благодарность за благодетельное ваше посредничество к освобождению от нарядной службы моего старичка-доктора, уверен, что вы позднее свидетельство признательности не отнесете к моей вине: письмо ваше имел я удовольствие получить в Москве в самое страшное и отчаянное время, а потому и не имел возможности исполнить моего долга... О ежели бы свидетелем были бедственного состояния Москвы и ее окрестностей, вы бы согласились со мною, что никакое перо, никакая кисть изобразить и описать той картины не могли бы, которая вживе представлялася очам страждущего человечества!.. Я же, живучи на самом опасном пути, за семь верст от Вяземы, видя всех соседей моих скрывшихся и не имея холодного сердца к страданию своих и соседних поселян, меня окружающих, до тех пор сидел на гнезде моем, помогал и утешал бедный народ, а при том принимая, кормя, поя, леча и похороня ежедневно приходящих ко мне раненых и умирающих паче после 26 августа, дня страшнейшего сражения под Можайском, пока увидел уже все селения по Можайской и Боровской дорогам выжженными, а поселян со скотом и без скота, полунагих мимо себя бегущих, не зная, где искать спасения... ужасное позорище... Ах, мог ли кто помыслить, что после Петра Первого и Екатерины Второй случится то с Москвою, что случилось! Политики, может быть, скажут, что так было надобно для спасения вселенной... а я с потерей жизни моей готов спорить со всеми политиками мира, что так быть не должно, что общее спасение не могло быть основано на гибели Москвы, как от ошибки политики, и что необходимость сей жертвы не есть необходимость лучшего плана, но из худого лучше...»

Это уже не просто дружеское письмо — это публицистическое выступление: язык, которым оно написано, затруднен, предложения кажутся бесконечными, но это литературный прием — именно эта бесконечность создает впечатление поэтической взволнованности. Конечно, такие письма писались с черновиками, обдумывалась и обрабатывалась каждая фраза. Удачное сравнение, хорошо высказанная мысль, тонкое психологическое наблюдение потом отзовутся в поэме, в повести.

Письма, написанные по живым следам событий, для писателя нередко становились творческим дневником, тетрадкой эскизов. Впечатление беседы, которое оставляют письма пушкинских современников, — это именно впечатление, созданное мастером, ведь, доходя до бумаги, устная речь очищается. Сохранить в письме живость разговора — задача отнюдь не из легких. И ее с блеском разрешали писатели карамзинского круга. «Благодарю тебя, мой милый, что ты обо мне вспомнил, — писал Василий Львович Пушкин 17 апреля 1816 г. своему племяннику в Лицей. — Письмо твое меня утешило и точно сделало с праздником. Желания твои сходны с моими; я истинно желаю, чтобы непокойные стихотворцы оставили нас в покое. Это случиться может только после дождичка в четверг. Я хотел было отвечать на твое письмо стихами, но с некоторых пор Муза моя стала ленива, и ее тормошить надобно, чтоб вышло что-нибудь путное...»

Поздравляя дядюшку с новым, 1817-м, годом, Пушкин-лицеист отзывался живо и поэтически: «В письме вашем Вы называете меня братом; но я не осмелился назвать Вас этим именем, слишком для меня лестным.

*Я не совсем еще рассудок потерял,  
От рифм бахических шатаюсь на Пегасе.  
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад,  
Нет, нет, вы мне совсем не брат,  
Вы дядя мой и на Парнасе.*

Итак, любезнейший из всех дядей-поэтов здешнего мира, можно ли мне надеяться, что Вы простите девятимесячную беременность пера ленивейшего из поэтов племянников?»

Как на самом деле это непросто, писать вместе и свободно, и почтительно, не переступая границ. Да, письма учились писать как литературные произведения. Сумароков прав, они адресованы и нам, далеким потомкам, любопытным знать подробности жизни наших предков.

\* \* \*

Чтоб научиться писать хорошие письма, нужно иметь хорошие правила и им следовать; и нужно иметь хорошие примеры и им подражать.

Желающий порядочно писать письма, должен замечать две главные вещи: *материю*, или содержание писем, и *форму*, или расположение той материи.

В письме не стараются наблюдать великой связи между частями ононого; письмо есть картина словесного разговора, или нашего обращения; следовательно, и небольшой беспорядок ему свойствен, а особливо в письмах не одну материю содержащих.

Прежде подумай, хорошо ли это выражение, нет ли лучшего, точнейшего; подумай, истинна ли мысль твоя, благопристойна ли, сообразна ли с характером и состоянием того, к кому пишешь, идет

ли к твоему делу? Подумай — и тогда клади на бумагу, однако же как те, так и другие должны употреблять слова в собственном значении, избегать ненужного повторения слов, фразы и мысли должны оставлять излишние, скучные приступы и непонятные заключения.

*Письма любовные.* — Сии письма совершенно отступают от слогу писем. Одна страсть должна везде управлять пером.

*Письма о делах.* — ...главное их свойство есть особенная краткость, ясность и строгий порядок.

*Письма шуточные.* — Они пишутся только к самым коротким приятелям... Шутки должны быть тонкие и приятные, чтоб они не могли огорчить того, к кому пишем, равно как и посторонних важных людей. Есть много нерассудительных, которые согласны потерять приятеля, нежели замысловатое словцо: таким подражать не должно... Заметим еще, что шутки употребляются в письмах только для умножения их живости и приятности.

*Новейший полный письмовник, или Всеобщий секретарь. В 3-х частях. СПб. 1810*

## ***Общество безвестных людей***

23 сентября 1815 г. в Петербурге было объявлено представление новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием «Липецкие воды, или Урок кокеткам».

«Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением... Теперь, когда могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор заставил светскую женщину говорить по-русски, по верности характеров в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно, что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен был открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг сидящих друзей его! Перчатка была брошена...»

Так вспоминал Ф.Ф.Вигель о литературной войне, разгоревшейся между староверами, «варягороссами», как их насмешливо называли современники, и последователями Карамзина. Еще до войны с Наполеоном, в 1807 г., в доме Гаврилы Романовича Державина на Фонтанке стали собираться сторонники сохранения в литературе торжественных од, на сцене — трагедий, следующих греческим образцам, в языке — особо возвышенных оборотов, ориентированных на стиль Ломоносова, сторонников особого пути развития России и изгнания из языка всех иностранных слов, особенно французских. Карамзин, с его ориентацией на европейскую культуру, был неприемлем для посетителей дома Державина. Ему была объявлена форменная война. Однако Николай Михайлович Карамзин взял за правило не отвечать на нападки. В бой бросилась молодежь.

*Угодно ль, господа, меж русскими певцами  
Вам видеть записных Карамзина врагов?  
Вот комик Шаховской с плачевными стихами  
И вот бледнеющий над святыми Шишков.  
Они умом равны, обоих зависть мучит;  
Но одного она сушит, другого пучит.*

Автором этой эпиграммы был Дмитрий Николаевич Блудов, «архивный юноша» и дипломат, приятель Вяземского и Александра Ивановича Тургенева. Посылая эпиграмму брату, Тургенев писал ему 19 марта 1809 г.: «Надобно знать, что князь Шаховской толст, как бочка, и написал 20 дурных комедий, а Шишков все восхищается Четьи-Минеей и Святыми».

Собрания на Фонтанке скоро были преобразованы в Российскую академию «Беседа любителей русского слова». О том, как происходили собрания «Беседы», вспоминал Вигель:

«Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний «Беседы» отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как в храме

бога света, не помню сколько раз зимой бывали вечерние, торжественные собрания «Беседы». Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей. Чтобы придать этим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах... Часть театральная, декорационная была совершенством; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов... Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением... Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества».

Казалось, «Беседа» самодержавно правит всей русской литературой. Вяземский досадовал. Тургеневу он писал: «Посмотри на членов Беседы: как лошади всегда в одной конюшне, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: *и душа в душу, и рука в руку?*»

Еще в 1802 г. Александр Семенович Шишков, адмирал и с 1817 г. президент Российской академии наук, выпустил книгу «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка». В борьбе с засильем французского языка, Шишков, не очень сильный филолог, явно перегибал палку. Он предложил исключить из русского языка все французские слова и фонтан, например, отныне именовать водометом, а калоши — мокростопами. И хотя не все положения книги Шишкова граничили с анекдотом, заставить русский литературный язык превратиться в старославянский было немислимо. Молодые литераторы боролись с официальной «Беседой», возглавляемой Шишковым, единственным доступным им методом — смехом, пародией. Вигель вспоминал:

«Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат страшный шорох в соседней комнате: Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедовать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда нетрудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, что она дошла до Шаховского и в чашу радости его много подлила горечи».

Маленький город Арзамас только и славен был жирными гусями. И вот складывается целая система пародии, из которой и возникло дружеское — это главное! — литературное общество, сыгравшее совсем немалую роль в становлении новой русской литературы. Комедия Шаховского называлась «Липецкие воды» — вот и будем отсчитывать историю Арзамасского общества от Липецкого потопы; «Беседа» — это общество людей известных, чиновных, а «Арзамас» будет обществом безвестных людей; «Беседа» собирается в зале дома Державина, а местом собраний «Арзамаса» будет любое, где собралось несколько его членов, хоть в карете; заседания общества ведет председатель, который отличается от членов только тем, что надевает красный колпак — головной убор якобинцев, символ воинственного и свободолюбивого духа арзамасцев. И символ свой есть: на печати «Арзамаса» изображен не орел, например, а гусь, жирный арзамасский гусь. К сожалению, протоколы Жуковского иногда кончались печально: «но гуся не было в сонме съестных утешений арзамасской трапезы, и горестное бурчание побежало по оскорбленным кишкам собеседников». Впрочем, гуси водились не только в Арзамасе — они, как известно, когда-то Рим спасли. «Почетный гусь» — такой титул получали наиболее заслуженные члены «Арзамаса»; «почетным гусем» был избран Карамзин, впрочем не являвшийся членом общества.

При вступлении в «Арзамас» соискатели «торжественно отрекались от имен своих, дабы означить тем преобразование свое из ветхих арзамасцев, оскверненных сообществом с халдеями «Беседы» и Академии, в *новых*, очистившихся через потоп Липецкий, и все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность: 1-е, потерпеть всякое страдание за честь Арзамаса, и 2-е, быть пугалами для всех противников его по образу и по подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах». И дальше в постановлении говорилось:

«По примеру всех других обществ каждому нововступающему члену *Нового Арзамаса* надлежало читать речь своему покойному предшественнику. Но все члены *Нового Арзамаса* бессмертны. Итак, за неимением собственных готовых покойников, *новоарзамасцы* (в доказательство благородного своего



беспристрастия и еще более в доказательство, что ненависть их не простирается за пределы гроба) положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и Академии, дабы им воздавать по делам их, не дожидаясь потомства. Вследствие сего постановления каждый нововходящий читает панегирик одному из халдеев; а очередной председатель отвечает ему, хваля того же покойника и примешивая к сим похвалам лестные приветствия новому своему другу».

На втором заседании «Арзамаса» принимали нового члена, молодого петербургского чиновника и страстного театрала Степана Петровича Жихарева. Прежде он был членом «Беседы любителей русского слова», но отрекся от заблуждения своего и при вступлении прочитал надгробное слово... самому себе:

«Ныне, отложивше ветхого человека, в нового облекусь. Наконец именитый сотрудник Беседы русского слова, по многотрудном странствовании в безвестной юдоли Литературных обществ — успе! Наконец, скинув бранный покров свой: ослиные уши и дурацкую шапку, известные принадлежности беседчика, облачается в нетленный красный колпак арзамасский...

Исчислять ли подвиги ныне пред нами лежащего бездыханного сотрудника — подвиги его бесчисленны! Тщетно буду описывать их, они неописанны! Да и могу ль пленить вас чуждою славою, когда собственная слава не прельщала великой души его?.. Но к чему наше сетование? Се обновится яко орля юность его: сотрудник восстанет как Феникс из своего праха, под другим только названием. Почтенное Арзамасское Общество Безвестных Людей уже вызывает его из могилы».

Закончил Жихарев свое «отпевание», и в ответ потекла речь Жуковского: «...стократ приятнее, утешительнее, веселее, отраднее услышать звуки возлюбленного Арзамаса из той гортани, из которой донныне исходило одно хрипение «Беседы»; стократ утешительнее видеть красный колпак возрождения, сияющий на той главе, которая донныне была посрамлена маковым венком беседной пакости...» И получил новый член имя Громобой — по балладе «Двенадцать спящих дев», а сам Жуковский, бессменный секретарь «Арзамаса», назывался Светлана; а Дашков получил прозвище совсем короткое: Чу! — это уже из «Людмилы»: «Чу! Полночный час звучит...»

Протоколы арзамасцев сами были произведением словесного искусства. Здесь Жуковский давал волю своей фантазии. Шутливые зачины пародировали стиль протоколов официальных, а время исчислялось от основания Арзамаса — как во Французской республике был свой революционный календарь — все пародия: «Месяца Листопада в первый на десять день, по обыкновенному летоисчислению 1815 г., от Липецкого потопа в лето первое, от Видения в месяц второй, в доме его превосходительства члена Старушки был третий ординарный Новый Арзамас».

Еще лицеистом, неизвестно, в 1816 или в начале 1817 г., в «Арзамас» принят был юный Пушкин, получивший имя Сверчок — это из баллады «Светлана» в сцене гадания:

*С треском пыхнул огонек,  
Крикнул жалобно сверчок,  
Вестник полуночи.*

Песня Сверчка громкая — его в Петербурге слышно даже из Царского Села, ведь лицеист не мог покинуть стены Лицея, не мог присутствовать на заседаниях «Арзамаса». «Сверчок моего сердца» — так обращался к Пушкину Жуковский. Речь, которую сказал юный поэт при вступлении в общество, не сохранилась. До нас дошли только первые ее строки:

*Венец желания! Итак, я вижу вас,  
О други смелых муз, о дивный Арзамас!*

И еще фрагмент:

*...в беспечном колпаке,  
С гремушкой, лаврами и розгами в руке.*

Но все проказы арзамасцев нельзя сравнить с тою театрализованной галиматьей, какую устроили они при вступлении Василия Львовича Пушкина. Добродушный и веселый, дядюшка Василий Львович, которого Александр Сергеевич называл своим парнасским отцом, был человек неглупый, но умел смеяться шуткам и прощал незлобные приятельские подтрунивания. Вигель вспоминал:

«Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, смешного и торжественного церемониала принятия его в Арзамас. Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина.

Ему возвестили, что непосвященные в таинства нашего общества не иначе в него могут быть

приняты, как после довольно трудных испытаний, и он согласился подвергнуть им себя. Вяземский успел уверить его, что они совсем не безделица и что сам он весьма утомился, пройдя через все эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убранное, могло одно быть удобным для представления затеваемых комических сцен. Как странствующего в мире сем без цели нарядили его в хитон с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох паломника. В этом наряде, с завязанными глазами, из парадных комнат по задней, узкой и крутой лестнице свели его в нижний этаж, где ожидали его с руками, полными хлопшек, которые бросали ему под ноги. Церемония, потом начавшаяся, продолжалась около часа: то обращались к нему с вопросами, которые тревожили его самолюбие и принуждали морщиться; то вооружали его луком и стрелой, которую он должен был пустить в чучело с огромным париком и с безобразною маскою, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредиаковского:

*Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй.*

Сие чудище, повергнутое после выстрела его на пол и им будто побежденное, должно было изображать дурной вкус или Шишкова. Потом заставили его, поддержанного двумя аколитами, пронести на блюде огромного замороженного гуся, а после того... всего не припомню. Между всеми этими проделками члены произносили ему речи назидательные, ободрительные или поздравительные. В заключение, из темной комнаты, в которой он находился, в другую, длинную, ярко освещенную, отдернувшись огненного цвета занавесь, ее скрывавшая, он с торжеством вступил в собрание и сказал речь весьма затейливую и приличную. Когда после я спросил его, не досадовал ли он, не скучал ли он сими продолжительными испытаниями? Совсем нет, отвечал он, это были прелестные аллегории».

Да и как было обижаться на друзей? А впрочем, «Арзамас» — это было вполне серьезно. Вяземский писал:

«Много было тут шалости и, пожалуй, частью вздорного; но немало ума и веселости. В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившимся на пользу языка и литературы. Может быть, и Арзамас, хотя недолго просуществовавший, принес свою долю литературной пользы. Во-первых, это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литературского товарищества. А главное, заседания Арзамаса были сборным местом, куда люди разных возрастов, даже и разных воззрений и мнений по другим, посторонним вопросам сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться.

\* \* \*

\_\_\_\_\_ *П.А.Вяземский об «Арзамасе»:*

Когда образовалось Арзамасское общество, пригласили и В.Л.Пушкина принять в нем участие. При том его уверили, что это общество — род литературного масонства и что при вступлении в ложу нужно подвергнуться некоторым испытаниям довольно тяжелым. Пушкин, который уже давно был настоящим масоном, легко и охотно согласился на все предстоящие искушения. Тут воображение Жуковского разыгралось. Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залогов карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью. Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, чрез которые новобранец должен был пройти. Тут пошли в дело и символ, и *Липецкие Воды* Шаховского, и *Расхищенные Шубы* его, и еще Бог весть что. Барыня-Арзамас требует весь туалет: вот вся славянофильская «Беседа» заочно всполошилась, вспрыгнула с усыпительных кресел и прибежала или притащилась на крестины новорожденного арзамасца. Приводим здесь речи, которые были произнесены при этом торжественном обряде. Они познакомят непосвященных и несведущих с арзамасскими порядками...

*Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина:*

Какое зрелище пред очами моими? Кто сей обремененный толикими шубами страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный В.Л.Пушкин; тот Василий Львович, который снисшел с своею музою, чистою девою Парнаса, в обитель нечистых барышень покушения и вывел ее из сего вертепа неосрамленную...

Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай. Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Мужайся!

Уже ты освобожден от прохладительного удушья чудотворных шуб, и переход твой из одного круга подлунных храмин очищения в другой уже ознаменован великим событием. Ты пришел, увидел и победил, и совесть твоя, несмотря на изнеможенный лик растерзанного врага Арзамаса, спокойна. Так, любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоём все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого арзамасского знака! Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона. Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта...

Принимая с сердечным умилением тебя, любезный товарищ, в недро отечественного Арзамаса, можем ли мы от тебя скрыть таинственное значение обрядов и символов наших? Можем ли оставить на глазах твоих мрачную завесу невежества беседного?..

Вступая в сие святилище, ты на каждом шагу видишь цель и бытописания нашего общества. Ты переносишься в трудные времена, предшествовавшие обновлению благословенного Арзамаса, когда мы скитались в стране чужой, дикой, между гиенами и онаграми, между халдеями Беседы и Академии. На каждом шагу видишь следы претерпленных нами бурь и преодоленных опасностей, прежде нежели мы соорудили ковчег Арзамаса, дабы спастись в нем от потопа Липецкого. С непроницаемою повязкою на глазах блуждал ты по опустевшим чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте славенских периодов, от страницы до страницы вялые свои члены простирающих...

*Ответ Василия Львовича:*

Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертв ли духом и умом тот, кто почитает Омира и Вергилия скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и мидасовы уши...

Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не буду исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание точно так, как каждый из них производит в нашем собрании смех и забаву...

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка*

---

## ***В масонской ложе***

«Я приехал к вам с предложением и поручением, граф. Особа, очень высоко поставленная в нашем братстве, ходатайствовала о том, чтобы вы были приняты в братство ранее срока, и предложила мне быть вашим поручителем. Я за священный долг почитаю исполнение воли этого лица. Желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменщиков?»

Братство свободных, или вольных, каменщиков, куда предлагают вступить Пьеру Безухову, одному из главных героев эпопеи Льва Толстого «Война и мир», — это масонский орден. Его поручитель — граф Вилларский, которого Пьер немного знал по петербургскому светскому обществу. Масоны объявляли себя всемирным братством, причем это было братство тайное, поставившее себе целью вести человечество к достижению рая на земле, золотого века, царства равенства, любви и истины, одним словом, как они говорили, — царства Астреи. Эту цель нельзя достигнуть путем революций, есть только один путь — добровольное самоусовершенствование каждого человека.

Масоны именовали себя вольными каменщиками, строителями духовного храма премудрости в сердцах человеческих. Нужно много трудиться, чтобы обработать дикий камень своей души и превратить его в идеальную форму — куб. Ежедневно, и не днем, когда душа занята делами, а вечером, «пройти весь день» и познать себя «делавшего добро и зло». «Цель испытания самого себя — господство над собою и своими страстями», — написано в одной из главных масонских книг. Это единственный путь самоусовершенствования. Из тьмы масон движется к свету. «Искание света» было первым и обязательным условием для вступления в орден вольных каменщиков, призванных преобразить мир. Человек, не принадлежащий к ордену и не владеющий масонскими тайнами, назывался «профан», а тот, кто желал вступить в ложу, получал имя «ищущий».

«Всю дорогу Вилларский молчал. На вопросы Пьера, что ему нужно делать и как отвечать, Вилларский сказал только, что братья, более его достойные, испытают его и что Пьеру больше ничего не нужно, как говорить правду. Въехав в ворота большого дома, где было помещение ложи, и пройдя по

темной лестнице, они вошли в освещенную небольшую прихожую и сняли шубы. Из передней они прошли в другую комнату. Какой-то человек в странном одеянии показался у двери. Вилларский, выйдя ему навстречу, что-то тихо сказал ему по-французски и подошел к небольшому шкафу, в котором Пьер заметил различные не виданные им одеяния. Взяв из шкафа платок, Вилларский наложил его на глаза Пьеру и завязал узлом сзади, больно захватив в узел его волоса. Потом он пригнул его к себе, поцеловал и, взяв за руку, повел куда-то».

Обряд приема в члены масонской ложи ни у кого не описан так подробно и точно, как у Л.Н.Толстого в его романе. Толстой знал масонов и пользовался сведениями, для нас уже недоступными — ведь обряды чаще всего не записывали. «В «старых» законах под страхом смертного наказания воспрещалось предавать масонские тайности перу, кисти, резцу, допускалась одна только устная передача тайн после предварительной клятвы в хранении молчания», — утверждали знатоки масонства.

«Проведя его шагов десять за руку, Вилларский остановился.

— Что бы ни случилось с вами, — сказал он, — вы должны с мужеством переносить все, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. (Пьер утвердительно отвечал наклоном головы.) Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза, — прибавил Вилларский, — желаю вам мужества и успеха. — И, пожав руку Пьеру, Вилларский вышел».

Орден франкмасонов — free-mason, что означает «свободный каменщик», ведет родословную от очень скромного по происхождению лондонского клуба начала XVIII в. Вначале масоны не были закрытой организацией, они устраивали публичные шествия в своих орденских одеяниях, на их масонские трапезы приходили все, кто хотел. Однако борьба между католиками и протестантами в Англии 1740-х гг. отразилась на масонах, которые в большинстве были католиками. На лондонских улицах появились так называемые «масоны наизнанку» (mock-masons — *англ.*) с их шутовскими шествиями, подражавшими шествиям масонов. Тогда, чтобы спасти свое достоинство от насмешек толпы, масоны вынуждены были прекратить публичные выступления, отказаться от масонских костюмов вне стен ложи и сами свои заседания, свою главную масонскую работу, сделать недоступными для «профанов».

Теперь вся *работа* сосредоточилась в ложе. Ложа — это место, где братья-масоны собираются для совместной работы над «диким камнем своей души». Каждая ложа имела свое название, свои *символы* — масоны называли их «языком ока», «языком души», «внешним чертежом великих сокровенных истин» и придавали им очень большое значение. «Дикий камень — это грубая нравственность, хаос; кубический камень — нравственность обработанная; чертежная доска — планомерность работы, власть доброго примера. Молоток служил для обработки дикого камня, для отсечения ненужного материала, он же означал совесть, искру Божества, тлеющую в мрачной храмине человека, преданного греху. Лопаточка — снисхождение к слабостям сочеловеков и строгость к себе. Все инструменты каменщицкого ремесла означали святость труда. Улей, окруженный роем пчел, — символ трудолюбия, разумного труда, основанного на знании. Ветвь акации — бессмертие; гроб, череп и кости — презрение к смерти и печаль об исчезновении истины».

Одним из главных символов был символ всеобщего единства — *масонская цепь*, когда, оканчивая работу в ложе, все братья брались за руки, перекрещивая особым образом — правая поверх левой — руки перед собой и составляя цепь, которая символически связывала землю и небо.

*Да нашу цепь скрепить во веки;  
Пусть мир падет, иссякнут реки,  
Но цепь священна в небесах,  
В духовном мире будет зрима,  
Крепка, светла, непобедима...*

Не доверяя свои идеи бумаге, масоны широко пользовались символами — тайные знаки, перстни, ковры. Все начиналось с убранства ложи: пол разрисован черно-белыми клетками — они символизируют чередование грустных и радостных дней в жизни человека; семь ступеней, ведущих к алтарю, это и семь грехов, которые нужно победить *ищущему света*, и одновременно семь добродетелей — их нужно воспитать в процессе работы над своей душой. Человек вступает в ложу слепой, он не различает добра и зла — поэтому вновь принимаемому завязывают глаза. Вспомним, как описан прием в масоны Пьера Безухова:

«Пять минут, которые он пробыл с завязанными глазами, показались ему часом. Руки его отекали, ноги подкашивались; ему казалось, что он устал. Он испытывал самые сложные и разнообразные чувства. Ему было и страшно того, что с ним случится, и еще более страшно того, как бы ему не выказать страха... В дверь послышались сильные удары. Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черным-темно: только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел поближе и увидел, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие; то белое, в чем

горела лампада, был человеческий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия: «В начале бе слово и слово бе к Богу», Пьер обошел стол и увидел большой, наполненный чем-то и открытый ящик. Это был гроб с костями».

Масоны говорили: «Каменщик должен всячески вникать в таинственные обряды наших лож, где каждый предмет, каждое слово имеет пространный круг значений, и сие поле расширяется подобно, как восходя на высоту, по мере того как возвышаешься, то видимый нами горизонт распространяется». Сами *вольные каменщики* почитали совершение обрядов очень важным делом. Символические знаки были для них *клейнодами* — волшебной палочкой, с помощью которой масоны постигали тайны природы.

После того как *ищущий света* снимал повязку, в комнату входил один из братьев, *Ритор*, и объяснял сокровенный смысл увиденного:

— Вы посажены были в мрачную храмину, освещенную слабым светом, блистающим сквозь печальные останки тленного человеческого существа, помощью сего малого сияния вы не более увидели, как токмо находящуюся вокруг вас мрачность и в мрачности сей разверстое слово Божие. Может статься, вы вспомнили тут слова Священного Писания: «Свет во тьме светится и тьме его не объять». Человек наружный тленен и мрачен, но внутри его есть некая искра нетленная, придерживающаяся Тому Великому, Всецелому Существо, Которое есть источник жизни и нетления, Которым содержится Вселенная. Вступя к нам в намерении просветиться, при первом шаге получили вы некое изобразительное поучение, что желающий света должен прежде узреть тьму, окружающую его, и, отличив ее от истинного света, обратить к нему все внимание. Повязка, тогда наложенная на ваши глаза, заградила то чувство, которое едва ли не более прочих развлекает наше внимание, дабы вы, устранившись от наружных вещей, сильно действующих на наши чувства, всего себя обратили внутрь себя к источнику вашей жизни и блаженства.

Патроном-покровителем всего ордена свободных каменщиков почитался Иоанн Креститель. Ему посвящены были три первые степени лож, в которых обряды и символы знаменовали страстный призыв к покаянию и самоусовершенствованию. Их пароль: сейте семена царствия света.

Иоанновское масонство, самое распространенное в России, называли голубым — по излюбленному цвету, цвету неба. В убранстве лож голубое сочеталось с золотом, символом солнца, света, добра. Стены в Иоанновской ложе были затянуты голубыми тканями, подвешенными на золотом шнуре, связанном большим кафическим узлом посередине стены, обращенной на восток. При этом Восток у масонов — понятие условное, не географическое, это святое место, куда обращены их мысленные взоры. Золотой шнур завязан кафическим, или морским, узлом — он крепок, и чем сильнее тянуть его в разные стороны, тем туже он затягивается. Кафический узел символизировал крепость масонского братства, нерушимость клятвы. На Востоке, на возвышении о трех ступенях, в ложе помещали жертвенник, а за ним стояло кресло управляющего ложей. Покрывало на жертвеннике голубое с густой золотой бахромой, балдахин, осеняющий престол, и кресло Великого Мастера тоже голубые, усеянные золотыми звездами, среди которых сверкает равносторонний треугольник с именем Великого Зодчего Вселенной — так вольные каменщики называли Бога. На престоле раскрытая Библия — символ мира и Божественной мудрости. На раскрытой книге лежит меч — он словно не дает перевернуться листам.

Здесь же на Книге лежит золотой циркуль, открытый на 60 градусов, — это символ высшего разума. «Расширяйте сами действия свои циркулем разума», — говорилось в Уставе Вольных Каменщиков. Циркуль напоминал каждому брату предназначенный ему круг действий, призывал к братскому единению и обществу. Циркуль считался символом солнца: головка — диск светила, ножки — его лучи.

Третий предмет, который лежал на Книге, — наугольник. Наугольник, лопатка, отвес (ватерпас) — самые необходимые инструменты для каменщика. По ним он проверяет, прямо ли стоит возводимое им сооружение. В данном случае речь идет о духовном строительстве.

На время заседаний и «работ» в ложе «каменщики» обязательно надевали фартуки — их называли «запоны». Запон предохранял масона от всей нечистоты, какая есть в мире, особенно от нечистых помыслов. В Иоанновской ложе было три степени: ученик, подмастерье и мастер. Новопосвященный получал степень ученика, ему полагался простой белый кожаный запон как знак, что профан вступил в братство каменщиков, созидающих великий храм человечества; лопаточку серебряную, неполированную, «ибо отполирует ее прилежное употребление при охранении сердец от нападения расщепляющей силы пороков»; пару белых мужских рукавиц — в напоминание того, что лишь чистыми помыслами, непорочною жизнью можно надеяться возвести храм премудрости; пару женских рукавиц обрядоначальник предлагает передать избраннице сердца, непорочной женщине. Это символы первой степени, ученика. Подмастерье получал фартук, украшенный голубым бантом и кантом, а у мастера фартук имел сложный рисунок, расшитый золотыми и серебряными нитями.

В ложе были строго распределены обязанности, был свой казначей, ритор, страж. У каждой должности был свой нагрудный знак: рог изобилия, книга, меч. Заседание ложи — всегда обряд, причем каждый из действующих лиц знал, что ему предстоит делать. «Как ни была коротка и малозначительна роль, текст ее утверждался управляющим ложею: уцелело много тонких тетрадок XVIII в., прошитых

шелком, скрепленных большими сургучными печатями ложи и управляющего мастера, — писала исследовательница русского масонства Тира Соколовская. Это была необыкновенная женщина, в начале XX в. она «держала» в Петербурге свою ложу. — Чем большею тайною окружалась какая-либо степень и чем труднее был доступ к ней, тем тщательнее оберегались ритуалы и тем меньше доверяли бумаге и перу: их передавали изустно». В масонской песне поется:

*Преславный храм сей подкрепляют  
Премудрость, сила, красота,  
А твердость стен сих составляют  
Любовь, невинность, простота.*

На полу посередине ложи разостлан ковер, украшенный символическим рисунком. Рисунков было много, иногда достаточно сложных. Масон, приехавший в другой город или даже в другую страну, где есть родственные ложи, являлся к братьям, и они во всем помогали ему — советом, деньгами, пристанищем. Но прежде масону устраивали испытание, чтобы узнать, тот ли он, за кого выдает себя. Один из пунктов этого испытания — умение читать масонский ковер. Среди подлинных масонских ковров гостю показывали также ложные, и он должен был уметь различить их.

Над ковром, устлавшим пол ложи, спускается шестиконечная звезда — сложный и один из фундаментальных масонских символов. Она состоит из двух равносторонних треугольников, наложенных друг на друга. Равносторонний треугольник символизировал Вседержителя, Вселенную. Треугольник, повернутый вершиной вниз, означал грешного человека, человека после грехопадения, вершиной вверх — человек до грехопадения. Шестиконечная звезда символизировала единство мира и человека.

В золоченых треугольных подсвечниках зажжено девять свечей. 7, 3, 9 — священные числа. Вокруг ковра — братья в голубых камзолах и белых кожаных запонах, крошечные каменщицы железные лопатки подвешены на белых ремешках к третьей петле камзола, руки в белых перчатках. Управляющего мастера отличает голубая шляпа, украшенная золотым солнцем или белым пером. Запон его подбит и обшит голубым шелком, на запоне нашиты три большие голубые розетки. В петлице камзола на голубой ленточке золотая лопатка, на шее знак власти — ключик слоновой кости, и знак подчинения орденским законам — золотой наугольник. В правой руке круглый молот белой кости. Но вернемся к Пьеру Безухову:

«— В знак повиновения прошу вас раздеться. — Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию ритора. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял штанину на левой ноге выше колена...

Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Вилларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерений Пьер отвечал:

— Да, да, согласен, — и с сияющей улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая назад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь открылась перед ними. Чей-то басистый голос (глаза Пьера все были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился и т.п. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то *ищущим*, то *страждущим*, то *требующим* и различно стучали при этом молотками и шпагами».

Управляющий мастер предупреждает ищущего о важности произнесенного обета и восклицает: «Преклоните колена пред жертвенником нашим, подайте правую руку». Левым обнаженным коленом испытываемый становится на подушку, лежащую пред жертвенником, правую руку возлагает на открытое Евангелие. К обнаженной груди его приставляют открытый циркуль. Испытуемый произносит клятву быть верным заветам ордена и свято хранить вверенные им тайны. Его поднимают, к языку прикладывают печать молчаливости. «Узрите нас впервые», — торжественно говорит Великий Мастер. Повязку снимают, и в полутьме ложи, освещенный лишь пламенем сжигаемого на жертвеннике спирта, посвящаемый видит блестящие мечи, устремленные на него. «Видите все устремленные на вас орудия наши, на случай, ежели паче чаяния измените обязанностям? Не в том намерении, чтобы думали мы когда обогреть руки свои кровию вашей, суд страшнейший того ожидает вас. Казнь незаконных в руке Божией». Трижды все братья повторяют последние слова. Посвящаемому вновь завязывают глаза, и ложа ярко освещается, пока Великий Мастер говорит: «Сколь мщение ужасно преступнику, столь обрадователен благочестивому свет. Да узрит свет!» Повязка снята; вспыхивают ярким светом ракеты — фальшфейеры, как их тогда называли, и быстро угасают при возгласе: «Тако угасает свет и все утехи с ним, но хранящий волю Божию пребывает вовеки!» Все братья обращают мечи вверх острием, высоко подняв их над головами:

«Мы всякое земное величие, все чувственные забавы и утехы почитаем ничем, не большей цены и прочности, как оное, на миг осенившее вас пламя и исчезнувший уже по нем дым.

Обет ваш верности запечатлейте, соединив кровь вашу с кровию всех братий».

Вновь повергают испытуемого на колени перед жертвенником. Сам он должен приставить циркуль к обнаженной груди своей, обрядоначальник подставляет кровавую чашу, а Мастер, ударяя по головке циркуля молотком, трижды говорит: «Во имя Великого Строителя мира; в силу данной мне власти и достоинства моего; по согласию всех присутствующих здесь и по всему земному шару рассеянных братий, принимаю я вас в свободные каменщики ученики».

*Чувство истины живое  
Вас в священный храм влекло;  
О, стремление святое!  
Сколь ты чисто, сколь светло!  
О, восторги несравненны,  
Каковых не знает мир.  
Чувства здесь любви бесценны  
Устрояют светлый пир.*

Масонство XVIII—XIX вв. явление очень сложное. О нем написано немало книг, но даже самые большие знатоки масонства признавались, что его познать невозможно. Свои обряды, свои символы масоны тщательно хранили; значения каждого символа были как слоеный пирог — чем более высокую степень приобретал масон, тем больше значений одного и того же символа становилось ему известно. И он никогда не был уверен в абсолютности своего знания. Для человека пушкинского времени масонство не просто игра. Вольные каменщики утверждали, что «масонство — это воспитание взрослых людей». Люди искали такого идеального жизненного пространства, где можно было бы осуществить мечту о всеобщем братстве, о справедливости, о достойной оценке нравственно совершенного человека независимо от его национальности, религиозной принадлежности и социального положения. Недаром Пушкин вступил в Кишиневе в масонскую ложу (как он сам утверждал, из-за нее-то и было запрещено масонство в России); заслуживает внимания факт, что почти все декабристы были членами масонских лож. Нет, масонство — это совсем не простое явление, а значительный факт культуры пушкинского времени.

\* \* \*

В 1788 г., в царствование Екатерины II было гонение на мартинистов (так называли масонов). Не только ложи были уничтожены, но и главнейшие члены оных сосланы в разные губернии по своим деревням, по подозрению, что не было ли у них тайного сношения с якобинцами и другими обществами революционной Франции, а еще более преданности многих членов к наследнику престола; утверждает сие мнение, что когда Павел I воцарился, то тотчас всех таковых повелел возвратить, многим из них явил свою милость и определил к должностям...

Начало в России обществ (исключая ложи масонские) восприяло при главнокомандующем графе З.Г.Чернышеве под названием филантропического. Оно имело в виду распространить просвещение в России и все, что может клониться к ее пользе. Главнокомандующий и все знатное дворянство были членами оною. Собирались один раз в месяц в доме П.А.Татищева, однако ж не осталось никакого памятника сего общества, который свидетельствовал бы в пользу оною; в одно полное собрание получен запечатанный листок на имя сего общества. Президент приказал секретарю прочесть ту бумагу, которой содержание было, что как общество занимается блаженством рода человеческого и разрешением важнейших проблем, то представляет им на заключение, от чего счастье в картах, от съемки или от тасовки. Сия маловажная насмешка сделала то, что сие собрание было последнее, и так оно рушилось...

После сего общества составилось другое, которого предмет был: приуготовить людей для государственных должностей и духовного звания; подал к тому мнение г. Новиков, человек предприимчивый и дальновидного ума... Наняли особый дом, определили учить их лучших профессоров, стремясь возбудить в них страсть к изящному. В числе профессоров был Шварц, пылкого ума; общество поручило ему отправиться в Швецию, чтобы он там вошел в масонские ложи и по образцу тех учредил в России, которые до того были только для увеселения, а вместо того обратились бы к важнейшим предметам нравственности и христианской добродетели. Шварц в Швеции был принят в ложу принца Зюдерманландского, брата короля Густава III. Получил от него диплом для заведения в России таковых лож, которые должны были все зависеть от главного мастера, принца Зюдерманландского, шведской Северной ложи.

По возвращении Шварца открылись разные ложи в Москве и частию в других губерниях... Можно сказать, что с тех пор просвещение и словесность в России возымели сильные и быстрые успехи. Как сказано выше, императрица Екатерина уничтожила секту мартинистскую...

В Мысленице (близ Кракова) случилось следующее. Австрийский офицер, стоявший там со своим полком, случайно познакомился с нашим семейством, и с первого же (кажется) раза взаимные отношения между ним и нашим отцом установились как бы между старыми знакомыми. Это крайне удивило всех наших старших, и они впоследствии узнали, что Австриец и наш отец обменялись масонскими знаками, незаметными для непосвященных в эти тайны.

М.Д.Бутурлин. Воспоминания. 1817

Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали во время оно войти в масонское общество. «Благодарю, — отвечал он, — знаю, что общество делится на две ступени: на одной *датусы*, а на другой *биратусы*. *Датусом* быть не хочу, а *биратусом* не способен».

П.А.Вяземский. Старая записная книжка

## Дуэли

«Яприсутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты; время этому придет. Во всяком случае причиной была сущая безделица, да и дуэли, как говорится, давно отшумели и вышли из моды, и поэтому все происходящее напоминало игру и не могло не вызвать улыбки.

Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены и этот индюк возьмет да и грянет взаправду. Однако оба пистолета грянули в осеннее небо, и поединок закончился. Соперники протянули друг другу руки. При этом конногвардеец глядел все так же грозно, а князь попытался улыбнуться, скривил губы и густо покраснел.

Пора было расходиться. В этом пустынном месте, как ни было оно пустынно, все же могли появиться посторонние люди, а так как им всегда до всего есть дело, то встреча с ними не сулила ничего хорошего.

Стояла трогательная тишина позднего октябрьского утра. Минувший поединок казался пустой фантазией.

Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медленно и бесшумно покатила по желтой траве».

Так описывает дуэль Булат Окуджава в романе «Путешествие дилетантов». Почти фарс и вовсе не героическое событие... Но при слове *дуэль* вспоминается совсем другое: отчаянная храбрость и благородство д'Артаньяна, дружба мушкетеров, веселые их шутки и совсем не страшные убийства глупых неповоротливых гвардейцев кардинала. Во Франции XVII в. дуэли случались на каждом шагу — в России в то время о них не слышали. Дуэли пытались запрещать. В конце XVII в. в Германии был издан имперский закон: «Право судить и наказывать за преступление предоставлено Богом лишь одним государям. Поэтому если кто вызовет своего противника на дуэль на шпагах или пистолетах, пешим или конным, то будет приговорен к смертной казни, в каком бы чине он ни состоял. Труп его останется висеть на позорной виселице, имущество его будет конфисковано».

В «Уставе воинском» Петра I появилась глава «Патент о поединках и начинании ссор» — русский император тоже запретил дуэли: распоряжаться жизнью подданных и судить их мог только царь. В «Уставе» строго определена вина каждого дуэлянта: «Ежели случится, что двое на назначенное место выедут и один против другого шпаги обнажат, то Мы повелеваем таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертию казнить и оных пожитки отписать... Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешены да будут».

Позже это положение «Устава» было дополнено: «Все вызовы, драки и поединки через сие наистрожайше запрещаются таким образом, чтобы никто, хотя б кто он ни был, высокого или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хоть другой кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден или раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или шпагах биться. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так кто и выйдет, иметь быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя бы оба не ранены от того отойдут. И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить... Ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта (или посредственника) одного купно с секундantom, ежели пойдут и захотят на поединке биться, таким же образом, как и в



прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит».

Екатерина II в своем «Наказе» подтвердила неприятие дуэли, но выразилась гораздо мягче Петра: «О поединках небесполезно повторить здесь то, что утверждают многие и что другие написали: что самое лучшее средство предупредить сии преступления — есть наказывать наступателя, сиречь того, кто полагает случай к поединку, а невиноватым объявить принужденного защищать честь свою, не давши к тому никакой причины».

Петровский «Указ» не был отменен ни во времена Александра I, ни при Николае I, но никогда не исполнялся. Дуэлянта приговаривали к смерти, а потом казнь заменяли разжалованием в солдаты и ссылкой — чаще всего на Кавказ, «под пули горцев». Впрочем, в глазах общества такой человек «с историей» выглядел героем, и барышни влюблялись в молодых страдальцев, у кого, по словам лермонтовского Печорина, «под толстой шинелью бьется сердце страстное и благородное».

Эти люди были бунтарями — недаром Николай I так ненавидел дуэли. Ведь человек, щепетильный к понятиям своей чести, — это *личность*. А личность в самодержавном государстве — это опасность политическая. Личность не позволит собою управлять безотчетно — такой человек сам привык отвечать за свои поступки. Известный французский мыслитель XVII в. Шарль Монтескье прямо связывал запрет дуэлей с политическими видами абсолютной монархии: «Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом; там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем. Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота?»

Дуэль — это не драка и не убийство. Поединок чести основан на соблюдении строгих правил дуэльного кодекса, который утверждал: «Дуэль не должна ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах служить средством удовлетворения материальных интересов одного человека или какой-нибудь группы людей, оставаясь всегда исключительно орудием удовлетворения интересов чести». В кодексе были закреплены правила, которые в России, в отличие от Франции, например, не были записаны и долго существовали как обычаи. Цель этих правил — поставить противников в равные условия, чтобы ни один из них не имел преимуществ. Во Франции дуэль чаще всего происходила на шпагах, и правила дуэльные были гораздо мягче, чем в России. Русские дрались почти всегда на пистолетах и стрелялись на расстоянии, невозможном для французов. Во Франции барьер ставили на 30—35 шагов, в России — на 10—12 или еще меньше, смотря по тяжести нанесенного оскорбления. Здесь уж было не до шуток, какими обменивались французские дуэлянты. Здесь часто было недостаточно продемонстрировать только готовность к поединку. Нередким был смертельный исход — для одного из противников, а иногда и обоих.

Трагически кончилась так называемая «четверная» дуэль за танцовщицу Истомина между Завадовским — Шереметевым и Якубовичем — Грибоедовым. Это яркий пример «романтической» дуэли, поводом к ней послужила ревность. Участник преддуэльных переговоров и свидетель дуэли доктор Иона так рассказывал: «Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с ней запросто, по-приятельски и короткому знакомству. Переехавши к Завадовскому, Грибоедов после представления взял по старой памяти Истомина в свою карету и увез к себе, в дом Завадовского. Как в этот же вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают. Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметеву и донес ему о случившемся».

Истомина прожила у Завадовского двое суток, что взбесило В.Шереметева, хотя к этому времени они были в ссоре и в разъезде. Между бывшими друзьями возникла ссора, подогретая Якубовичем, известным бретером — так называли человека, готового стреляться по каждому пустяку, подвергая опасности и свою и чужую жизнь. По воспоминаниям близкого друга Грибоедова, Жандра, Шереметев просил у Якубовича совета, что ему делать. «Что делать, — ответил тот, — очень понятно: драться, разумеется, надо, но теперь главный вопрос состоит в том, как и с кем. Истомина твоя была у Завадовского, но привез ее туда Грибоедов — это два, стало быть, тут два лица, требующие пули, а из этого выходит, что для того, чтобы никому не было обидно, мы, при сей верной оказии, составим *une partie carrée* (четверную дуэль — *фр.*)».

Доктор Ион вспоминал: «Барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского: пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника... Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву.

— Я буду стрелять в ногу, — сказал Завадовский.

— Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя, — сказал ему Шереметев, услышав эти переговоры. — Зарядите мои пистолеты, — прибавил он, обращаясь к своему секунданту.

Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не навывлет, а остановилась в другом боку. Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко».

Образ умирающего Шереметева всю жизнь преследовал Грибоедова. Его дуэль с Якубовичем была отложена: они стрелялись уже на Кавказе, куда Якубович был вскоре после дуэли сослан. Грибоедов промахнулся, Якубович прострелил Грибоедову левую руку.

Поведение человека во время дуэли, как и на поле сражения, создавало ему репутацию храбреца или труса. Самым большим шиком почиталась демонстрация равнодушия, даже презрения к смерти. В пьесе Ростана «Сирано де Бержерак» герой во время дуэли сочиняет стихотворение. В повести Пушкина «Выстрел» граф явился к барьеру с черешнями, которые он преспокойно ел под дулом пистолета. Это взбесило противника, отложившего свой выстрел до случая, когда граф будет больше дорожить своей жизнью. Подобный случай рассказывали о самом Пушкине:

«В Кишиневе Пушкин имел две дуэли. Одну из-за карт с каким-то офицером. Дуэль была оригинальная. Пушкин явился с черешнями и, пока офицер целился в него, преспокойно кушал ягоды. Офицер стрелял первым, но не попал. Наступила очередь Пушкина. Вместо выстрела поэт спросил:

— Довольны ли вы?

И когда дуэлянт бросился к Пушкину в объятия, он отстранил его и со словами — «это лишнее» спокойно удалился».

Пушкину в это время было всего двадцать лет. В Кишиневе он оказался окружен военными, многие из которых прошли поля сражений 1812 г., а ему, молодому человеку, еще надо было доказать свою храбрость, свое презрение к смерти. Он выстоял под дулом пистолета, но отказался от своего выстрела. По правилам дуэльной чести отказаться от выстрела или выстрелить в воздух мог только тот, кто стрелял вторым — ведь он уже доказал свою смелость, — и только в том случае, когда оскорбление было несерьезным. Зато тот, кто струсил во время поединка, наказывался общественным презрением, и уже никто в обществе не примет от него вызов — за ним больше не признавали прав чести. В повести Николая Бестужева «Русский в Париже 1814 г.» ее герой Глинский защищает честь русского офицера на дуэли с французом, кавалером ордена Почетного легиона:

«Все дуэли похожи одна на другую. Когда приехали на место, секунданты отмерили от общего барьера, для которого была воткнута в землю сабля, по 10 шагов в обе стороны, поставили противников друг против друга, дали им в руки пистолеты и сказали: «Начинайте!» В это время Глинский, сделав шаг вперед, остановился и сказал своему противнику: «У вас выкатилась пуля из вашего пистолета». В самом деле, пуля лежала у ног его; секунданты взяли пистолет, чтоб снова зарядить его — и это ли обстоятельство, которого никто не заметил и которое доказывало благородство Глинского, или мысль о том, какой опасности подвергался кавалер Почетного легиона, стреляя пустым порохом и подставляя грудь свою на верную смерть, — или оба эти ощущения вместе, только они видимо поколебали храбрость француза. Он побледнел, переступал с ноги на ногу, и пока длилось освидетельствование пистолета, не высыпался ли вместе с пулей и порох, разряжанье и новый заряд, — лицо его во все продолжение времени быстро изменяло внутренним чувствованиям. Правда, что нет ничего мучительнее, как долгие приготовления к казни. Наконец, пистолеты снова в руках противников, и со словами «начинайте!» Глинский поднял пистолет, прямо подошел к барьеру, но француз, пялясь на каждом полшаге, выстрелил не более как в двух шагах от своего места. Глинский пошатнулся и схватил себя за левую руку. «Это ничего, — сказал он, — теперь пожалуйста ко мне поближе, господин кавалер Почетного легиона», но кавалер не в состоянии был этого сделать: мысль о том, что жизнь его теперь целиком зависела от Глинского, отняла у него последние силы. Колени затряслись, пистолет выпал из руки, и он почти повалился на руки секундантов, подбежавших поддержать его.

— Это не дуэль... это убийство! — бормотал он несколько раз едва внятным голосом.

Глинский опустил пистолет.

— Я знал это наперед, милостивые государи, — сказал он, — истинно храбрый человек никогда не бывает дерзок. Теперь ему довольно этого наказания; но в другой раз я употреблю оружие, которое наведет менее страха, но сделает больше пользы».

Дуэль начиналась с того, что человек, считающий себя оскорбленным и требующий удовлетворения, то есть сатисфакции, посылал противнику вызов, или картель. По принятому ритуалу, вызов мог быть или сделан на месте, или его присылали в письменном виде — картель передавал секундант. Онегину вызов Ленского привез Зарецкий, секундант оскорбленного поэта.

После вызова противники больше не общаются друг с другом — условия дуэли обсуждают секунданты. Они улаживают о месте и времени поединка, приобретают и проверяют дуэльные пистолеты. Лучшими в пушкинское время считали пистолеты парижского оружейника Лепажа, но пули к ним опытные дуэлянты предпочитали отливать сами, а не пользоваться готовыми. Надо было еще позаботиться о карете — достаточно вместительной, чтобы довезти раненого, и о докторе — учитывая запреты на дуэль и уголовную ответственность, которая грозила каждому участнику или свидетелю поединка, это было делом нелегким. Александр Бестужев-Марлинский так описывает подготовку к дуэли в повести «Испытание»:

«Старый слуга Валериан плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обреза́вал, глади́л и примеря́л пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine, — сказал артиллерист входящему, — все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа: мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностию.

— О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полстволо́ла, и, как мы ни бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог. И хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни, — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у вас лекарь, господин ротмистр?

— Я вчера посетил двоих — и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности — и кончали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора — величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, — и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но, что удивительнее всего, — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству и медицине».

Условия дуэли могли быть разные. Противники договаривались об обмене двумя или тремя выстрелами, или — чаще всего — дуэль продолжалась «до первой крови». В таком случае достаточно было слегка оцарапать противника — и кровь смывала оскорбление. Все это было хорошо известно читателям пушкинского времени — они нередко бывали или участниками, или свидетелями поединков. А нам уже надо многие вещи, очевидные для современников, объяснять.

Ю.М.Лотман в своих статьях о «Евгении Онегине» и о русской культуре, прокомментировал ситуацию одной из самых известных «литературных» дуэлей — дуэль Онегина с Ленским. Почему Онегин, искренно любивший своего юного друга, согласился на этот поединок? Почему он стрелял первым, если не очень дорожил жизнью и совсем не хотел убивать Ленского?

Онегин принял вызов, он не мог рисковать своей честью — ведь секундант Ленского Зарецкий был известный бретер, болтун и сплетник. Он мог ославить отказавшегося от поединка трусом, чего не мог допустить щепетильный в понятиях чести Онегин. Наш герой оказался «невольником чести».

Но Онегин сделал все, чтобы поединок не состоялся.

Пушкин представляет читателям Зарецкого как знатока дуэльных правил и «педанта» в вопросах чести. Однако, подталкивая друзей к поединку, Зарецкий нарушил основные пункты неписаного дуэльного кодекса: он не предложил противникам примириться, когда передавал Онегину вызов Ленского, а это — прямая обязанность секунданта.

Онегин опоздал на место дуэли более чем на час — по всем дуэльным правилам опоздание больше чем на четверть часа не допускалось — поединок считался не состоявшимся. Онегин уже прямо рисковал своей честью — его могли обвинить в том, что он трусил; наконец, в дуэли требовалось социальное равенство не только противников, но и секундантов. Не говоря о том, что секунданты не были назначены, стало быть, некому было обговаривать условия дуэли — прямое нарушение! — Онегин прямо на месте предложил в секунданты своего слугу-француза. А это уже прямое оскорбление дворянину Зарецкому.

Онегин стрелял на ходу — не потому, что он боялся выстрела противника, — он торопился потерять свое право первого выстрела, причем в самых невыгодных для себя обстоятельствах. Пистолеты Лепажа прекрасно «прилажены» по руке — говорят, они так удобно ложатся в руку, как будто служат ее естественным продолжением, и они быют почти без промаха, но только если стрелять с места. На ходу даже опытный стрелок практически никогда не попадает в цель, потому что эти пистолеты имели ствол гладкий,

без нарезки, и пуля, не получая первоначального вращения, легко отклонялась от цели. Современникам было понятно, что выстрел Онегина стал смертельным для Ленского только по роковой случайности. Онегин страшно переживал гибель своего юного друга, не мог оставаться в тех местах, «где окровавленная тень // Ему являлась каждый день»...

*Приятно дерзкой эпиграммой  
Взбесить оплошного врага;  
Приятно зреть, как он, упрямо  
Склонив бодливые рога,  
Невольно в зеркало глядится  
И узнавать себя стыдится;  
Приятней, если он, друзья,  
Завоет сдуру: это я!  
Еще приятнее в молчанье  
Ему готовить честный гроб  
И тихо целить в бледный лоб  
На благородном расстоянии;  
Но отослать его к отцам  
Едва ль приятно будет вам.*

В разное время отношение к дуэли менялось. В середине XVIII в. такое распоряжение своей жизнью представлялось нерациональным, неразумным; в период романтизма дуэли случаются очень часто — как говорил Пушкин, все, что грозит гибелью, для человека особенно привлекательно. Главное даже не в лихости дуэлянтов — это протест против подавленного положения человеческой личности, доказательство, что есть ценности, которые дороже самой жизни и которые неподвластны государству, — честь, человеческое достоинство. При отсутствии законов, охраняющих личность, для порядочного человека дуэль оказывалась единственным средством защитить свою честь и честь своих близких.

\* \* \*

*Условия дуэли, подписанные секундантами  
Пушкина и Дантеса  
(подлинник на французском языке)*

1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять.
3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огнем своего противника подвергся на том же самом расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий.

## ***Тройка, семерка, туз...***

«Карточная игра и парад — две основные модели интересующей нас эпохи», — писал Ю.М.Лотман в «Беседах о русской культуре». Дядюшка Пушкина Василий Львович шутливо утверждал:

*...Без карт не можно жить.  
Кто ими в обществе себя не занимает,  
Воспитан дурно тот и скучен всем бывает.*

«Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека, —

писал П.А.Вяземский в «Старой записной книжке». — «Он приятный игрок» — такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Приметы упадка умственных сил человека от болезни, от лет — не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но начини игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасения своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием «Физиология колоды карт».

Игра в карты, как и шахматы, возникла на Востоке очень давно. Она пришла в Европу из арабских стран. Вероятно, сразу же карты стали использовать для гаданий, недаром в Италии карты называли *науби*, что означает по-арабски *пророк*. Карты появились сначала в Англии, а в XIII в. их завезли во Францию: живописец Жакелин Гренгофер, шут французского короля, нарисовал карты для забавы слабоумного короля Карла VI. Это были необычные карты: в колоде только один король — сам Карл VI, остальные герцоги — даже в картах не решались нарушить представление о монархическом строе! Дамы означали фрейлины королевны, и все изображенные лица носили исторические имена. Позже в Германии к валетам, дамам и королю прибавили рыцарей. Эти карты не были предназначены для игры, но люди очень изобретательны. Просто рассматривание скоро наскучило, и тогда появились первые настоящие азартные игры. Поскольку в картах было еще мало фигур, ставку делали на определенную масть. Выигрывал тот, у кого выпадало подряд четыре карты одной масти. Постепенно карты усовершенствовались, люди изобрели много разных карточных игр, но азарт ставок — теперь уже не на масть, а на определенную карту — продолжал привлекать игроков, суля им быстрое обогащение.

Сколько ни запрещали азартные игры, угрожая самыми страшными карами, они очень быстро распространились по всей Европе. В России карты появились уже в XVI в. наряду с игрой в зернь, то есть в кости, и были известны уже при дворе царя Алексея Михайловича. Петр I попробовал бороться с азартными играми: он указом запретил в армии и во флоте проигрывать более чем один рубль — по тем временам большие деньги. Екатерина II издала указ, запрещающий платить карточные долги по векселям или давать деньги для выплаты таких долгов. Бесполезно! Попробовали «власть употребить»: в дом, где шла азартная игра, вдруг являлись слуги закона и арестовывали всех играющих. Об этом Бантыш-Каменский писал князю Куракину: «У нас сильный идет о картежных академиков перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову; действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы...» А через несколько дней: «Академики картежные, видя крепкий за собой присмотр, многие по деревням скрылись...»

Азартные игры не прекращались ни при Павле, ни при Александре I. Особенно карты распространились среди гвардейских полков. Сильная игра шла в «Красном кабаке», который содержала немка-маркитантка, вся в медалях и крестах на груди. Рассказывали, что использованных игральных карт в кабаке накапливалось столько, что каждый день их собирали лопатами и увозили возами. Остановить игроков не представлялось возможным, современник утверждал: «Писать против игры есть то же, что сочинять против фортуны». Появился даже особый жаргон, на котором объяснялись игроки. Ф.Булгарин вспоминал: «Ни одного немецкого трактира или так называемого «ресторана» не было в Петергофе, а в Стрельне один только трактир был на почтовой станции, где собирался весь народ, любивший, как говорил в шутку наш полковник... «сушить хрусталь и попотеть на листе». Тут был бессменный совет царя Фараона, т.е. тут метали банк с одного утра до другого!»

Смысл игры в «фараон» очень прост. Герой повести «Жизнь игрока, описанная им самим», изданной в Москве в 1826—1827 гг., так объясняет партнеру, который не знал, как «ставить карту»: «Это очень просто, — возразил я, — выдерни наудачу какую-нибудь, положи ее на стол, а на нее наклади сколько хочешь денег. Я из другой колоды буду метать две кучки; когда карта, подобная твоей, выйдет на мою сторону, то я беру твои деньги; а когда выпадет на твою, то ты получишь от меня столько же, сколько ставил на свою карту». Сторона банкомета правая, сторона понтера левая. Чтобы избежать плутовства, для каждой игры распечатывали новую колоду. Колода полагалась каждому игроку и банкомету. Опытные игроки вскрывали колоду, заклеенную крест-накрест, с особым шиком: колоду брали в левую руку, крепко сжимали, так что заклейка с треском лопалась, потом жестом фокусника тасовали карты, «переливая» колоду из левой руки в правую. По тому, как игрок брал карты в руки, сразу виден был навык, его принадлежность к клану «своих».

Играли за четырехугольным столом, покрытым зеленым сукном, такие столы называли ломберными. Возле каждого игрока лежали мел и щеточка — мелком тут же, на зеленом сукне стола, делались расчеты, записывали ставки, ненужное стиралось щеточкой. Возле каждого игрока стопки золотых монет, на столе зажженные канделябры, за окном ночь... Такова фантастическая картина карточной игры.

Использованную колоду, после прохождения одной тальи, или пульки, кидали под стол — потом лакеи соберут колоды и продадут их в свою пользу мещанам, для игры в дурачки и прочие забавы. Иногда под стол, вместе с использованными картами, падали деньги — их не принято было подбирать, считалось

дурным тоном, а еще из суеверия. Рассказывали анекдот, как Афанасий Фет во время карточной игры нагнулся, чтобы поднять небольшого достоинства ассигнацию, которую уронил, а Лев Толстой, его приятель, запалив у свечи сотенную бумажку, посветил ему, чтобы облегчить поиски.

Петр Андреевич Вяземский вспоминал, какое большое место в жизни занимала игра в карты: «Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты — одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается страсть к игре, но к игре так называемой азартной. Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин во время пребывания своего в Южной России куда-то ездил за несколько верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою».

Кроме азартных, были игры коммерческие. Известная писательница Жанлис писала в своем «Критическом и систематическом словаре придворного этикета»: «Будем надеяться, что хозяйки гостинных проявят достаточно достоинства, чтобы не потерпеть у себя азартных игр: более чем достаточно разрешить бильярд и вист, которые за последние десять — двенадцать лет сделались значительно более денежными играми, приближаясь к азартным и прибавив бесчисленное число испортивших их новшеств. Почтенный пикет единственный остался нетронутым в своей первородной чистоте — недаром он теперь в небольшом почете».

Вист, пикет — это коммерческие игры, построенные по сложным правилам. Игроки в таких играх могли попытаться просчитать свои ходы, выработать стратегию, словом, эти игры предполагали не столько азарт, сколько удовольствие самого состязания. Ставки в этих играх были невысокие, и считалось, что в них проиграться невозможно. Напротив, в азартной игре невозможно ничего рассчитать. Вяземский писал: «Подобная игра, род битвы на жизнь и на смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия — это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать».

Знаменитые выигрыши и проигрыши оставались в памяти, становились легендами, о них рассказывали. С.П.Жихарев описал историю одного из ряда вон выходящего проигрыша в своем дневнике 8 марта 1807 г.: «Вот как описывает очевидец молодецкий проигрыш и еще более молодецкий отыгрыш нашего Л.Д.Измайлова. Он понтировал у князя У., державшего огромный банк вместе с князем Ш. и многими другими дольщиками. Лев Дмитриевич приехал с какого-то обеда с огромною свитою своих рязанских приверженцев, в числе которых, разумеется, был и Кобяков, родитель моего приятеля, поставщика переводных опер. Войдя в залу, Лев Дмитриевич сел в некотором отдалении от стола, на котором метали банк, и задремал. Банкомет спросил его, не вздумает ли он поставить карты. Измайлов не отвечал и продолжал дремать. Банкомет возвысил голос и спросил громче прежнего: «Не поставите ли и вы карточку?» Измайлов очнулся и, подойдя к столу, схватил первую попавшуюся ему карту, поставил ее темною и сказал: «Бейте пятьдесят тысяч рублей». Банкомет положил карты на стол и стал советоваться с товарищами. «Почему же не бить? — сказал князь Ш. — Карта глупа, а не бивши не убьешь». Князь У. взял карты и соника убил даму. Измайлов не переменялся в лице, отошел от стола и сказал только: «Тасуйте карты; я сниму сам». Банкомет стасовал карты и посоветовался еще раз с товарищами. Измайлов подошел опять к столу и велел прокинуть. Князь У. прокинул. «Фоска идет 50 000», и по втором абцуге Измайлов добавил 50 000 мазу. У банкмета затряслись руки, и он взглянул на товарища так жалостно, что князь Ш., не выдержав, усмехнулся и сказал ему: «Ну что ж? Знай свое, мечи да и только». Банкомет повиновался, и чрез несколько абцугов трефовая десятка проиграла Измайлову. Окружающие его, Кобяков, Шаховской и другие, стали шептать ему на ухо, что не перестать ли, потому что, кажется, не везет; но этого довольно было, чтоб совершенно взволновать Измайлова, который все любит делать наперекор другим; он схватил новые карты, выдернул из середины червонную двойку и сказал: «Полтора ста». Банкомет помертвел и остоленел; минуты две продолжалась его нерешимость, бить или не бить страшную карту, но князь Ш., искусный пользоваться благосклонностью фортуны, опять ободрил своего собрата: «Чего испугался? Не свои бьешь». Князь У. заметал: долго не выходила поставленная карта, и все присутствующие оставались в каком-то необыкновенно томительном ожидании, устремля неподвижные взгляды на роковую карту, одиноко белевшуюся на огромном зеленом столе, потому что другие понтеры играть перестали. Наконец князь У., против обыкновения своего, стал метать, не закрывая карт своей стороны, и червонная двойка упала направо. «Ух!» — вскрикнул банкомет. «Ух!» — повторили его товарищи. «Ух!» — возгласила свита Измайлова, но сам он, не изменившись в лице и не смутившись нимало, отошел от стола, взял шляпу, поклонился хозяевам и промолвил: «До завтра, господа: утро вечера мудренее», — вышел вон из залы гораздо бодрее, нежели вошел в нее. Тут начались совещания: надобно ли будет на другой день продолжать метать ему банк или удовольствоваться одним настоящим выигрышем. Большинством голосов присудили метать до миллиона, но проигрывать не более настоящего выигрыша».

Игра в «фараон» не допускала шуток. Банкомет метал карты направо и налево, а понтеры, бледные от волнения, напряженно следили за его движениями. Когда выпадала поставленная карта, талия считалась конченной. Игроки говорили: «прокинуть талию», то есть сыграть одну игру. Реплики, которыми обмениваются играющие, самые необходимые, при этом надо еще научиться понимать их игрецкую терминологию. Можно, например, играть семплом — так назывался небольшой куш, простая ставка. Загнуть угол карты — загнуть пароли — означало увеличение ставки вдвое, загнуть два угла пароли преувеличить ставку в четыре раза. Играть мирандолом означало играть одними и теми же кушами, не увеличивая ставки, играть в дублет — не отделять ставку от выигрыша, а пускать вдвое. Игрок пытался отыгаться — не платил проигрыш, но без конца увеличивал ставки, как в случае с Измайловым, огромные проигрыши которого испугали банкомета.

Но история на этом не кончилась. Измайлов явился и на следующий день. С.П.Жихарев рассказывал: «...Долго продолжалась игра, но Измайлов как будто не решался принять в ней участие. Только после ужина придвинулся он к столу и поставил на две карты 75 тысяч рублей. Банкомет был бодрее и уже без робости метал карты. Обе карты выиграли Измайлову; он загнул их и сказал: «На следующую талию». Князь У. стасовал карты и приготовился метать. Измайлов поставил две новые карты и, не взглянув на них, загнул каждую мирандолом. По второму абцигу он вскрыл одну карту, которая оказалась десяткою и уж выигравшею соника; он перегнул ее и, сказав: «По прокидке», — вскрыл меж тем другую карту, которая тоже оказалась десяткою и, следовательно, также выигравшею, он перегнул ее и положил на первую очень покойно, как будто дело шло о десятке рублей, а не о Деднове (знаменитое село на Оке, принадлежавшее Измайлову), с которым он, в случае дальнейшего проигрыша, решился расстаться. У князя У. заходили руки, но делать было нечего: карты поставлены мирандолом и отступаться не было возможности. После нескольких абцугов десятка опять выиграла: банкомет бросил карты и встал из-за стола, а Измайлов прехладнокровно предложил загнуть еще мирандоль, но банкометы не согласились. «Ну, так мы квиты», — сказал Измайлов и тотчас же уехал домой...»

Выигрыши и проигрыши бывали огромные — за карточным столом составлялись и рушились состояния. Известна скандальная история, на шумевшая в Москве в 1802 г., когда Александр Николаевич Голицын, картежник и мот, проиграл свою жену, княгиню Марию Гавриловну, графу Льву Кирилловичу Разумовскому, сыну гетмана, масону и меценату. Последовал развод и второе замужество княгини при живом муже. Это был скандал, в свете его обсуждали и возмущались — не мужем, проигравшим жену в карты, а поведением жены, осмелившейся не только вторично выйти замуж, но и быть счастливой во втором браке. Все толки прекратил император Александр: на балу он пригласил Марию Гавриловну на танец и публично назвал ее графиней. После этого светское общество признало ее брак. Впрочем, князь Голицын был не в обиде на своего прежнего приятеля и продолжал бывать в доме графа Льва и своей бывшей жены, а случай этот, кажется, дал толчок поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша». Старый казначей проигрывает улану, влюбленному в его жену, все, что у него есть, и под конец просит позволения «лишь талью прометнуть одну», чтоб отыграть свое имя иль «проиграть уж и жену».

*Недолго битва продолжалась;  
Улан отчаянно играл;  
Над стариком судьба смеялась —  
И жребий выпал... час настал...  
Тогда Авдотья Николавна,  
Встав с кресел, медленно и плавно  
К столу в молчаньи подошла —  
Но только цвет ее чела  
Был страшно бледен. Обомлела  
Толпа, — все ждут чего-нибудь —  
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!  
Она на мужа посмотрела  
И бросила ему в лицо  
Свое венчальное кольцо.*

Мечта о мгновенном обогащении или жажда острых ощущений, жажда борьбы с Судьбой, две одинаково сильные страсти, — толкали людей к игорному столу. Как заметил Ю.М.Лотман: «...отсутствие свободы в действительности уравнивается непредсказуемой свободой карточной игры. Не случайно отчаянные вспышки карточной игры неизбежно сопутствовали эпохам реакции». Это была схватка с Судьбой, которая грозит гибелью. Проигрыш приводил в отчаяние — одни стрелялись, другие сходили с ума. Германн, герой пушкинской «Пиковой дамы», в сумасшедшем доме все твердил: «Тройка, семерка, туз...» — «верные» карты, названные ему графиней. Герой повести Ф.Корфа Хомкин просто помешался на «четверке»:

«Он вышел на Невский проспект. Ночной извозчик, проехавший мимо его, радуясь седоку, спросил его:

— Куда с вами, барин?

— На бубновую четверку, да и в пятом часу.

Извозчик иронически улыбнулся и проворчал:

— Еще барин; а вишь, хлебнул как!

Хомкин в это время остановился и, услышав замечание извозчика, как бы пробудился ото сна и обратился к нему со следующей речью:

— Что ты врешь, дурак; сам ты пьян; я тебе по-русски говорю, что мне надобно ехать в бубновый час на пятую четверку.

— Полно, барин, что вам нашего брата задирать; уж выпил, так что делать; один Бог без греха; с Богом бы домой скорее добраться, да спать.

Вне себя от досады, Хомкин не знал, что ему делать. Он ясно видел, что извозчик не что иное, как бубновый король, из той самой колоды, которою он играл; он мог разглядеть загнутые на нем углы. Вместо лошади впряжен был в оглобли бубновый туз. Он обернулся и видит, что за ним гонится бубновая четверка...

Страшные грезы не давали ему покоя, и, несмотря на изнеможение физических сил, фантазия его играла с прежнею энергией. Отвратительная четверка бубен, со своими четырьмя кровавыми пятнами, стояла перед ним неподвижно; она принимала для него человеческий вид и пристально смотрела ему в глаза...

За зеленым столом игрок, с картами в руках, вызывал на поединок судьбу. «Подобно тому, как в эпоху барокко мир воспринимался в виде огромной, созданной Господом книги и образ книги делался моделью многочисленных сложных понятий (а попадая в текст, становился сюжетной темой), карты и карточная игра приобретают в конце XVIII — начале XIX в. черты универсальной модели — Карточной Игры, центра своеобразного мифообразования эпохи» — так Ю.М.Лотман определил роль карт в структуре русской культуры.

\*\*\*

Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые *азартные игры* (как будто не все карточные игры более или менее азартны?). Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашев, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть!» — «Виноват, Ваше Величество: играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы.

П.А.Вяземский

— Каким образом ушиблен у тебя, братец, глаз?

— Не образом, а подсвечником, за картами.

А.Е.Измайлов

Однажды Пушкин, гуляя по Тверскому бульвару, повстречался со своим знакомым, с которым был в ссоре.

Подгулявший Н., увидя Пушкина, идущего ему навстречу, громко крикнул:

— Прочь, шестерка! Туз идет!

Всегда находчивый Александр Сергеевич ничуть не смутился при восклицании своего знакомого.

— Козырная шестерка и туза бьет... — преспокойно ответил он и продолжал путь дальше.

Литературный анекдот

## Табель о рангах

«Чины сделались страстью русского народа... В других землях молодой человек кончает круг учения около двадцати пяти лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо тридцати пяти лет быть полковником или коллежским советником...» — писал Пушкин в записке «О народном образовании».

«Здесь все зависит от чина, — удивлялся путешественник, посетивший Россию в конце XVIII в. — Не спрашивают, что знает такой-то, что он сделал или может сделать, а какой у него чин». «Путеводной



нитью в этом лабиринте парадоксов служит военный чин, являющийся единственным мерилем чести», — пишет родным в Англию Марта Вильмот. Ж. де Местр рассказывает, что в августе 1809 г. Аракчеев удостоился особой чести: «Этот министр на днях удостоился от Его Императорского Величества милости, которая увенчивает все прочие: император повелел, чтобы все войска отдавали честь графу в той же форме, как и ему самому, *даже в его присутствии*. Не знаю еще, простирается ли это распоряжение на гвардию». А граф Николай Румянцев, который в августе 1809 г. привез мирный договор со Швецией, по которому к России отходила большая часть Финляндии, «был произведен в канцлеры Империи. «*Это нес plus ultra* Русского величия по статской службе: действительный тайный советник первого класса, — пишет Ж. де Местр в другом письме. — Равными такому лицу считаются лишь иностранные послы, маршалы и дамы, имеющие портрет. Все это ужинает в Эрмитаже, за круглым столом императорской фамилии. Рядом с этим столом стоит другой круглый стол, назначенный для министров второго разряда, жен, дочерей и сестер и представленных иностранцев. За все другие столы, наполняющие залу (а их поставлено, по крайней мере, на 400 человек) садятся как попало».

За чином человека не видно. Чин, утверждал маркиз де Кюстин, «есть гальванизирующая сила, видимость, жизнь тел и умов, это страсть, что переживет любую другую!.. Чин — это нация, разделенная на полки, это военное положение, на которое переведено все общество, и даже те классы, которые освобождены от воинской службы. Одним словом, это деление гражданского населения на классы, соответствующие армейским званиям. С тех пор, как установлена эта иерархия званий, человек, в глаза не видевший учений, может сделаться полковником».

Кюстин вовсе не придумал это для красного словца. В России каждому воинскому чину соответствовал гражданский, за исключением статского советника. Дворяне стремились в военную службу — она почиталась единственной, достойной дворянина. Военные делились на армейских и гвардию. Каждый чин в гвардии соответствовал армейскому, но был на два класса выше. В гвардии, например, не было генералов — самый высший чин был полковник. Император был полковником лейб-гвардии Семеновского полка. Если при повышении в чин вакансия в гвардии была занята, можно было перейти в армию, выиграв при этом два чина. Перевод в армию «тем же чином» означал наказание, понижение в чине.

Чин, особенно гвардейский, накладывал на человека немало обязательств. Гвардеец должен был сам заказать и оплатить себе обмундирование, а оно вместе с золотым шитьем и тонким бельем стоило дорого; также обмундирование своего денщика. Он должен был держать коляску и столько лошадей, сколько ему положено по штату: генералы ездили цугом, т.е. шесть лошадей, запряженные в три ряда попарно; полковники и майоры — четвернею, капитаны и остальные обер-офицеры (низшее офицерское звание) — парой. В обществе ходил такой анекдот: «Одна московская дама спросила у английского путешественника, какой чин имеет Питт? Тот никак не умел отвечать ей на это. Тогда генеральство ездило цугом, а штаб-офицеры четверней. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» — спросила она. «Обыкновенно ездит парой», — отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», — заметила она.

Анекдот этот сохранился в записках Филиппа Филипповича Вигеля, автора очень любопытных мемуаров, знакомого Пушкина и Вяземского, члена литературного общества «Арзамас». Вигель вспоминал: «Сколь ни молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нем только две дороги — общество и служба — выводят молодых людей из неизвестности». Человек небогатый, Вигель выбрал штатскую службу — это хоть и не так почетно, как быть гвардейским офицером, зато покойнее.

В гражданской, или штатской, службе дворяне могли служить только по дипломатической части — это распоряжение не было еще отменено в начале XIX в. Но таких мест было мало, и тогда последовало разрешение служить при архиве Министерства иностранных дел — так появились «архивные юноши». Однако России требовалась огромная масса чиновников — для работы в самых разных канцеляриях. На такую службу чаще всего шли дворяне небогатые и неродовитые или так называемые «выслужившиеся». К пушкинскому времени общество давно было строго структурировано: эта система введена была еще Петром I, который стремился разрушить местничество, основанное исключительно на родственных связях. Теоретически петровская «Табель о рангах» раскрепощала человека. Каждый свободный человек — купец, сын дьячка — мог выслужиться и получить дворянство. Условия в разное время были разные. В пушкинское время, получив унтер-офицерский чин, бывший солдат получал личное дворянство, которое не распространялось на детей. Дослужившись до коллежского асессора, чиновник получал потомственное дворянство. Чаще такое могло случиться во время войны. Так стал потомственным дворянином военный лекарь, отец тургеневского Базарова («Отцы и дети»); так становились дворянами бывшие крепостные, получившие вольную и своими талантами доказавшие право на привилегированное положение в обществе, — архитекторы, художники. Чин приводил в дворянство, чин определял положение человека на общественной лестнице. Прав был Гоголь, объяснявший главную интригу «Ревизора»: в наше

время чин, денежный капитал, выгодная женитьба имеет больше электричества, чем любовь.

«Чин состоит из четырнадцати классов, причем каждый класс имеет свои привилегии. Четырнадцатый — самый низкий класс. Ниже него находятся только крепостные, и единственное его преимущество в том, что числятся в нем люди, именуемые свободными. Свобода их заключается в том, что их нельзя побить, ибо ударивший такого человека преследуется по закону, — объяснял маркиз де Кюстин структуру русского общества, удивительную для иностранца. — Четырнадцатый класс состоит из низших правительственных чиновников — почтовых служащих, посыльных и прочих подчиненных, в чьи обязанности входит передавать либо исполнять приказания вышестоящих начальников; он соответствует званию унтер-офицера в императорской армии. Люди, включенные в этот класс, служат императору, это уже не крепостные; у них есть чувство собственного достоинства — общественного, ибо человеческое достоинство, как вы знаете, в России неведомо.

Поскольку всякий класс чина соответствует воинскому званию, армейская иерархия оказывается, так сказать, параллельной тому порядку, которому подчинено государство в целом. Первый класс расположен на вершине пирамиды и состоит сейчас из одного-единственного человека — фельдмаршала Паскевича, наместника царства Польского.

Продвижение каждого отдельного человека в чине зависит, повторяю, единственно от воли императора. Так что человек, поднявшийся со ступени на ступень до самого высокого положения в этой искусственно устроенной нации, может по смерти удостоиться военных почестей, никогда не служив ни в одном роде войск».

Каждый чин штатской, или, как тогда говорили, статской, службы соответствовал воинскому чину: тайный советник был приравнен к генерал-лейтенанту и назывался статский генерал, коллежский советник — к полковнику, а коллежский ассесор — к майору. Герой повести Гоголя «Нос», человек совсем не военный, рекомендуется майором: «Спроси, душенька, майора Ковалева — тебе всякий укажет». Самый последний чин XIV класса назывался «коллежский регистратор» — этот чин получили лицеисты по окончании учебного заведения. Коллежский секретарь — это уже чин X класса, титулярный советник — IX класс; VI класс имели коллежские советники — это уже чин солидный. В «Старой записной книжке» П.А.Вяземского сохранился анекдот: «Вскоре после бедственного пожара в балагане на Адмиралтейской площади в 1838 г. кто-то сказал:

— Слышно, что при этом несчастье довольно много народа сгорело.

— Чего «много народа»! — вмешался в разговор департаментский чиновник. — Даже сгорел чиновник шестого класса.

Сюда, — прибавлял Вяземский, — просится иностранная шутка, выросшая на русской почве. Лорд Ярмут был в Петербурге в начале двадцатых годов; говоря о приятностях петербургского пребывания своего, замечал он, что часто бывал у любезной дамы шестого класса, которая жила в 16-й линии».

Незадачливый англичанин хотел похвастать связями с дамой, занимавшей высокое положение, и потому подчеркнул чин ее мужа. Юмор ситуации заключался в том необычном для иностранцев обстоятельстве, что жена, не служившая, но имевшая чин по мужу, в соответствии с этим чином занимала положение в обществе. Дочери, пока не вышли замуж, считались в чине, какой имел их отец. Сыновья чин не наследовали, но по достижении совершеннолетия должны были сами его приобрести — своими трудами. Служба так занимала умы молодых людей, что Вяземский смеялся: «В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

*Все неприятности по службе  
С тобой, мой друг, я забывал.*

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха — самые чисто-русские и самые глубоко и верно прочувствованные».

Каждому чину присваивалась особая форма титулования. Формы эти не были установлены законом, а сложились постепенно на практике, были переняты с Запада. В начале XVIII в., в петровское время, использовали три титула: ваше сиятельство — для сенаторов, ваше превосходительство — для чинов высших классов, ваше благородие — для всех прочих. К концу XVIII в. таких титулов было уже пять: для первого и второго классов, соответствующих полным генералам, — ваше высокопревосходительство (так в Европе обращались только к членам королевских фамилий); для III и IV классов — ваше превосходительство; V класс — ваше высокородие; VI, VII и VIII классы — ваше высокоблагородие; остальные — ваше благородие.

В устном общении это соблюдалось не очень строго, но на письме, особенно в официальных бумагах, отступления не допускались. Взглянув на бумагу, можно было безошибочно определить, к кому адресовано послание: начальник ставил дату сверху, подчиненный при обращении к вышестоящему — только снизу; начальник мог подписать писарскую копию одною своей фамилией, подчиненный должен

был поставить сам свое звание, чин и только после этого — фамилию. Местоимение «мой» в обращении официальном к равному или тому, кто был родовитее, имел больший чин, звучало как оскорбление. Так это и воспринял московский богач граф Мамонов. Он был человек именитый, известный, на его деньги во время Отечественной войны 1812 г. был обмундирован и вооружен целый полк, получивший имя Мамоновского. Вяземский рассказывал:

«Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой». Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка *мой*. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма он говорит: «После всего сказанного мною выше предоставляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь *мой, мой, мой* (на нескольких строках) вашим покорнейшим слугою». Граф Мамонов, — заключал Вяземский, — был человек далеко недюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами». Он не мог допустить фамильярности с собою.

Чиновная лестница казалась столь непоколебимой, что, если случались сбои, это воспринималось, как событие поразительное. Рассказывали такой анекдот: «Незадолго до кончины, в последний свой приезд в Петербург, адмирал Лазарев был на приеме у Николая I. После самого милостивого приема, желая показать адмиралу особое расположение, государь сказал:

— Старик, останься у меня обедать.

— Не могу, государь, — отвечал Михаил Петрович, — я дал слово обедать у адмирала (и назвал имя).

Сказав это, Лазарев вынул хронометр, взглянул на часы и, порывисто встав, промолвил:

— Опоздал, государь!

Потом поцеловал озадаченного императора и быстро вышел из кабинета. Вошедшему князю Орлову Николай Павлович сказал:

— Представь себе, в России есть человек, который не захотел со мною отобедать!»

Это, конечно, анекдот, но анекдот любопытный: человек, который и перед государем сохраняет свое человеческое достоинство, не уничтожается «в прах». Самоуважение для человека столь важно, что, не чувствуя его, он тревожится, ищет замену, компенсирует этот недостаток, разыгрывая дома роль, которая не давалась ему в Петербурге, и заставляя всех домашних участвовать в спектакле. Современники почитали такого человека чудачком. О нем рассказывали, он становился в каком-то роде знаменитостью, добиваясь порой почтительного восхищения. Вяземский записал: «Был один помещик, принадлежавший довольно знатному роду, по воспитанию своему и образованию. Когда бывал в столицах, жил и действовал он как другие в среде ему подобающей; но столичная жизнь стесняла его:

*Мне душно здесь, я в лес хочу, —*

то есть в село свое, говорил он про себя. И там, в деревне, на свежем воздухе, на просторе, разыгрывались прирожденные и таившиеся в нем наклонности, причуды и странности. Он любил — ему, по натуре его, нужно было — чудачить, и он чудачествовал в свое удовольствие. По преданиям старого барчества, которые могли быть ему не чужды, он дома завел обряды и этикет наподобие любого немецкого курфюршества. Он составил свой двор из дворни своей. До учреждения мундира он достигнуть не осмелился, но завел в прислуге официальные жилеты разного цвета и покроя, которые, по домашнему значению, равнялись мундирам. Жилеты были распределены на разные степени, по цвету и пуговицам. Он жаловал, производил, повышал, например, Никифора в такой-то жилет высшего достоинства. Панкратий за пьянство или за другой поступок был разжалован в жилет низшего достоинства, с внесением в формулярный список. Когда по воскресеньям и другим праздничным дням барин отправлялся в церковь, дворовый штат его, по старшинству жилетов, становился в две шеренги на пути, по которому он изволил шествовать. Были дни, в которые все жилеты и все находящиеся при них юбки имели счастье лобызать барскую ручку. Все дома и в домашнем быту подходило к такому порядку. Дни и часы были распределены, как восхождение и захождение солнца, по календарю».

Здесь все как бы пародия на существующее государство, двор в миниатюре. А подумаешь — не такая уж и карикатура. Россия так и жила. Например, с 1782 г. для губернских чиновников были заведены форменные платья, и они обязаны были на балы, вечера, может быть кроме самых интимно семейных, являться в форме. Прав маркиз де Кюстин: все общество переведено на военное положение. И чтобы поменьше индивидуальности! Вот это и не устраивало Пушкина в службе, когда в 1817 г., оканчивая Лицей, он писал:

*Лишь я, судьбе во всем послушный,  
Счастливой лени верный сын,*

*Душой беспечный, равнодушный,  
Я тихо задремал один...  
Равны мне писари, уланы,  
Равны законы, кивера,  
Не рвусь я грудью в капитаны  
И не ползу в ассессора;  
Друзья! Немного снисхожденья —  
Оставьте красный мне колпак,  
Пока его за прегрешенья  
Не променял я на шишак,  
Пока ленивому возможно,  
Не опасаясь грозных бед,  
Еще рукой неосторожной  
В июле распахнуть жилет.*

\* \* \*

По вступлении на престол императора Павла состоялось высочайшее повеление, чтобы президенты всех присутственных мест непременно заседали там, где числятся по службе.

Нарышкин, уже несколько лет носивший звание обер-шталмейстера, должен был явиться в придворную конюшенную контору, которую до того времени не посетил ни разу.

— Где мое место? — спросил он чиновников.

— Здесь, Ваше Превосходительство, — отвечали они с низкими поклонами, указывая на огромные готические кресла.

— Но к этим креслам нельзя подойти, они покрыты пылью! — заметил Нарышкин.

— Уже несколько лет, — продолжали чиновники, — как никто в них не сидел, кроме кота, который всегда здесь покоится.

— Так мне нечего здесь делать, — сказал Нарышкин, — мое место занято.

С этими словами он вышел и более уже не показывался в контору.

*Д.Н.Бантыш-Каменский.*

*Словарь достопамятных людей русской земли*

Одному чиновнику долго не выходило представление о повышении чином. В проезд императора Александра он положил к ногам его следующую просьбу:

*«Всемиловитый император,  
Аз коллежский регистратор,  
Повели, чтоб твоя тварь  
Был коллежский секретарь».*

Государь подписал: «Быть по сему».

*Мои бредни. Записки А.П.Хвостовой*

Раевский говорил об одном бедном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличия с мундиром без штанов.

*А.С.Пушкин*

8 октября 1822 г... А.Н.Оленин, в последнем заседании Академии Художеств, предложил в почетные члены графа Д.А.Гурьева и графа В.П.Кочубея. Вице-президент... спросил его, по какой именно причине предлагает он их в почетные члены. «Потому, — отвечал Оленин, — что они любят художества и очень близки к Государю». — «Позвольте же, ваше превосходительство, и мне предложить в почетные члены человека, который также любит художества и весьма близок к Государю». — «Извольте, мы вам будем благодарны». — «Имею честь предложить лейб-кучера Его Императорского Величества Илью Ивановича»... Хотели было, говорят, записать это в журнал.

*Из письма А.Е.Измайлова к И.И.Дмитриеву*

## ***Российские награды***

«Известный остроумец князь Александр Сергеевич Меншиков, находясь в числе сопровождавших Николая I, посетил Пулковскую обсерваторию. Не предупрежденный о посещении столь высоких гостей, директор обсерватории Струве в первую минуту смутился и спрятался за телескоп.

— Что с ним? — поинтересовался император.

— Вероятно, испугался, Ваше Величество, увидав столько звезд не на своем месте, — ответил Меншиков».

Мы видим ордена на старых портретах, но не всегда знаем, что это за награды. Этот анекдот помогает представить, какими нарядными были русские ордена. Звезды, усыпанные бриллиантами, буквально обливали блеском грудь сановников и генералов, одетых в парадную форму.

Орден — понятие многозначное. Оно означает и награду — крест, например, или знаки ордена; но орден — это и объединение людей, служащих какой-то идее: таковы монашеские ордена Западной Европы, например, орден иезуитов. Были ордена, существовавшие очень долго, но были и такие, жизнь которых в России была яркой, но недолговечной. Таков орден Иоанна Иерусалимского, больше известный под именем Мальтийский крест. Павел I с детства знал о существовании этого иностранного ордена и был большим его поклонником. Орден Иоанна Иерусалимского возник в Европе в XI в. и объединил христиан-крестоносцев. Крест назывался Мальтийским по месту нахождения главной резиденции ордена. Этот крест был не наградой, а знаком принадлежности к рыцарскому братству. Именно рыцарство привлекало Павла. Воспитатель наследника С.П.Порошин в своем дневнике записал:

«28 февраля (1765 г.). Читал я его высочеству историю об ордене Мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии свой флаг адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским...

4 марта. Представлял себя послом Мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь».

Взойдя на престол, уже в январе 1797 г. Павел учредил в России Мальтийский орден. Сторонники ордена стремились заставить императора принять звание гроссмейстера. Однажды к дворцу подъехало несколько запыленных от дальней дороги карет. Павел ходил по зале и, «увидев измученных лошадей, послал узнать, кто приехал; флигель-адъютант доложил, что рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского просят гостеприимства. «Пустите их!» Литта вошел и сказал, что, «странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет...» и т.д. Царь благосклонно принял все просьбы рыцарей».

Павел не был сумасшедшим. Он прекрасно знал, что близ Петербурга нет Аравийской пустыни, куда в средние века отправлялись отряды крестоносцев для спасения Гроба Господня. Но он принял игру: деятельность ордена была разрешена в России, а Павел стал великим магистром Мальтийского ордена и возложил на себя знаки этого сана — рыцарскую мантию, корону, меч и крест. Император благосклонно смотрел на то, чтобы русские люди вступали в орден, но принимали в рыцари только дворян, доказавших, что их родословная простирается на 150 лет. Именитое дворянство таким образом получало отличия от служивого. На парадных портретах Павла изображали в мальтийском орденском мундире: красный длинный кафтан с черным бархатным воротником, лацканом и обшлагами, пуговицы с изображением мальтийского креста, легкие эполеты с кистями, на левой стороне груди — маленький белый матерчатый мальтийский крест; черная бархатная мантия с белым нашивным мальтийским крестом на левом плече.

Павел установил новый порядок награждения орденами: все существующие в России корпорации он объединил в единый Российский кавалерский орден. Высшими государственными орденами признавались по-прежнему орден Святого Андрея Первозванного, орден Святой Екатерины, орден Святого Владимира 1-й степени, орден Святого Александра Невского и орден Святой Анны трех степеней. Все великие князья получали при рождении «Российский орден всех наименований», после крещения великого князя оборачивали орденской лентой Андрея Первозванного. Великие княжны при крещении получали знаки ордена Святой Екатерины.

Даже среди самых старших наград орден св. Андрея Первозванного был первым. Он был учрежден еще Петром I в 1698 г., сразу после возвращения императора из заграничного путешествия. В статуте ордена говорилось: «Кавалерский орден» учреждается «в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные Нам и Отечеству оказанные заслуги, а другим — для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям, ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческое любочестие и славолубие, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние». «...Благороднейшие и к чести и славе стремящиеся души обыкли предпочитать уважение, характер и публичное возвышение и знаки монаршей милости, отличающие их от прочих, многим другим награждениям, имениям и подаркам». И дальше в статуте говорилось: кавалеры должны помнить, «что они соединены лентой ордена, подобно крепкими узами согласия и дружелюбия».

Как же выглядел орден св. Андрея Первозванного? На знаке ордена было помещено изображение св. апостола Андрея, распятого на синем косом кресте, на тыльной стороне — двуглавый орел. Знак носили либо на шее, на цепи ювелирной работы — в торжественных случаях, либо у бедра с левой стороны на

широкой голубой муаровой ленте, перекинутой через правое плечо. На орденской цепи изображен девиз: «За веру и верность». Дополнительным знаком кавалеров была серебряная восьмиконечная звезда с крестом на золотом поле в центре — звезду носили на левой стороне груди. В 1797 г. ордену св. Андрея Первозванного были приданы бриллиантовые украшения как знаки его высшей степени. Когда в дни орденского праздника кавалеры собирались на торжественное богослужение в орденской церкви и торжественную трапезу, они должны были надевать орденскую одежду: епанчу (так называли круглый в крое плащ без рукавов) с изображением орденской звезды и шляпу.

Кроме царской фамилии, орденом Андрея Первозванного награждали только самых высших сановников государства и фельдмаршалов. Старый анекдот рассказывает, как этим орденом был награжден Суворов: «Однажды Суворов был приглашен во дворец. Занятый одним разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине.

— Он у нас, матушка-государыня, великий постник, — отвечает за Суворова Потемкин, — ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет.

Императрица, подзвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж уходит и через минуту возвращается с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавя, что теперь уже он может разделить с нею трапезу».

Екатерине II принадлежит честь учреждения чисто военного ордена св. Георгия. Было это так: 17 декабря 1768 г. императрица внезапно вызвала вечером своего статс-секретаря и попросила найти бумагу, которую пять лет назад она поручила составить, — статут ордена св. Георгия Победоносца: как он выглядит, за что присваивается, какие дает привилегии. Мысль об этом ордене была не случайной. С детства Екатерина любила христианскую легенду, рассказывающую о подвиге св. Георгия — в России его называли Егорий. Эта легенда глубоко волновала будущую императрицу.

«Будучи военным трибуном, — говорилось в легенде, — Георгий однажды приехал в провинцию Ливии к городу Силене, при котором находилось обширное озеро, где поселилось чудовище-дракон, ему граждане города выводили каждый день на съедение юношу или деву, так что в короткое время ни у кого не осталось детей, кроме дочери владетеля. Дошла очередь и до нее. Одели ее в лучшие одежды и оставили на берегу озера плачущую. Вдруг является молодой витязь на белом коне и сочувственно спрашивает о причинах ее слез и обещает не выдать невинную жертву чудовищу. Скоро показался и дракон. Витязь вступил в бой с ним, и усмирив, и велел девице, перевязав своим поясом шею дракона, вести его пленником в город».

Боевой офицерский орден св. Георгия появился в 1769 г. В его статуте было сказано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; удостоивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу российского оружия особенным отличием». Недаром так ценился орден св. Георгия: это было особое отличие за личную храбрость и мужество.

Орден св. Георгия выглядел так: в центре белого эмалевого креста — изображение св. Георгия на коне. Крест носили на ленте из трех черных и двух оранжевых полос. Орден имел четыре степени. Крест первой степени носили на ленте через правое плечо, второй и третьей — на шее. Две старшие степени дополнялись звездами: ромбовидная вызолоченная звезда с изображением св. Георгия в центре и девизом вокруг: «За службу и храбрость». Был еще орден четвертой степени — его носили в петлице на узенькой георгиевской ленточке.

Этот орден можно было получать только начиная с низшей, с четвертой степени. Тот, кто получал более высокий орден, не должен был надевать ордена низшего достоинства. Св. Георгия полагалось носить всегда рядом с высшими орденами, почитая его самым почетным. Тот, кто имел все четыре степени Георгия, назывался «полный Георгиевский кавалер». В России только четыре фельдмаршала были полными Георгиевскими кавалерами: Кутузов, Барклай-де-Толли, Паскевич и Дибич. Когда в 1801 г. орденская дума предложила Александру I «возложить» на себя знаки 1-й степени Георгиевского ордена, он отказался, считая, что не заслужил столь высокой награды. Государь имел только 4-ю степень Георгия — «за личную храбрость».

Также за личную храбрость награждали солдат знаком отличия военного ордена — солдатским Георгием. Эта награда учреждена была в 1807 г. «для поощрения храбрости и мужества солдат». Были исключительные случаи, когда солдатским Георгием награждали офицеров, — это почиталось самой почетной наградой. «За Бородинское сражение я получил знак отличия военного ордена по большинству голосов от нижних чинов седьмой роты», — писал Сергей Иванович Муравьев-Апостол в ответ на вопросы следствия по делу декабристов. И это действительно так: если полк отличился в сражении, то присылали несколько солдатских Георгиев, и солдаты сами решали, кто достоин награды. Получение солдатского Георгия освобождало от телесных наказаний и давало некоторые льготы, так что эту награду редко отдавали офицеру. Надо было особенно отличиться и быть особенно любимым солдатами.

В память войны 1812 г. учреждены были памятные бронзовые медали — для участников войны и для дворян, которые сделали пожертвования. Как и Георгиевский крест, эту медаль носили в петличке на георгиевской ленте и не снимали при высших орденах как особенно почетную. Богач Нарышкин тоже получил такую медаль. Он ею особенно дорожил, но не мог удержаться от острого словца даже по этому поводу. «Получив с другими дворянами бронзовую медаль в воспоминание 1812 г., Нарышкин сказал:

— Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна: нельзя ни продать ее, ни заложить».

Дипломат Жозеф де Местр замечает: «Скажу мимоходом, что после того, как Император вздумал давать награды (даже почетные) директорам некоторых касс, которые представили сбережения издержек, тотчас все принялись за этот легкий способ добывать чины и ордена, производя экономию даже в необходимом. То же распространилось и на вооружение, и вот как здравая мысль монарха была обращена против него же. Порядок этой страны — это беспорядок, и верх искусства государственных людей заключается в том, чтобы определить степень беспорядка, какая может быть допущена».

Одним из самых популярных русских орденов был орден св. Анны. Он был учрежден в 1736 г. герцогом Шлезвиг-Гольштейнским в память о своей супруге, дочери Петра I. В России орден был введен Павлом. Первые буквы слов «Анна — императора Петра дочь» послужили началом латинских слов орденского девиза: «Любящим правду, благочестие и верность». Были установлены такие знаки ордена: золотой крест, покрытый красной финифтью, с изображением св. Анны в середине; красная лента с желтой каймой по краям и восьмиконечная звезда с красным крестом посередине, обрамленная девизом. Первая степень ордена обозначалась крестом на ленте через левое плечо и звездой; вторая — крестом меньшего размера на узкой ленте на шее; третья — малым крестом на узкой ленте в петлице; четвертая — красный финифтевый медальон с крестом и короной, который помещался на рукояти холодного оружия, — иногда его называли «клювкой» (за красный цвет). По статуту 1829 г. на шпаге с орденом Анны 4-й степени стали делать надпись «За храбрость», а темляк изготовляли из орденской ленты. Этот орден давали не только военным — кто не помнит рассказ А.П.Чехова «Анна на шее».

П.А.Вяземский в своей записной книжке приводит такой анекдот: «Забавный чудак, служивший когда-то при московской театральной дирекции, был, между прочим, как и следует русскому человеку, а тем паче русскому чиновнику, охвачен повальной болезнью чиновничества и крестолубия. Он беспрестанно говорил и писал кому следует: «Я не прошу кавалерии через плечо или на шею, а только маленького анкураже в петличку». Пушкин подхватил это слово и применял его к любовным похождениям, в тех случаях, когда в обращении не капитал любви, а мелкая монета ее: то есть, с одной стороны, ухаживание, а с другой — снисходительное и одобрительное кокетство. Таким образом, в известном кругу и слово *анкураже* пользовалось некоторое время правом гражданства в московской речи».

В 1831 г. к числу российских орденов был присоединен польский орден Белого Орла, который является главной эмблемой польского герба. После присоединения Польши к России Александр I стал жаловать этот старинный польский орден (учрежден в 1325 г.) польским уроженцам. Знаками ордена Белого Орла были красный эмалевый с белой окантовкой крест и восьмиконечная золотая звезда. Подложкой для креста служило изображение двуглавого орла под польской короной. Крест носили на темно-синей ленте через плечо. Это был очень значительный орден, он занимал одно из первых мест в иерархии российских орденов. Есть анекдот и об этом ордене:

«Генерал-лейтенант артиллерии комендант Новогеоргиевской крепости Федоренко был остроумный, добрый и честный человек. Однажды, вызванный в Петербург, он остался там до Пасхи. Государь пожаловал ему к этому дню орден Белого Орла. По принятому обычаю Федоренко следовало быть к заутрене в Зимнем дворце в ленте этого ордена, присланной ему накануне. Но Федоренко явился в другой орденской ленте. Император заметил это и, полагая, что Федоренко еще не знает о награде, спросил его, христосуясь:

— Я тебе дал Белого Орла. Ты получил его?

— Получил, Ваше Величество, да чим я его буду кормыты?

Император рассмеялся и назначил Федоренко аренду по чину на двенадцать лет».

Наука, рассказывающая об орденах, — это очень сложная и серьезная наука. В нашем тексте мы только чуть затронули эту тему — чтобы почувствовать к ней вкус.

\* \* \*

Мне не нужно гадать о добродетельности того или иного русского придворного, достаточно посмотреть на его платье: носит ли он четыре важнейших, непогрешимых атрибута достоинства — красную ленту ордена св. Александра, голубую — св. Андрея, св. Георгия и св. Владимира. Желание погреться в лучах, испускаемых троном, столь велико, что придворные стремятся получить любой знак милости от престола.

*Из письма Марты Вильмот*

За Бородинское сражение Милорадович вместо алмазных знаков Георгия Второго, обещанного ему Кутузовым, получил алмазные знаки ордена Александра Невского. Однажды, рассказывая о Бородинской битве, он сказал:

— Как град, сыпались на нас ядры, картечи, пули и бриллианты!

*Из рассказов о 1812 году*

Николай I инспектировал артиллерию. Проходя по рядам и заметив у одного капитана множество орденов на груди, не без иронии спросил:

— У кого вы были адъютантом?

А всем было известно, что легче всего получают награды именно адъютанты каких-нибудь высокопоставленных особ.

Капитан с чувством собственного достоинства ответил:

— При этой пушке, Ваше Величество!

*Былые небылицы*

## ***Коронация русских царей***

«В тридцатилетнее царствование Екатерины II Москва много видела и веселых, и тяжелых дней. Веселые дни начались с приездом императрицы для коронации 13 сентября 1762 г. В этот день состоялся торжественный въезд государыни. Улицы Москвы были убраны шпалерами из подрезанных елок, на углах улиц и площадях стояли арки, сделанные из зелени с разными фигурами. Дома жителей были изукрашены разноцветными материями и коврами. Для торжественного въезда государыни устроено несколько триумфальных ворот: на Тверской улице, в Земляном городе, в Белом городе, в Китай-городе и Никольские в Кремле. У последних триумфальных ворот встретил Екатерину II московский митрополит Тимофей с духовенством и сказал императрице поздравительную речь. Въезд государыни был необыкновенно торжествен, Екатерина ехала в золотой карете, за нею следовала залитая золотом свита. Клики народные не умолкали».

Так описывает коронационные торжества по поводу восшествия на престол Екатерины II современник, имени которого история не сохранила. Строго говоря, Екатерина не имела никаких прав на российскую корону. Ее царствование — результат дворцового переворота. Тем более торжественными стали коронационные праздники, пышность их как бы узаконивала акт восшествия на престол жены убитого Петра III.

Коронация — обряд особенный. Первый русский великий князь, коронованный на царство, был Иван IV Грозный. В то время турки овладели Константинополем, пала Византия, претендовавшая на титул единой всемирной империи, заменившей Древний Рим, и права Иоанна на титул основывались не только на связи московского престола с престолом византийским. Была создана легенда, будто император византийский Константин Мономах венчал на царство киевского князя Владимира Мономаха. Легенда была государственная, и никто не стал уточнять, что, когда умер Константин Мономах, Владимиру было всего два года и никакого венчания, скорее всего, не было. Торжественный византийский обряд коронации был перенесен на Русь, и шапка Мономаха стала символом высшей государственной власти. Москва объявлялась наследницей Византии: Москва — третий Рим, а четвертому Риму не бывать! И даже когда столица была перенесена в Петербург, для коронации царь приезжал в древнюю Москву.

Торжества коронации назначались после окончания траура по почившему императору: по всей стране рассылался манифест о коронации, в Москве глашатаи читали его на Ивановской площади в Кремле, около колокольни Ивана Великого. Страна была столь велика, а средства связи, дороги так неустроены, что до самых отдаленных мест известие о восшествии на престол нового монарха доходило только через несколько месяцев.

«Чин коронования происходил в воскресенье; стечение народа в Кремль началось еще накануне, хотя в тот день был большой дождь; в день же коронования утро было пасмурно, но к вечеру погода разгулялась. По первому сигналу из двадцати одной пушки в пять часов утра все назначенные к церемонии персоны начали съезжаться в Кремлевский дворец, а войска построились в восьмом часу около соборной церкви и всей Ивановской площади», — вспоминал современник.

Торжественный въезд императрицы совершался в день коронования, до этого она останавливалась вблизи столицы — ее пребывание здесь было «секретом» до самого времени вступления в древнюю столицу. Екатерина прибыла еще 1 сентября в подмосковное село Петровское инкогнито, но какое это было инкогнито?! На переезд государыни из Петербурга потребовалось 19 000 лошадей и около 80 000 народа.



Где уж тут скрыться!

«В десятом часу затрубили трубы и забили литавры, и по этому сигналу двинулась процессия в церковь. Государыня между тем, во внутренних своих покоях приготовившаяся к священным таинствам: миропомазанию и причащению, вошла в большую аудиенц-камеру, куда уже все регалии из сенатской камеры принесены были и положены на столах по обе стороны трона».

На Руси царскую власть воспринимали как власть, обладающую божественной природой. Вслед за Византией в церемонию поставления на царство был принят обряд миропомазания, а в качестве помазанника царь уподоблялся как бы Христу — ведь по-гречески Христос означает «помазанник». И сам царский титул противопоставлялся другим титулам, например королевским, как имеющий божественную природу: ведь в Святом Писании царем называли Давида, Соломона. Обряд миропомазания имеет большое значение в Русской Православной церкви и совершается при крещении: священник мажет святым елеем чело, уста, очи, ноздри, уши, перси, руки и ноги со словами: «Печать Духа Святого». Отныне у человека есть ангел-хранитель, и он не позволит нечистому взять власть над ним. Повторение этого торжественного обряда при коронации символизировало рождение в лице царя нового человека, отныне не принадлежащего себе, но призванного на служение своему народу.

«Как только государыня из дворца вышла на Красное крыльцо, начался звон во все колокола и военная салютация. При приближении к соборным дверям государыню встретил весь церковный синклит... во главе с архиепископом Новгородским, который поднес государыне для целования крест; митрополит Московский окропил святою водою. Государыня села на приготовленный престол.

В это время надела она на себя порфиру и орден Андрея Первозванного, а когда возложила на себя корону, то на Красной площади произведена была стрельба. После этого все чины двора принесли ей поздравление...

Выход из храма был не менее торжествен — все войска при виде государыни в короне и порфире производили салютации. Государыня пошла в Архангельский собор, где поклонилась усопшим предкам, после этого в Благовещенский собор и там приложилась к святым мощам и затем возвратилась во дворец».

После коронации обычно следовали пожалования и награждения, торжественные обеды и угощение народа. Екатерина завоевала любовь древней столицы: она оставалась в Москве до весны, совершила паломничество в Троице-Сергиеву лавру, а на Масленицу был устроен грандиозный маскарад.

Коронацию запоминали, художники стремились запечатлеть торжественное событие в картинах и гравюрах, подробно разрабатывалась процессия въезда, вся церемония. Со времен Екатерины вошло в обычай будущему государю останавливаться в подъездном Петровском замке, и поныне существующем недалеко от Тверской заставы. Там и остановился Павел, коронацию которого вспоминает генерал-адъютант великого князя Евграф Федорович Комаровский. Он не был литератором, и его мемуары доносят до нас голос безыскусного современника события: «Отряд, в котором я находился, приехал в Москву прежде двора. Свита великого князя Константина Павловича помещена была против Слободского дворца, в старом сенате, где назначено было место пребывания и для его высочества. По принятому обыкновению император остановился в Петровском дворце.

Вся гвардия на сей случай была отправлена в Москву. В церемонию наряжены были камергеры и камер-юнкеры; а так как было холодно, то и приказано было им иметь юбер-роки, т.е. род широких кафтанов, из пунцового бархата. Ничего не было смешнее, как видеть этих придворных, привыкших ходить по паркету, в тонких башмаках и шелковых чулках, — верхом, Бог знает на каких лошадях, и на тех не умеющих держаться и управлять ими; многих лошади завозили куда хотели, и оттого сии царедворцы потеряли свои ряды и наделали большую конфузию. Особенно примечателен был между ними граф Хвостов, бывший тогда камергером.

Император остановился в Кремле, только чтобы приложиться к св. мощам и иконам, и, сев опять на лошадь, продолжал шествие свое до Слободского дворца, куда прибыли уже, как начало смеркаться. Мимо государя прошли, однако же, церемониальным маршем все войска, бывшие в строю.

Надобно было посмотреть на несчастных придворных; некоторых из них принуждены были снимать с лошадей, так они от холоду, можно сказать, окоченели».

Так вспоминает коронацию военный человек, сам участвовавший в церемонии. Ошибки на вахтпарадах, неумение держаться в седле были очень опасны — можно было поплатиться ссылкой даже за плохо начищенную пуговицу. Императора Павла боялись, а Павел, как всякий тиран, и сам опасался своих приближенных.

Придворные дамы не обращали внимания на выправку камергеров — они сопровождали процессию в церковь. Их воспоминания дополняют наши впечатления подробностями самой коронации. Варвара Николаевна Головина, придворная дама и близкий друг будущего Александра I и его жены, вспоминала: «Коронационная церемония совершилась пятого апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в Успенском соборе. Посередине храма, напротив алтаря, устроили помост, на котором возвышался императорский трон, а в стороне, на небольшом от него расстоянии — был трон императрицы.

Справа и слева устроили места для императорской семьи, а вокруг ступени для публики. Павел сам возложил на себя корону, потом короновал императрицу, сняв с себя венец и дотронувшись им до головы своей супруги, на которую тотчас же надели маленькую корону».

Любопытная деталь: императрицу коронует царь, она получает власть из его рук. В Византии было не так: там бракосочетание следовало за коронацией. Будущая супруга императора короновалась так же торжественно, как сам император, а затем совершалось бракосочетание — равных. В русском обряде равенства не было, а Павел во время этой торжественной церемонии и вовсе проявил своеволие. Комаровский записал: «Коронация происходила обыкновенным порядком: император короновал императрицу, Марию Федоровну, но было достойно примечания, что император, во время причастия, вошел в алтарь, взял сосуд и, как глава церкви, сам причастился святых тайн».

Однако на этом коронационные торжества не оканчивались. Обязательными были парадный обед, праздничные фейерверки и последующее представление императору дворянства. Головина вспоминала: «Их величества обедали, сидя на тронах, в большой дворцовой зале, на первом этаже, с готическими сводами и столбами. При входе был помост, откуда смотрели на обед члены императорской фамилии, а по трем остальным сторонам располагались небольшие окна, которые, как и пол, были затянуты красным сукном. Это придавало зале совершенно оригинальный вид, но сделало крайне неудобными те балы, которые в ней впоследствии давали...

В понедельник и во вторник на Святой неделе двор присутствовал на службах в различных соборах Кремля, а начиная со среды и на протяжении более двух недель их величества каждое утро, сидя на тронах в большой зале, принимали поздравления. Император находил, что представляющихся было слишком мало. Мария Федоровна беспрестанно вспоминала, как ей рассказывала императрица Екатерина о своей коронации, что тогда толпа, целовавшая руку государыни, была так велика, что рука даже опухла, и была недовольна, что на сей раз рука не распухает. Обер-церемониймейстер Валуев, желая сделать приятное их величествам, заставлял одних и тех же людей являться по нескольку раз, под разными именованиями и в разных должностях. Случалось, что один и тот же человек являлся в тот же самый день то как сенатор, то как депутат от дворянства, то как член того или иного учреждения. Императорское семейство и двор постоянно присутствовали при этих поздравлениях. Государь и государыня восседали на своих тронах. Императорская фамилия со своей свитой находилась от них по правую руку, а различные депутации, равно как и московские дамы, которых тоже заставляли являться по нескольку раз, торжественно подходили к трону, кланялись, поднимались по ступеням, целовали руки их величеств и удалялись».

Так создается миф. Головина искренне считает, что все было так, как она рассказывает, а ведь при всех чудачествах Павла он далеко не сразу выставил напоказ все «прелести» своего царствования. От него много ждали. Не страдают ли воспоминания о коронации, которые писались гораздо позже, некоторым креном? Комаровский, бывший свидетелем двух коронаций, и Павла и Александра I, утверждает — Александру радовались как освободителю: «День торжественного въезда императора Александра в Москву, как праздник отличается от будня, так оный не походил на бывший четыре года и несколько месяцев тому назад. Тогда все чиновники военные и статские, в карикатурных своих мундирах, ехали по два в ряд, младшие впереди, что составляло предлинную линию в виде протянутой веревки. Император Павел ехал один, и несколько позади два великие князя. Теперь же молодой император, в красе лет своих и богоподобной наружности, ехал окруженный многочисленною и блестящею свитою; все было величественно, а не карикатурно. Перед императором ехало одно только московское дворянство по два в ряд, на отличнейших лошадях, на коих были богатейшие уборы; после церемонии все эти лошади подведены были государю.

Стечение народа было неимоверное; радостные клики сопровождали императора от самого Петровского дворца до Кремлевского; дома украшены были разными дорогими тканями; дамы во всех окошках приветствовали вождя гостя, махая белыми платками своими, развевающимися по воздуху; погода была прекрасная, как посреди лета. Я в жизнь мою ничего не видывал ни торжественнее, ни восхитительнее сего достопамятного дня».

Мемуарист все противопоставляет коронации Павла, даже погоду, но особенно подчеркивает праздничность происходящего. Радовались освобождению от тирана, радовались молодому царю. Теперь появились надежды на будущее: «Священный обряд коронации происходил, как обыкновенно, в Успенском соборе. Зрелище было восхитительное и трогательное, когда император возлагал корону на августейшую свою супругу, и видеть потом молодую императорскую чету, пленительной красоты, в коронах и царских облачениях, шествующею при пушечной пальбе, колокольном звоне и восклицаниях многочисленного народа, под золотоглазетовыми балдахинами, вокруг древнего Кремля. По сему случаю праздники были великолепные, особливо у графа Шереметьева в Останкине, где дан был спектакль, бал, фейерверк и ужин, и вся дорога от Москвы до Останкина, на расстоянии шести верст, была иллюминирована.

Чтобы дать понятие, с каким восторгом император Александр был встречаем в Москве народом,

привожу следующий случай. Его величество всякий день, после развода, изволил прогуливаться по московским улицам, верхом, в сопровождении бывшего тогда в Москве главнокомандующего, фельдмаршала графа Салтыкова, и дежурного генерал-адъютанта. Однажды я имел счастье сопровождать императора; множество народа окружило государя и беспрестанно кричало: «Ура!» Один мужик долго шел подле стремени императора, все любуясь на него, вдруг обтер пыль с сапога его величества, перекрестился и поцеловал его ногу. Это было как сигналом для всей толпы, которая таким же образом начала целовать с обеих сторон ноги императора».

Это как будто рассказ не о реальном человеке. Царь — это воплощенная власть, почти божественная, потому что он — помазанник Божий. Царем не может быть человек выборный, это власть наследственная. Царь — порфиородный. И это опять из Византии, где во дворце была специальная порфировая комната, куда удалялась рожать императрица. Все это человеку XIX в. было хорошо известно с детства, но в наше время этими знаниями уже надо овладевать.

## *При дворе русских императоров*

«В эпоху моего вступления в Зимний дворец там еще в полной силе господствовала особая атмосфера двора, которая в наши дни почти совершенно исчезла отовсюду и, вероятно, никогда не возродится. В воздухе как бы ощущался запах фимиама, нечто торжественное и благоговейное: люди говорили вполголоса, ходили на цыпочках, у всех вид был напряженный, сосредоточенный и стесненный, но, удовлетворенный этим чувством стесненности, каждый торопился, становился в сторонку, старался быть незаметным и ждал. Воздух, которым мы дышали, был насыщен всеприсутствием владыки».

Так писала в своих воспоминаниях «При дворе двух императоров» Анна Федоровна Тютчева. В 1853 г. она была назначена фрейлиной к Марии Александровне, жене великого князя Александра Николаевича, будущего Александра II. Всегда любопытно узнать, как живут сильные мира сего. И это не просто досужее любопытство. Дворцовый быт во всех странах предельно структурирован, каждый жест императора имеет символическое значение, которое придворные отлично понимают, а если не понимают, то стремятся расшифровать — ведь от этого часто зависит не только карьера, но и жизнь. Анна Тютчева почти жалела властителей — ведь они просто не имеют права на непосредственное чувство: «Жизнь государей, наших по крайней мере, так строго распределена, они до такой степени ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений и забот о здоровье, они до такой степени являются рабами своих привычек, что неизбежно должны потерять всякую непосредственность».

В Петербурге императоры жили в Зимнем дворце, который, конечно, перестраивался и поначалу выглядел совсем не так, как сейчас. А как? Андрей Тимофеевич Болотов, автор подробных «Записок», в молодости был, как почти все дворяне того времени, военным. Он очень обрадовался, когда его перевели в Петербург, и 7 апреля 1762 г. Болотов приезжает в столицу. Время Пасхи, к которой торопятся отделать только что построенный Зимний дворец: молодому императору Петру III не терпится перебраться сюда. «Государю хотелось неотменно перейти в большой новопостроенный дом свой; но как оный был еще не совсем отделан, то спешили денно и нощно его окончить и все оставшееся доделать. Во все последние дни перед праздником кипели в оном целые тысячи народа, и как оставался наконец один луг перед дворцом неочищенным и так загроможденным, что не могло быть ко дворцу и проезда, то не знали, что с ним делать и как успеть очистить его в столь короткое, оставшееся уже до праздника время...

Доложено было о том государю. Сей и сам не знал сначала, что делать, но как ему неотменно хотелось, чтоб сей дрязг к празднику был очищен, то самый генерал мой надоумил его и доложил: не пожертвовать ли всем сим дрязгом всем петербургским жителям и не угодно ли будет ему повелеть чрез полицию свою публиковать, чтоб всякой, кто хочет, шел и брал себе безданно-беспошлинно все, что тут есть: доски, обрубки, каменья, кирпичья и все прочее».

Публикация имела успех: со всех сторон набежала и наехала куча народа и вмиг все растащили. «Шум, крик, вопль, всеобщая радость и восклицания наполняли тогда весь воздух, и все сие представляло в сей день редкое, необыкновенное и такое зрелище, которым довольно налюбоваться и навеселиться было не можно».

Вечером Болотов с генералом, адъютантом которого он был, отправился во дворец. «...Вся площадь уставлена была бесчисленным множеством карет и экипажей. Для меня зрелище сие было новое, но любопытнейшее дожидалось меня во внутренности дворца... И самая уже огромность и пышность здания сего приводила меня в некоторое приятное изумление, а когда вошел я с генералами внутрь сих новых императорских чертогов и увидел впервые еще отроду всю пышность и великолепие дворца нашего, то пришел в такое приятное восхищение, что сам себя почти не вспомнил от удовольствия.

Все комнаты, чрез которые мы проходили, набиты были несметным множеством народа и людей разных чинов и достоинств. Все одеты и разряжены были в прах, и все в наилучшем своем платье и убранствах... На все сие я так засмотрелся и всеми сими невиданными зрелищами так залюбовался, что позабыл и о всей усталости своей и не горевал о том, что во всей той комнате не было видно ни единого стульца, где бы можно было хоть на несколько минут присесть для отдохновения».

Отсутствие мебели во дворце имело несколько причин. Во-первых, мебель действительно была достаточно дорогая, и Екатерина II пишет в своих «Записках», что мебели было мало, ее возили с собою при переезде в летний дворец. В дороге она ломалась и портилась. Тогда Екатерина, еще будучи великой княгиней, на свои деньги стала обставлять свои резиденции, чтобы шкафы и стулья могли оставаться на одном месте. Но была и другая причина: зал не должен был быть загроможден мебелью. Комнаты, куда попал Болотов, — парадные покои. Блестит наборный паркет, стены украшены замечательными картинами — здесь негде поставить стулья, они только загромождают пространство и испортят вид. Эти комнаты не для удобства, а для парадных приемов. Современница и знакомая Пушкина Александра Осиповна Смирнова-Россет, фрейлина, вспоминала торжество Пасхи в Зимнем дворце в 1826 г.:

«Выход еще не начинался, государь шел об руку с императрицей, оба кланялись во все стороны. Камер-паж нес длинный хвост, другой шел за государем, потому что в церкви он держал шпагу государя, за ними шли вдовствующая императрица с великим князем Михаилом Павловичем... и за ними шли камер-пажи, потом вся свита, прямо в большую залу, потом маленькую белую залу, затем в залу с портретами фельдмаршалов, в белую залу, где были собраны обоего пола знатные особы... У обеих государынь были бриллиантовые диадемы на голове, тогда не было еще русского платья и кокошников, и носили платье времен Екатерины: придворное платье».

Впрочем, мебели было немного и в жилых покоях — по крайней мере, в покоях фрейлин. Анна Федоровна Тютчева была просто угнетена обстановкой своей комнаты, в которой ей как фрейлине предстояло жить во дворце: «Я нашла в своей комнате диван стиля empire, покрытый старым желтым штофом, и несколько мягких кресел, обитых ярко-зеленым ситцем, что составляло далеко не гармоничное целое. На окнах ни намек на занавески. Я останавливаюсь на этих деталях, мало интересных самих по себе, потому что они свидетельствуют, при сравнении с тем, что мы теперь видим при дворе, об огромном возрастании роскоши за промежуток времени менее четверти века. Дворцовая прислуга живет более просторно и лучше обставлена, чем в наше время жили статс-дамы, а между тем наш образ жизни казался роскошным тем, кто помнил нравы эпохи Александра I и Марии Федоровны».

Тютчева рассказывала, что Карамзины подарили ей самовар и весь прибор, чтобы она могла скрасить свое одинокое существование хотя бы какими-нибудь удовольствиями. Но грусть так была сильна, что, оставшись одна, молодая девушка разрыдалась...

Фрейлины были полностью подчинены режиму и ритму жизни царской семьи. На лето все выезжали в одну из летних резиденций, в Павловск или Царское Село. А.О.Смирнова-Россет рассказывала: «Императрица проводила день в Большом дворце и затем в одиннадцатом часу с дежурной фрейлиной отправлялась в Николаевский деревянный дом, где жили дети. Она просыпалась в шесть часов, тотчас приходил лакей и говорил: «Ее величество изволили проснуться». В семь часов он говорил: «Ее величество изволили выйти в уборную». Потом — в семь с половиной: «Изволят кушать кофий». Тут уж приходилось бежать. Она была необыкновенно пунктуальна. Людовик XIV сказал: «Точность — вежливость королей». И точно, Марию Федоровну никогда не ждали, и мы не могли не быть пунктуальны... Она назначала, кого просить к обеду из соседей, а егермейстеру назначала экипажи для всякой прогулки... Государыня очень крепко опиралась на руку фрейлины, так что мы поддерживали свой локоть рукою. В ридикюле всегда было 500 рублей ассигнациями. По дороге встречались люди на коленях, раздавали 50 рублей, потом с садовником разговор о деревьях, которые срубить, которые добавить... где поправить мостик, где беседку. Нагулявшись с час, она садилась в дрожки, а ее собака Азор сидела впереди и не спускала с нее глаз...

После прогулки государыня занималась делами со своим секретарем Вилламовым. Новосильцов докладывал о домашних делах, а ровно в три часа она выходила из уборной в гостиную, мы уже все стояли декольтированные, с короткими рукавами, в шеренгу... Обед был *in fioqui*, за каждым двумя стульями был официант, напудренный, мундир весь в галунах с орлами и в шелковых чулках. За государыней камер-паж. Камер-пажи жили где-то в городе, обедали и ужинали во дворце за ширмами в проходной комнате. Обед продолжался более часа... Иногда обедали в Камероновой галерее, иногда в Лебеде или в Розовом павильоне. После обеда отдых до шести часов, а после катание. Государыня в открытом ландо с обеими статс-дамами и фрейлиной... В восемь часов мы были все уже готовы к вечернему собранию. Государыня сидела за круглым столом и вышивала по канве, а барон Мейендорф читал ей «*Les mémoires de Ste Hélène*»... В половине девятого ужинали... Окна были до пола, и за окнами всегда были гусарские офицеры и другая молодежь, проживающая в Павловске».

Такой почти военный режим мог без жалоб выносить только тот, кто стремился делать карьеру, — для этого близость ко двору была очень полезна. Анна Федоровна Тютчева необыкновенно страдала. В

своем дневнике она записывает: «5 июня 1855 г. Двор сегодня переехал в Петергоф. Это место мне исключительно антипатично. Здесь играют в буржуазную и деревенскую жизнь. Император, императрица и другие члены семьи живут в различных фермах, коттеджах, шале, всякого рода павильонах, разбросанных в парках Александрии, где все эти великие мира предаются иллюзии жить, как простые смертные. Когда идет дождь — что в Петергофе обычно, — у императрицы в спальне появляются лягушки, так как эта комната на одном уровне с болотистой почвой, покрытой роскошными цветниками, разведенными здесь с огромными затратами. Сырость такова, что в ее комодах и шкафах растут грибы, а она целое лето страдает от воспалений и ревматизма. Если во время каникул наступает жара, то комнаты детей, очень низкие и находящиеся в верхнем этаже, непосредственно под крышей, выкрашенной наподобие соломенной крыши, напоминают чердаки венецианских «*riombi*» — свинцовых тюрем, и бедные дети задыхаются, а дворцы, прекрасно выстроенные и с массой воздуха, в которых можно было бы найти защиту от сырости и от зноя, пустуют в то самое время года, когда представляли бы более всего удобств. Что касается нас, лиц свиты, мы помещаемся в целом ряде картонных домиков, называемых «Готическими и Кавалерскими домиками», где нас то сжигает солнце, то разъедает сырость, но более всего — пыль от шоссе, проходящего под окнами этих домов, являющегося главной артерией, по которой идет непрерывное движение в густоте толп людей, съезжающихся в Петергоф во время пребывания там двора. Толчея взад и вперед ни на минуту не прекращается ни днем, ни ночью, непрерывно мелькает бесконечный калейдоскоп фельдъегерей в телегах, «ездовых» верхом, служебных фургонов, адъютантов в пролетках, придворных в колясках, публики, катающейся в кабриолетах и шарабанах, во весь опор мчащихся взад и вперед, поднимающих облака пыли, которая врывается через все окна и вихрем крутится в сквозняках, беспрерывно дующих сквозь эти прямоугольные сквозные постройки, с их бесчисленным количеством окон и дверей. В такой малокомфортабельной обстановке мы проводим свои дни в постоянном состоянии начеку...

Так как павильонов около тридцати, один прелестнее другого, то нет недостатка в целях для бесконечно разнообразных прогулок. С утра видишь «ездовых», с развевающимися по ветру плюмажами, скачущих по всем направлениям, чтобы предупредить великих князей и великих княгинь и дежурных дам, что императрица будет пить кофе в таком-то и таком-то месте, куда вскоре и направляется фургон с «кафешенками» и кипящим самоваром, а за ним целый ряд нарядных экипажей с членами царской фамилии; статс-дамы и фрейлины, разряженные с самой зари, с быстротою молнии устремляются к назначенному месту, по шоссе и дорогам, которые между Ореандою и Бабьим гоном составляют хорошо поддерживаемую сеть в 300 верст — единственные, увы, хорошие дороги в России. Так как никогда не известно, кто будет и кто не будет приглашен на эти собрания, ни то, на какое расстояние придется перенестись в кратчайший срок, так как большей частью запаздывающие «ездовые» передают приглашение за четверть часа до срока, приходится проводить целый день в известном напряжении: туалет приготовлен, экипаж заложен, вы сами с минуты на минуту готовы устремиться навстречу оказываемому вам почету. Но часто случается, что вас нет среди избранных, приглашаетесь не вы, а ваша соседка по коридору, и ваши кружева и кисея подновлялись и извлекались на свет божий зря...»

Люди, стоящие близко к императорам, рискуют оказаться униженными, может быть, даже больше, чем те, кто вдали от двора. И Анна Федоровна Тютчева считает, что здесь очень важен — как ни странно, этикет: «Придворная жизнь, по существу, жизнь условная, и этикет необходим для того, чтобы поддержать ее престиж. Это не только преграда, отделяющая государя от его подданных, это в то же время защита подданных от произвола государя. Этикет создает атмосферу всеобщего уважения, когда каждый ценой своей свободы и удобств сохраняет свое достоинство. Там, где царит этикет, придворные — вельможи и дамы света, там же, где этикет отсутствует, они спускаются на уровень лакеев и горничных, ибо интимность без равенства всегда унижительна, как для тех, кто ее навязывает, так и для тех, кому ее навязывают. Дидро очень остроумно сказал о герцоге Орлеанском: «Этот вельможа хочет стать со мной на одну ногу, но я отстраняю его почтительностью».

Может быть, это мнение Анны Федоровны справедливо на все времена?

\* \* \*

Мне случилось видеть однажды, что во время танцев в Тюгелърийском дворце, произведенных первыми танцорами парижских театров, приглашенные дамы сидели на табуретах, а императрица, королевы: гишпанская, голландская и принцесса Боргезе — на креслах; за каждую из них стояло по одному камергеру; принцессе Боргезе захотелось поставить свои ноги на скамеечку; она оборотилась, сделала только знак своему камергеру, который тотчас пошел, принес скамеечку, поставил ей под ноги и закрыл оную ее платьем, она даже и поклоном его за то не поблагодарила. Сравните же с сими пришельцами высоких членов нашего императорского дома: с какою утонченною деликатностью они обходятся со своими придворными чинами. Должно еще заметить, что Наполеон составил свой двор из особ знатнейших французских фамилий. После спектакля все собирались в комнате, так называемой *le salon des Marechaux* (зал Маршалов — *фр.*); в ней находились во весь рост

портреты французских маршалов. Через несколько минут дежурные камергеры выходили из бывшей подле комнаты и приглашали избранных особ для составления партии в вист императрицы, обеих королей, принцессы Боргезе и m-me de la Rochefoucauld, grande maîtresse de la cour (г-жи де Ларошфуко, великолепной хозяйки двора — *фр.*). Когда партии в карты были составлены, то отворялись обе половинки двери, и все мужчины и дамы должны были идти поодиночке отдать, — так называлось, — поклон императрице, обеим королевам: гишпанской, голландской и принцессе Боргезе, которые отвечали небольшим поклоном. В сие время Наполеон стоял в той же комнате и как будто всем делал инспекторский смотр; иногда он подзывал к себе из мужчин того, с кем ему нужно было поговорить. Для дам сия церемония была весьма затруднительна, ибо они, не оборачиваясь, а только отталкивая ногой предлинные хвосты их платьев, должны были маневрировать. Императрицын стол стоял один в поперечной стене комнаты, а прочие три — в продольной. Стало быть, надлежало дамам сделать три поклона, идя прямо к столу императрицы; потом, повернувшись несколько направо, сделать каждой из королей и принцессе по одному поклону, переходя боком от одной до другой.

Когда представлялась жена моя Жозефине, я ее провожал до той комнаты, где назначено было собираться. Гофмаршал императрицы, который нас ожидал, сказал мне: «Предупредите графиню, что она должна сделать императрице три поклона при входе и столько же, когда будет откланиваться, идя назад, не оборачиваясь; вчера одна дама так запуталась в хвосте своего платья, что упала на пол и меня чуть с ног не сшибла».

*Е.Ф.Комаровский. Записки*

### Этикет

Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу.

Истина неоспоримая...

Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся *покорнейшими слугами*, и, кажется, никто из этого еще не заключал, чтобы мы просились в камердинеры.

Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворе наших царей, были уничтожены у нас Петром Великим при всеобщем перевороте. Екатерина II занялась и сим уложением и установила новый этикет. Он имел перед этикетом, наблюдаемым в других державах, то преимущество, что был основан на правилах здравого смысла и вежливости общепонятной, а не на забытых преданиях и обыкновениях, давно изменившихся. Покойный государь любил простоту и непринужденность. Он ослабил снова этикет, который, во всяком случае, не худо возобновить. Конечно, государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных; но этикет есть также закон; к тому же он при дворе необходим, ибо всякому, имеющему честь приближаться к царским особам, необходимо знать свою обязанность и границы службы. Где нет этикета, там придворные в поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Нехорошо прослыть невежею; неприятно казаться и подслужливым выскочкою.

*А.С.Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург. 1833—1834*

### Книжные лавки

В начале XIX в. в большинстве книжные лавки были открытыми, их пристраивали к Апраксину рынку в Петербурге, у стен Василия Блаженного в Москве. В 1820 г. в журнале «Отечественные записки» писали: «Близ Сухаревой башни, сооруженной первым императором, были в старину Стрелецкие слободы, а приходскою их церковью Живоначальная св. Троица на Листах, названная так потому, что у ограды ее продавались листы раскрашенные, кои печатались у Успения в Печатниках, на Сретенке. В последствии времени сии листы продавались у Спасского моста, близ старого бастиона, а оттуда были перенесены к ограде Казанской, около которой собирались досужие зевать и толковать о былях и небылицах...» Какой-то малоизвестный поэт так писал в 1811 г. о книжной лавке:

*...Завален книгами гостиный двор торжок.  
Выходишь, например, на рынок за свечами,  
Тут просвещение в корзинах за плечами,  
Шаг дале — лавок ряд, в них полки в семь аршин,  
Там выставлены все по росту книги в чин:  
В кафтанах разных мод или в тюках огромных  
Иные век лежат в углах себе укромных.*

*Иду — глушит меня книгопродавцев шум;  
Все в такт кричат: сюда! Здесь подешевле — ум!  
Всяк знатоком у них, на память все читают  
Книг роспись предо мной — уступку обещают,  
Лишь только как-нибудь меня к себе привлечь.*

Потом появились маленькие лавочки, где торговали иностранными и переводными книгами. Впрочем, университетские лавки существовали уже в середине XVIII в. При Петре I и при Елизавете книжная торговля была делом государственным, некоторые особо важные издания рассылались даже бесплатно, чтобы внушить то мировоззрение, которое официально считалось единственно верным. Екатерина II, решившись быть просветительницей, разрешила завести частные, так называемые *вольные*, типографии — было разрушено единомыслие, расширился книжный рынок в России. В Москве явился Николай Иванович Новиков, он взял в аренду типографию Московского университета и в два года из захудалого заведения с устаревшими станками сделал ее лучше в России. Человек образованный и с хорошим вкусом, Новиков издавал учебную литературу, переводные романы, словари, исторические сочинения. На его вкус полагались — известно, что Державин составлял свою личную библиотеку, выписывая книги из лавки Новикова. В Типографической компании Новикова начинал (в качестве переводчика) свое писательское поприще Николай Михайлович Карамзин.

«Господин Новиков в Москве был главным распространителем книжной торговли, — писал Карамзин в 1802 г. в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России». — Взяв на откуп университетскую типографию, он умножил механические способы книгопечатания, отдавал переводить книги, завел лавки в других городах, всячески старался приохотить публику к чтению, угадывая общий вкус и не забывая частного. Он торговал книгами, как богатый голландский или английский купец торгует произведениями всех земель: то есть с умом, с догадкой, с дальновидным соображением...

Наша книжная торговля не может еще равняться с немецкою, французскою или английскою; но чего нельзя ожидать от времени, судя по ежегодным успехам ее? Уже почти во всех губернских городах есть книжные лавки; на всякую ярмарку, вместе с другими товарами, привозят и богатства нашей литературы. Так, например, сельские дворянки на Макарьевской ярманке запасаются не только чепцами, но и книгами. Прежде торгаши езжали по деревням с лентами и перстнями: ныне ездят они с *ученым товаром*, и хотя по большей части сами не умеют читать, но, желая прельстить охотников, рассказывают содержание романов и комедий, правда, по-своему и весьма забавно... Любопытный пожелает, может быть, знать, какого рода книги у нас более всего расходятся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все, не задумавшись, отвечали: «Романы!»

В «Письмах русского путешественника» Карамзин рассказывал о посещении библиотек во Франции и Пруссии, ему нравилось, что за небольшие деньги можно пользоваться книгами по своему выбору и даже брать их читать домой. В России публичных библиотек еще не было. Правда, в книжных лавках можно было взять книги для чтения, но только те, которые не имели спроса и по выбору самого лавочника. Новиков, кажется, первым учредил в Москве библиотеку для чтения. В Петербурге это сделал в 1816 г. Василий Алексеевич Плавильщиков, сын московского купца и брат известного артиста. «Его магазин представлял тихий кабинет муз, где собирались ученые и литераторы делать выправки, выписки и взаимно совещаться», — сообщал Ф.Булгарин.

Может быть, Пушкин, выпущенный из Лицея в 1817 г., и заходил в книжную лавку Плавильщикова, но знаком с ним не был. Зато другого книгопродавца и издателя, Илью Ивановича Глазунова, Пушкин хорошо знал. В его лавку в Гостином дворе поэт заходил почти каждый день. Глазунов открыл свою библиотеку для чтения в 1824 г. В газете того времени читаем: «Книгопродавец г. Глазунов открыл в собственном доме (состоящем в Бол. Мещанской, противу ломбарда) *библиотеку для чтения российских книг*, по примеру библиотеки бывшей Плавильщикова, ныне принадлежащей А.Ф.Смирдину. Может быть, со временем библиотека г. Глазунова достигнет до той степени совершенства, на коей находится библиотека Плавильщикова, но ныне она составляет едва десятую часть противу сей последней».

В пушкинское время книгопродавцы перестали быть просто купцами и торговцами — они стали посредниками между писателем и публикою, распространителями просвещения. Когда-то Пушкин называл переводчиков «почтовые лошади просвещения». Это вполне можно применить к издателям-книгопродавцам. Самые образованные из них умели сделать свои лавки своеобразными мужскими клубами. Здесь, в неофициальной обстановке и в любое время можно было ожидать встречи с понимающим читателем, здесь есть с кем повести разговор «высшей образованности», как называл Пушкин беседу, свободно играющую литературными цитатами, отсылками, беседу-игру, игру творческую. С 1817 г. излюбленным местом таких встреч стала только что открывшаяся книжная лавка Сленина.

«...К Ивану Васильевичу по Невскому проспекту заходили мимоходом во время прогулки

литераторы, так как в его магазине принимались подписки на получение газеты «Русский инвалид», и он был комиссионером редакции, то все знакомые покупатели «Истории» Карамзина, которую он приобрел печатанием второго издания, получали от него по подписным билетам и выдавались им по томам, — писал старый знаток и любитель книги И.Т.Лисенков. — Поэт барон Дельвиг, издатель «Литературной газеты», бывший у него часто на час, приводил с собою всех своих литературных тружеников на перекусок по Невскому проспекту к Сленину, где и отличались один перед другим разными остротами и сарказмами на все им знакомое. Сленин, как понимал их разговор и любитель шуток, это его весьма интересовало. Поэты Воейков, Розен, Пушкин и прежние литераторы и журналисты тянулись побеседовать вкупе с Слениным о прежнем и новом житье-бытье русской литературы».

Сленин Пушкин хорошо знал. Он был издателем альманаха «Полярная звезда» и дельвиговских «Северных цветов», в его магазине продавались «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Стихотворения» Пушкина. Когда до Петербурга в 1826 г. дошло известие об освобождении Пушкина из ссылки, Дельвиг писал ему, что друзья поэта — называя среди них и Сленина — «все прыгают и поздравляют тебя». Известное стихотворение Пушкина «Мадона», обращенное к Наталье Николаевне, написано под впечатлением увиденной в лавке Сленина старинной копии Мадонны Рафаэля. В альбом Ивана Васильевича Пушкин записал стихи «Я не люблю альбомов модных...» — а много ли книгопродавцев могли похвастаться таким царским подарком! Отказываясь от модных дамских альбомов, поэт делает исключение для альбома Сленина:

*Но твой альбом другое дело,  
Охотно дань ему плачу...  
Вхожу в него прямым поэтом,  
Как в дружеский, приятный дом,  
Почтив хозяина приветом  
И лар молитвенным стихом.*

В 1830-х гг. в Петербурге возшла звезда книгопродавца и издателя Александра Филипповича Смирдина, бывшего некогда приказчиком у Плавильщикова, проявившего немалые способности, так что в 1823 г., умирая, Плавильщиков предложил Смирдину, тогда еще молодому человеку, приобрести по дешевке его библиотеку. В 1831 г. Смирдин переехал в новое просторное помещение и устраивал новоселье своей библиотеки. Газета «Северная пчела» писала: «А.Ф.Смирдин, снискавший уважение всех благомыслящих литераторов честностью в делах и благородным стремлением к успехам литературы, приобретший доверенность и любовь публики богатыми и дешевыми изданиями любимых авторов, старых и новых, и точностью в исполнении своих обязанностей, Смирдин захотел дать приличный приют русскому уму и основал книжный магазин, какого еще не бывало в России. Лет около пятидесяти перед сим для русских книг даже не было лавок. Книги хранились в подвалах и продавались на столах, как товар из ветошного ряда. Деятельность и ум незабвенного в летописях русского просвещения Новикова дали другое направление книжной торговле, и книжные лавки основались в Москве и Петербурге, по образцу обыкновенных лавок. Покойный Плавильщиков завел, наконец, теплый магазин и библиотеку для чтения, и Сленин, последовав примеру Плавильщикова, основал также магазин в той части города, где долгое время, подле модных тряпок, русские товары не смели появляться в магазинах. Наконец, Смирдин утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол: на Невском проспекте, в прекрасном здании... в нижнем жилье находится книжная торговля г. Смирдина. Русские книги, в богатых переплетах, стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенною скоростью. Сердце утешается при мысли, что, наконец, и русская литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги».

При открытии магазина и библиотеки Смирдин устроил знаменитый праздничный обед, на котором были Пушкин, Вяземский, Жуковский, Крылов и многие другие. Николай Иванович Греч, известный журналист, описывал это событие в письме к своему приятелю: «В прошедшую пятницу, 19 февраля, открыл он сию библиотеку празднеством, на которое пригласил многих литераторов и других любителей просвещения. Крайне сожалею, что вы и некоторые другие, по местным и временным обстоятельствам, не могли быть на сем единственном в России празднестве. Обеденный стол накрыт был в большой зале библиотеки, посреди шкапов, наполненных произведениями нашими и наших предшественников. В шестом часу сели за стол, пестрым строем и пишущие и читающие. Любопытно и забавно было видеть здесь представителей века минувшего, истекающего и наступающего; видеть журнальных противников, выражающих друг другу чувства уважения и приязни; критиков и раскритикованных, взаимно объясняющихся; страстные уверения, усердные обещания, невинные остроты искрились, как шампанское в бокалах».



Звучали не только тосты, но и стихи. Даже граф Хвостов, человек очень добрый, но удивительно бездарный стихотворец при непобедимой своей страсти к сочинительству, прочитал вполне приличные стихи:

*Угодник русских муз, свой празднуй юбилей,  
Гостям шампанское для новоселья лей;  
Ты нам Державина, Карамзина из гроба  
К бессмертной жизни вновь, усердствуя, воззвал  
Для лавра нового, восторга и похвал.*

Лавка Смирдина стала настоящим писательским клубом. Иван Иванович Панаев, литератор и соратник Некрасова, а тогда еще очень молодой человек, вспоминал, как он у Смирдина встретил Пушкина: «...Однажды, часа в три, я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте в бельэтаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватою эспаньолкой, одетый франтовски; другой, среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдающимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского.

До этого я никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной.

Он спросил у Смирдина, не помню, какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко и, не смотря на Пушкина и потом, с улыбкой обратившись к Смирдину, начал с некоторою торжественностью:

— К Смирдину как ни придешь... — и остановился....

После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромта Пушкина:

*К Смирдину как ни придешь,  
Ничего не купишь,  
Иль Сенковского найдешь,  
Иль в Булгарина наступишь».*

Панаев неточно цитирует экспромт-шутку Пушкина. Да и не этим определялись отношения литераторов к честному книгопродавцу и издателю. Недаром на торжественном обеде все они решили подарить Смирдину по стихотворению или повести — так получился альманах «Новоселье», на титуле которого изображен литературный обед в библиотеке.

\* \* \*

*Книжная лавка в Ревеле:...* Я увидел превеликую лавку, наполненную всю переплетенными книгами, но, к сожалению моему, не русскими, а все иностранными. Со всем тем, жадность моя к книгам была так велика, что я готов был их все закупить...

*А.Т.Болотов. Записки*

...Мы видим перед собой иностранные книжные лавки. Их множество, и ни одной нельзя назвать богатою по сравнению с петербургскими, но зато есть мадам Жанлис и мадам Севинье, два катехизиса молодых девушек, и целая груда французских романов... Их беспрестанно раскупают и в Москве, ибо наши модницы не уступают парижским в благочестии и с жадностью читают глупые и скучные переводы...

*К.Н.Батюшков. Прогулка по Москве*

Когда в некоторых журналах наших встречаются (а встречаются часто) французские слова и поговорки, вкривь и вкось употребляемые, это всегда приводит мне на память рассказ (Ф.И.) Толстого. Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Однажды послышалось ему, что ямщик, постегивая кнутом коней своих, приговаривает: «Ой, вы, Вольтеры мои!» Толстому показалось, что он обслушался; но ямщик еще два раза проговорил те же слова. Наконец Толстой спросил его: «Да почему

ты знаешь Вольтера?» — «Я не знаю его», — отвечал ямщик. «Как же мог ты затвердить это имя?» — «Помилуйте, барин, мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и понаслушались у них».

*П.А.Вяземский. Старая записная книжка.*

## ***Литературный миф Петербурга***

«Царь собрал своих вейнелейсов (так финны называли русских) и говорит им: «Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю». И стали строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и наверху земли одна топь остается. Между тем царь соорудил корабль, оглянувшись: смотрит, нет еще его города. «Ничего вы не умеете делать», — сказал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю».

Чудный город — даже на земле его построить невозможно — Петр строит его на воздухе. Место, где город возник, невозможно для жизни: вообще-то Петербург до сих пор единственный город такой величины, построенный столь далеко на Севере. Здесь марево белых ночей, здесь человек чувствует себя не очень устойчиво. Против него не только болото, но и водная стихия: «Море взбушевало, вылилось из берегов и всползло на кровли нового города. Царь отдыхал тогда после дневной работы, проснулся, видит: хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом по морю, и море смутилось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские ноги. «Неси мои корабли!» — вскричал царь грозным голосом, и море приняло их на свои влажные плечи. «Застынь», — сказал царь, и море подернулось льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса», — сказал царь, и корабли покатались по скользкому льду...» Так рассказывал Владимир Федорович Одоевский финскую легенду о возникновении Петербурга.

Не совладать морской стихии с царем Петром! Сколько раз еще наводнение грозило чудному городу, каждое поколение помнило страшные разрушения, причиненные водой, и все-таки град Петров красуется и стоит, «неколебимо, как Россия». Если подумать — нет в мире города, подобного Петербургу. Обычно город возникал на месте поселения. Сначала — небольшая крепость, детинец, как называли русские кремль, вокруг нее начинался посад и дорастал до города. Так строились Москва, Ярославль, Нижний и Великий Новгород. Петербург был сначала задуман.

«Из русской земли Москва *выросла* и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва *выросла* — Петербург *вырощен*, вытянут из земли, или даже просто «вымышлен».

Может, прав Мережковский: вымышленный город. Возникла даже легенда, что он поднялся «вдруг», по манию царя. Легенда поздняя. На самом деле город строился медленно, и поначалу совсем не на том месте, где расположен теперь его центр. Петр задумывал город-крепость, а идеальная крепость со всех сторон должна быть окружена водой. Пробовали строить Петербург на острове Котлин, там, где нынче Кронштадт. Не удалось. Тогда Петр пробовал создать центр на Васильевском острове, рыли каналы, которые должны были стать его улицами — Петр мечтал о Северной Венеции. Он был очарован Амстердамом. «Если Господь продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам», — говорил он. Но то ли инженеры просчитались, то ли хитрый губернатор Меншиков не пожелал иметь беспокойство рядом со своим дворцом, только каналы прорыли чуть уже, чем надобно было, и чуть менее глубокие — корабль не мог пройти. Петр рассердился, но велел каналы засыпать, а центр города переместил на Петроградскую сторону, а затем на Адмиралтейский остров, где он и сейчас. А на Васильевском так и остались бывшие каналы прямыми Линиями Васильевского острова, как стали именоваться его улицы.

*Знать, одолел мороз трескучий,  
Знать, было на земле темно,  
Коль сильным взмахом царь могучий  
В Европу прорубил окно...*

Сколько про это «окно в Европу» говорилось и в прошлом, и в наше время! Над «окном» подшучивали: из него дует, почему не в дверь, а лазить через окно... Когда шутят — значит, событие утвердилось в истории, отношение к нему неоднозначно. Как у Пушкина — то «свинский Петербург», то «Люблю твой строгий, стройный вид». А Леонид Андреев 16 апреля 1918 г. записал в дневнике: «Сейчас под угрозой сердце. Вообще жду околеванца. Подвел меня Петр. Прорубил окно, сел я у окошка полюбоваться пейзажами, а теперь приходится отчаливать... Москва, которую только и узнал в дни своего писательства... слишком густа по запаху и тянет на быт. Там нельзя написать ни «Жизни человека», ни «Черных масок», ни другого, в чем есмь. Московский символизм притворный и проходит как корь. И

близость Петербурга (люблю, уважаю, порою влюблен до мечты и страсти) была хороша, как близость целого символического арсенала: бери и возобновляйся.... Тогда верил и исповедовал Петроград... по собственным смутным переживаниям, сну прекрасному и неоконченному...»

Символисты, писатели начала XX в., особенно любили Петербург за те фантастические ощущения призрачности бытия, которые дарят человеку белые ночи. Пушкин удивлялся:

*Пишу, читаю без лампады,  
И ясно небо, и светла  
Адмиралтейская игла...*

А Гоголь первый, кажется, понял, что есть особая литература — петербургская, «Петербургские повести», и «лжет ваш Невский проспект». И у Пушкина в подзаголовке «Медного всадника»: *петербургская повесть*. А дальше пошло, потому что мы уже знаем, насколько Петербург Пушкина отличается от Петербурга Гоголя или Достоевского.

«Петербург никогда не боялся пустоты. Москва *росла* по домам, которые, естественно сцеплялись друг с другом, *обрастала* домишками, и так возникали московские улицы. Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнствуют только шириною, а не духом пространства; также и небольшие кривые московские речки под стать улицам. Основная единица Москвы — дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом... Улицы в Петербурге же образованы ранее домов, и дома только восполнили их линии. Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга — площадь».

Тынянов — а это отрывок из его романа «Кюхля» — прав: Петербург — это захват пространства. Все здесь начиналось с идеи. Сейчас мы как-то привыкли — город Петра. Но ведь не царя Петра, а Санкт-Петербург, город, имеющий покровителем святого Петра, небесного покровителя царя земного. Новая столица претендовала на роль имперского города, четвертого Рима. Это раньше считали: Москва — третий Рим, а четвертому не бывать. Петр не согласен: он выбирает гербом Петербурга два якоря, изображенные не так, как обычно, а перевернутыми. Якорь — символ надежды, опоры, якорь указывает на город-порт. Но стоит присмотреться, и ясно: герб Ватикана — два скрещенных ключа бородами вверх — ключи от града небесного; в Петербурге два скрещенных якоря, расположенных совершенно «в рифму» гербу Ватикана.

*И волею неземнородной  
Царя, закованного в сталь,  
В пустыне, скудной и холодной,  
Воздвигнут северный Версаль.  
Где вечно плакали туманы  
Над далью моха и воды,  
Забили светлые фонтаны,  
Возникли легкие сады.  
Где плавали за рыбной данью  
Два-три убогие челна,  
Закована глухою гранью  
Невы державная волна....  
И, мудростью подобен змию,  
Веселый царь, как утро юн,  
Новорожденную Россию  
Забил в железо и чугун.*

Сергей Соловьев

Петр значит «камень» — и строится каменный Петербург. Это не совсем точно, будто до Петра Русь была деревянная, — сколько мы знаем белокаменных церквей и строений XVII в., и детинцев, и крепостей. Но Петр сделал это идеей: он принял Русь деревянную и укрепил ее — сделал каменной. Петропавловский собор в крепости начали строить не так, как положено, а с колокольни: Петр хотел дать ведущую вертикаль будущей столице. Царь торопился. Не удалось сделать остров, тогда царь решил натянуть город стрелою Невской перспективы: с одной стороны Адмиралтейство, Петропавловский собор, с другой — Александро-Невская лавра. Русский святой Александр Невский объявлен покровителем новой столицы; Петр организует торжественный перенос мощей святого в Петербург и закладывает лавру. Еще нет домов, но тянут строители замечательную прямую стрелу дороги, связывающей лавру и Адмиралтейство, чтобы можно было их видеть с разных концов. Промашка вышла, не сумели строители

свести прямую линию, и делает она резкий изгиб у нынешнего Московского, бывшего Николаевского, железнодорожного вокзала...

«Ваш Петербург, точно огромная казарма, вытянутая в струнку, этот гранит, эти мосты с цепями, этот непрестанный барабанный бой, все это производит подавляющее впечатление», — писал обиженно Карл Брюллов. А Пушкин не согласен с Карлом Брюлловым: «Люблю твой строгий стройный вид... / Люблю воинственную живость / Потешных марсовых полей... / Невы державное течение...»

Нева — как огромное зеркало Петербурга — в ней отражаются фасады дворцов, двоятся, играют — совершенно театральные эффекты, свойственные, кроме Петербурга, разве что Венеции. Когда-то будущий министр просвещения Сергей Семенович Уваров писал о Венеции: «Это театр, опустевший после представления, или балльная зала, когда все уже разошлось». Уваров — современник Пушкина, а гораздо позже, в 1918 г., Ауслендер так писал «Хвалу Петербургу»: «...И вдруг на углу случайно поднимешь глаза и увидишь сквозь арку площадь, угол желтого с белым дома, чугунную решетку канала, подстриженные ровно деревья, будто картину гениального мастера, познавшего всю божественную прелесть гармоничности и обладающего четким твердым рисунком. Сотни, тысячи самых разнообразных картин рисует Петербург тому, у кого есть зоркий глаз для красоты. Город гениальных декораций — для всего, что свершилось в нем и великого, и малого, и прекрасного, и отвратительного, он умел дать надлежащую оправку».

Эта потребность постоянного разгадывания смыслов, постоянной перекодировки: Петербург-театр, Петербург-книга, Петербург — четвертый Рим — ощущается на всем протяжении истории города. Даже имя, которое менялось: Петербург—Петроград—Ленинград, и всегда символичное, даже Ленинград, а не Ульяновск, например, то есть имя-знак, а не настоящее, человеческое. Город, названный в честь святого Петра, переименован в Петроград — понятно, идет Первая мировая война, немцы—враги, патриотические чувства заставляют думать об имени столицы... Но что-то здесь нарушается, и такой чуткий к языку писатель, как Алексей Ремизов, тут же это почувствовал. В альбоме своего друга и издателя Алянского он назвал столицу «Петина деревня» и тогда же записал: «Обездолили, отреклись от твоего имени — чья это лесть? кто покривил? или с дури? или безумье? — обездолили, отреклись от апостола, имя святое твое променяли на человеческое: из града Святого Петра — петухом — Петроградом сделали. Вот почему отступили силы небесные, и загнездилась на вышках твоих черная сила».

Как возник Петербург — вдруг, из тьмы лесов, из топи блат, — так и конец его будет необыкновенным. Или вода покроет город, или он, как морок, как туман, сам рассеется. Достоевский боялся такого конца: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?»

И рядом с реальной судьбой города — всегда судьба города поэтов и писателей, города русской духовности — необоримой и бессмертной. Поэтому и Петербург бессмертен. Это очень хорошо выразил Самуил Маршак:

*Все то, чего коснется человек,  
Приобретает нечто человечье.  
Вот этот дом, нам прослуживший век,  
Почти умеет пользоваться речью. <...>  
Давно стихами говорит Нева.  
Страницей Гоголя ложится Невский.  
Вот Летний сад — Онегина глава.  
О Блоке вспоминают Острова,  
А по Разъезжей бродит Достоевский.  
А там еще живет Петровский век  
В углу между Фонтанкой и Невую...  
Все то, чего коснется человек,  
Озарено его душой живою.*

\* \* \*

Приехав в Петербург, мы остановились всего на несколько дней в отеле «Англия» на Адмиралтейской площади, против Зимнего дворца, резиденции его императорского величества. Дворец этот построен в стиле древней французской архитектуры. Возвышающееся против дворца Адмиралтейство — великолепное здание, построенное императором Александром; ведь если Петр Великий основал Петербург, Александр украсил его. Государь имел большую склонность к

архитектуре, понимал в ней толк и очень любил строить.

*Шуазель-Гуфье. Исторические мемуары*

*Балакирев* — любимый шут Петра I — был известен тем, что своими шутками, не боясь гнева царя, постоянно высказывал ему правду в глаза.

Однажды Петр, чтобы знать общественное мнение о новой столице, спросил у *Балакирева*, какова народная молва о новорожденном Петербурге.

— Батюшка, царь-государь! — отвечал Балакирев. — С одной стороны — море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох!

## ***От биографии к мифу***

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...» — писал Михаил Юрьевич Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени».

Может быть, даже не души, а жизни человеческой. Ведь история жизни, биография всегда интересовала людей. В Древней Греции Плутарх записывал биографии героев и политических деятелей, потом появились жития святых. Это были истории жизней образцовых, ими восхищались, но так жить было по силам немногим. Это нравственный подвиг — быть рыцарем без страха и упрека. Нормальная жизнь, со своими маленькими горестями и радостями, казалась неинтересной — ее просто не замечали. Только в сороковые годы XIX в. писатели натуральной школы станут интересоваться именно обыденным. В XVIII в., в пушкинское время людей интересовало то, что было необычно, выпадало из нормы. Такие истории становились сюжетами новелл, их запоминали в анекдотах. Внимание к новости — черта литературы нового времени.

Внимание общества привлекали люди, не похожие на других, — чудачки, оригиналы, которых немало появилось в России в XVIII в. Это был способ выделиться из массы все равно каким способом: одеждой, поведением, физической силой. Рассказывали, например, о необыкновенном силаче Костенецком, который гнул руками подковы, свертывал в трубочки серебряные тарелки. Однажды над ним решили подшутить — поднесли ему на тарелке искусно сделанную каменную грушу и просили скушать. Костенецкий заметил обман. Он взял грушу в руку и как бы нечаянно... раздавил ее со словами: «Ах! Какая она мягкая!»

Большими странностями отличался великий Суворов, так что окружающие не всегда были уверены, что он в здравом уме. А между тем это было не просто стремление привлечь к себе внимание, это была сознательно выбранная жизненная позиция.

Однажды Суворов, разгораясь, спросил присутствующих: «Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою. Меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, придворные надо мною смеялись. Я шутками говорил правду, подобно Балакиреву, который был при Петре I и благодетельствовал России. Я пел петухом, пробуждая сонливых, уговоря буйных врагов отечества. Если бы я был Цезарем, то старался бы иметь всю благородную гордость души его, но всегда чуждался бы пороков». Так Суворов, говоря словами Державина, «истину царям с улыбкой говорил». Здесь не просто желание выделиться — это обнажение приема, другим способом трудно донести истину до людей власти.

Двойное обличье было у Суворова — то серьезного полководца, то человека, странности поведения которого вызывали и восторг, и недоумение. Суворов был неудобный человек: и без него не обойдешься, и с ним как-то неловко. Чудачествами великий полководец оборонялся от ран, которые наносили ему при дворе. Суворов говорил, что у него было семь ран: две получены на войне, а пять при дворе, и эти последние мучительнее первых. Когда великий полководец умер, Державин написал свою замечательную песнь «Снигирь», где, как в жизни Александра Васильевича, чередовались строфы торжественные, одические с шутовскими, ироническими. Кажется, первым эту тонкую характеристику заметил Юрий Михайлович Лотман:

*Кто перед ратью будет, пылая,  
Ездить на кляче, есть сухари;  
В стуже и в зное меч закаляя,  
Спать на соломе, бдеть до зари;  
Тысячи воинств, стен и затворов,  
С горстью россиян все побеждать?*

*Быть везде первым в мужестве строгом,  
Шутками зависть, злобу штыком,  
Рок низлагать молитвой и Богом,  
Скиптры давая, зваться рабом...*

О Суворове рассказывали множество анекдотов. Его реальная биография: неприятности по службе, незадавшаяся семейная жизнь — все отступало перед могучим осознанием мифологичности его личности. Его представили бы былинным богатырем, но какой он богатырь — небольшого роста, слабого здоровья, солдат — сам сделавший себя грозным и славным. Он играл на противоположности своих природных данных и силы духа, то притворяясь почти юродивым, то выступая главнокомандующим. Рассказывали об иностранном дипломате, однажды попытавшемся поговорить с Суворовым и отступившим — чудак, шут какой-то; а на следующий день получил у главнокомандующего аудиенцию и вышел очарованный: с каким умным человеком говорил!

Общество запоминало все, выходящее за границы обыкновенного, — и ум, и глупость. Складывался целый корпус анекдотов, часто безымянных: «Бутурлин был нижегородским военным губернатором. Он... прославился знаменитым приказом противу пожаров, тогда опустошавших Нижний. В числе этих мер было предписано домохозяевам за два часа до пожара давать знать о том в полицию». Или другой рассказ: «Гражданский губернатор был в ссоре с вице-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты... Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург. Вице-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю ответить на нее, подписал ответ и, получив его как вице-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжением строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью».

Кажется, Нарышкин рассказывал, как «один камер-лакей, при выходе в отставку, просил за долговременную и честную службу отставить его «не в пример другим» Арапом. В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее было быть черным, чем белым... жалованье, получаемое Арапами, превышает жалованье прочей прислуги».

Так складывается биография эпохи, может быть, самая правдивая история русского общества. Биография отдельного человека в пушкинское время, время романтизма, складывается из поступков бунтарских, необычных, часто облаченных в дурачества и создающих определенную репутацию изображенному. Приятель Лермонтова и сын известного в пушкинское время почт-директора Константин Александрович Булгаков был знаменитый в Петербурге повеса и шутник. Его рискованные проделки, впрочем всегда сходившие ему с рук, создавали молодому человеку репутацию почти бунтаря: «Из числа анекдотов о Булгаковских повесничествах известен следующий. Император Николай Павлович, заметив, что офицеры стали носить сюртуки до того короткие, что они имели вид каких-то камзольчиков, обратил на это внимание великого князя Михаила Павловича. По гвардейскому корпусу был отдан приказ с определением длины сюртучных пол, причем за норму был принят высокий рост... Шутник Булгаков, рост которого был гораздо ниже среднего, потребовал от своего портного сюртук точь-в-точь с полами именно той длины, какая определялась приказом, почему полы его сюртука покрывали ему икры и он был карикатурен до комичности, гуляя по Невскому и возбуждая смех не только знакомых, но и незнакомых офицеров. Едва успел он раза два пройти в таком виде среди гуляющей публики по тротуару Невского проспекта, как попался навстречу великому князю, который, увидя его в таком шутовском наряде, воскликнул: «Что это за юбка на тебе, Булгаков? На гауптвахту, на гауптвахту, голубчик! Я шутить не люблю». — «Ваше высочество, я одет как нельзя более по форме, и наказания, ей-Богу, не заслуживаю, — возразил почтительно Булгаков, держа пальцы правой руки у шляпы, надетой по форме. — Я одет согласно приказу по гвардейскому корпусу. И вот доказательство!» При этом он вынул из кармана пресловутый приказ и подал великому князю». Проделка не имела последствий: великий князь назвал Булгакова шутком гороховым и послал к корпусному командиру сделать дополнения к приказу — изменять длину сюртука согласно росту. А в обществе, может быть, и не было бы у молодого человека такой популярности, если бы не его выходки.

Известно, что «поэт в России больше, чем поэт». Но с чем это связано? И когда возникла эта ситуация? Ведь в средневековом сознании имя автора не значило ничего. Мы и не знаем большинства имен древнерусских авторов. И не потому, что так небрежны были наши предки. Просто истинность текста изначальна, потому что текст принадлежит существу высшему, автор же только передатчик, он записывает уже существующее вне его. Как только личность осознала себя как создателя, стало ясно: человек может ошибаться, поэтому текст его уже не имел изначальной истинности, но мог быть и истинным и ложным. Сразу изменилась точка зрения: если раньше записывали то, что неизменно, вечно, и не обращали внимания на события сиюминутные, то теперь важными стали именно события необычные, случившиеся

однажды — появился жанр новеллы. И вот тогда особенно важно стало, каков сочинитель, потому что только его личная нравственная безупречность ручалась за правдивость его текстов. Отсюда и споры между Ломоносовым и Тредьяковским, столь часто переходящие «на личности», отсюда требовательность к своей биографии Пушкина, ощущающего себя представителем России, — можно позволить шалости, любовные приключения, но никогда то, что затрагивает честь. Такое самоощущение Пушкина сохранилось в анекдоте старого лицеиста: «Вскоре после моего выпуска из Царскосельского Лицея я встретил Пушкина... который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из Лицея?» — «Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку, — ответил я. — А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» — «Я числюсь по России», — был ответ Пушкина».

Отныне биография писателя столь тесно связана с его произведениями, что он ответствен за каждое свое действие. Особенно важна его готовность к гибели, к испытаниям, ценою которых он готов отстаивать свою свободу. Профессор Лотман рассматривает биографию писателя как факт культуры своего времени и говорит, что для современников Пушкина поэзия Рылеева никогда не была выдающимся явлением литературы, но после гибели Рылеева вес его поэтического наследия изменился. В сборнике «Сто литераторов», изданном в 1833 г., помещены были два портрета — Бестужева-Марлинского в бурке и поэта Полежаева в солдатской шинели. Это литераторы, пострадавшие за свои убеждения. Написать об их судьбе прямо не представлялось возможным, но изображения красноречиво рассказали о том, чего не пропускала цензура.

Были и случаи, выпадающие из нормы. Иван Андреевич Крылов становился человеком легендарным уже потому, что не давал современникам никаких материалов для своей биографии. Этот умный и исключительно талантливый человек прятался под маской ленивого обжоры, поощряя многочисленные рассказы о своей страсти к еде: «Как известно, Крылов умер от несварения желудка, съев на ночь натертых сухих рябчиков с маслом. Незадолго до смерти его навещил генерал-адъютант Ростовцев, искренне любивший Ивана Андреевича, и тот сказал ему:

— Чувствую, что скоро умру, и очень сожалею, что не смогу написать последней басни на самого себя.

— Какой басни? — спросил Ростовцев.

— А вот какой: нагрузил мужик воз сухой рыбой, собираясь везти ее на базар. Сосед говорит ему: «Не свезет твоя клячонка такой грузной клади». А мужик отвечает: «Ничего! Рыба-то сухая!...»

Мы до сих пор не можем прояснить некоторые моменты в реальной биографии Крылова, но его личность прекрасно освещена в массе рассказов о нем. Так, из анекдотов и воспоминаний, создается квазибиография, биография-миф, определяющая наше восприятие не только самого писателя, но и его произведения. Так и запоминаем мы, что все, написанное Крыловым правда, а все, созданное Фадеем Булгариным, не стоит упоминания, потому что он служил в полиции и был доносчиком, а ведь литератор он был не хуже многих! Действительно, поэт в России больше, чем поэт...

В художественном произведении самые важные в смысловом отношении места — это начало и конец произведения. Так и в жизни человека. Надо уметь сделать последние свои минуты достоянием истории. И это важно не только для писателя. Все запомнили кончину Потемкина — он умер по дороге к месту своего назначения, в чистом поле, укрытый простой шинелью. Когда ему стало плохо, он велел вынести себя из кареты и положить на землю. Племянница Потемкина, сопровождавшая его, заказала картину и гравюру, изображающую последние минуты богатейшего и могущественнейшего человека России. В подписи подчеркивалось, что ничего из земных сокровищ не понадобилось ему в эту важную минуту.

Петр Андреевич Вяземский сохранил рассказ о последних минутах Василия Львовича Пушкина, дяди поэта: «Бедный Василий Львович скончался 20 числа в начале третьего пополудни... Испустил он дух спокойно и безболезненно, во время чтения молитвы при соборовании маслом. Обряда не кончили, помазали только два раза. Накануне был он уже совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скучен Катенин!» Перед этим он читал его в «Литературной газете». Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически».

Это ни в коем случае не было насмешкой — в сознании современников оставались последние слова как самые важные, завершающие жизнь. Разве мы с вами не помним, как Пушкин просил поднять его по полкам книг — выше, выше...

Человек оставался в истории своей биографией, сотканной из рассказов современников, анекдотов, собственных острых словечек, передававшихся из уст в уста. В первой половине XIX в. люди строили свою жизнь по канонам литературных героинь и героев — Онегин, Печорин, тургеневские девушки; во второй половине XIX в. образцом для подражания сделалась биография реального человека. В этом феномен Чернышевского, Некрасова. При этом реальная биография, например Некрасова, могла далеко отстоять от мифа, созданного вокруг его имени. Это не имело значения — образец для подражания

был найден...



## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### Парад

- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. Редакция и примечания Л. Гинзбург. Л., Изд. писателей, 1929. С. 134.
- ❖ Дюма Александр. Путевые впечатления. В России. Т. 1–3. М., «Ладомир», 1993. Т. 1. С. 63–64, т. 2. С. 89–90.
- ❖ Комаровский Е.Ф. Записки. М., «ВТИ», 1990. С. 37.
- ❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.). СПб., «Искусство», 1994. Глава «Парад».
- ❖ Марин С.Н. Полное собрание сочинений. М., изд. ГЛМ, 1948. С. 79–80.
- ❖ Письма Вильмот // Е.Р.Дашкова. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., изд. МГУ, 1987. С. 378.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. М., АО «Интердиалект», 1994. С. 110, 119.
- ❖ Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., «Наука», 1982. С. 65, 68, 78, 143.

### И бал блестит во всей красе...

- ❖ Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII в. — первая половина XIX в.). М., «Наука», 1982. С. 184.
- ❖ Булгаков К.Я. Письма // Русский архив, 1904, № 3. С. 415.
- ❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897. Кн. 1. С. 25, 202, 342, 436, 552.
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 152.
- ❖ Головина В.Н. Мемуары // История жизни благородной женщины. М., «НЛО», 1996. С. 108.
- ❖ Готье Теофиль. Путешествие в Россию. М., «Мысль», 1990. С. 118–119.
- ❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1–2. Л., «Искусство», 1989. Т. 1. С. 55, 197.
- ❖ Измайлов А.Е. Письма к И.И. Дмитриеву // Русский архив, 1871. Стлб. 980.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. Т. 1–2. М., изд. им. Сабашниковых, 1996. Т. 1. С. 184.
- ❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Глава «Бал».
- ❖ Местр Жозеф де. Письма из Петербурга в Италию // Русский архив, 1871. Стлб. 137.
- ❖ Одоевский В.Ф. Сочинения в 2-х т. М., «Художественная литература», 1981. Т. 1. С. 77.
- ❖ Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцеванья при Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825. С. 61–62, 72, 74–75.
- ❖ Письма Вильмот. С. 220.
- ❖ Пыляев М.И. Замечательные чудачки и оригиналы. М., «Интербук», 1990. С. 33.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. Издание подготовили Е.Курганова и Н.Охотина. М., «Художественная литература», 1990. С. 140.
- ❖ Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., «Наука», 1989. С. 176.
- ❖ Столпянский П. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., «Музыка», 1989. С. 89, 90, 92, 93.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания, дневник 1853–1882. Тула, Приокское книжное изд., 1990. С. 59.
- ❖ Энгельгардт Л.Н. Записки. М., «НЛО», 1997. С. 44–45.

### Маскарад

- ❖ Беспярых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., «Наука», 1991. С. 181.
- ❖ Гордин А.М., Гордин М.А. Пушкинский век. СПб., «Пушкинский фонд», 1995. С. 282.
- ❖ Готье Теофиль. Путешествие в Россию. С. 290–291.
- ❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 2. С. 72.
- ❖ Захарова О.Ю. Русские балы и конные карусели. М., 2000. С. 131–144.
- ❖ Измайлов А.Е. Письма к И.И. Дмитриеву // Русский архив, 1871. Стлб. 980–981.
- ❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Глава «Люди и чины».
- ❖ Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. М., «Советский писатель», 1980. С. 344–346.
- ❖ Письма Вильмот. С. 249.
- ❖ Пыляев М.И. Старая Москва. М., «Московский рабочий», 1990. С. 38.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 119.

❖ Соллогуб В.А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., ТОО «Афина», 1992. С. 25.

❖ Энгельгардт Л.Н. Записки. С. 44–45, 50–51.

### **В театральных креслах**

❖ Вигель Ф.Ф. Записки. Редакция и вступительная статья С.Я.Штрайха. Т. 1–2. М., «Круг», 1928. Т. 1. С. 101; т. 2. С. 143.

❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 81, 104.

❖ Гроссман Л.П. Пушкин в театральных креслах // Л.П.Гроссман. Записки д'Аршиака. Пушкин в театральных креслах. М., «Художественная литература», 1990. С. 327, 328, 380, 382–384, 386.

❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 2. С. 92.

❖ Каратыгин П.А. Записки. Л., «Academia», 1929. Т. 1. С. 54–55.

❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. С. 209.

❖ Панаева А.Я. (Головачева). Воспоминания. М., «Правда», 1986. С. 21, 35.

❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 119, 131, 139, 204, 245–246.

❖ Тургенев Анд. Письма к В.А.Жуковскому. Публикация В.Э.Вацура и М.Н.Виролайнен // Жуковский и русская культура. Л., «Наука», 1987. С. 359–360.

❖ Языковский архив. Выпуск 1. Письма Н.М.Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 53.

### **Мода**

❖ Благово — Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., «Наука», 1989. С. 166–167.

❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897. Кн. 1. С. 219, 544.

❖ Вигель Ф.Ф. Записки. Т. 1. С. 93, 125–126, 176–178; т. 2. С. 21.

❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 84, 152, 216, 233.

❖ Головина В.Н. Мемуары. С. 170, 251.

❖ Массон Шарль. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., «НЛО», 1996. С. 94.

❖ Пыляев М.И. Замечательные чудачки и оригиналы. С. 90–91, 164.

❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 77.

❖ Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М., «НЛО», 1996. С. 366.

❖ Шуазель-Гуффье. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе. М., изд. К.Ф. Некрасова, 1912. С. 57.

### **Как денди лондонский одет...**

❖ Барбэ д'Оревиля. Дендизм и Джордж Брэммель. М., 1912. С. 26–27, 29–30, 44, 56, 60.

❖ Бульвер Эд. Литтон. Пельгам, или Приключения джентльмена. СПб., 1859.

❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. С. 126–127, 133.

❖ Шатобриан Франсуа Рене де. Замогильные записки. М., изд. им. Сабашниковых, 1995. С. 338–340.

### **В Дворянском собрании и в Английском клубе**

❖ Английский клуб — Из истории московского Английского клуба // Русский архив, 1889 № 5. Стлб. 91, 92–93, 95.

❖ Барсуков. Российской благородное собрание в Москве. М., 1886. С. 5, 16–17.

❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 176–177.

❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 126–127, 191, 199, 218.

### **В старом доме**

❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 6–7, 22–23, 52, 73, 283, 317.

❖ Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. Т. 1. Тула, Приокское книжное издательство, 1988. С. 357–358.

❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897, кн. 1. С. 343, 428.

❖ Вельтман. С. 206–207.

- ❖ Вигель Ф.Ф. С. 96–97, 116, 143–144, 234.
- ❖ Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., «Книга», 1990. С. 144.
- ❖ Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII — начала XIX в. М., «Наука», 1985. С. 188.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. Т. 2. С. 222.
- ❖ Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом. С. 372, 379–380, 402.

### **Дворянские гнезда**

- ❖ Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII в. — первая половина XIX в.). С. 384.
- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 54–55.
- ❖ Болотов А.Т. Записки. С. 404–407.
- ❖ Бурьянов В. Прогулка с детьми по России. СПб., 1839.
- ❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897, кн. 1. С. 403–407.
- ❖ Врангель Н.Н. Старые усадьбы. СПб., 1999. С. 40–41.
- ❖ Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., «Наука», 1982. С. 242–243.
- ❖ Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом. С. 357–358, 387–389.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 45.

### **Сады**

- ❖ Болотов А.Т. Записки. Т. 2. С. 96–97, 126–127, 129–130, 168–169.
- ❖ Лихачев Д.С. Поэзия садов. С. 33, 125, 278, 328.
- ❖ Письма Вильмот. С. 300, 408.
- ❖ Яковкин И. История Царского Села. СПб. 1831, ч. 3.

### **В салоне**

- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 189, 214–218, 285–286.
- ❖ Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX в. М.–Л., «Academia», 1930. С. 172–173, 180.
- ❖ Соллогуб В.А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. С. 209–210, 222–223.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 21–25.
- ❖ Фет А.А. Воспоминания. М., «Правда», 1983. С. 170.
- ❖ Чичерин Б.Н. Воспоминания. М., изд. МГУ, 1991. С. 10–11.

### **Летучие листки альбома**

- ❖ Вацуρο В.Э. Из истории литературного быта пушкинской поры. М., «Книга», 1989. С. 32, 45, 50.
- ❖ Вацуро В.Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750–1840 годы) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977. Л., «Наука», 1979. С. 14, 34–35, 41–42, 56.
- ❖ Литературные салоны и кружки. С. 96.
- ❖ Петина Л.И. Структурные особенности альбома пушкинской эпохи // Проблемы типологии русской литературы. Труды по русской и славянской филологии. Вып. 645. Тарту, 1985. С. 21–36.

### **О любви**

- ❖ Ладыженская Е. Воспоминания // Русский вестник, 1872, № 1–3, т. 97. С. 652.
- ❖ Руссо Жан-Жак. Юлия, или Новая Элоиза. М., «Художественная литература», 1968. С. 27–28.
- ❖ Тургенев Анд. Письма к В.А. Жуковскому. С. 371–372.

### **Язык цветов**

- ❖ Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. Киев, 1994.

### **Девичьи школы**

- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 24, 47.
- ❖ Дашкова Е. Записки 1743–1810. Л., «Наука», 1985. С. 6.
- ❖ Детское чтение для сердца и разума. Ч. 2, с. 22–23.
- ❖ Русские глазами знаменитой француженки. Русские главы из книги А.Л.Ж. де Сталь «Десятилетнее изгнание». Перевод Н.П.Анисимовой. Война 1812 г. и русская литература. Исследования

и материалы. Тверь, 1993. С. 154.

- ❖ Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 125, 128–129.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 53.

### **Итак, я женюсь...**

- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 47–49.
- ❖ Вересаев В. Пушкин в жизни. М., «Московский рабочий», 1984. С. 96.
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 172, 232.
- ❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1. С. 184, 185.
- ❖ Комаровский Е.Ф. Записки. С. 26.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. С. 166–169.
- ❖ Письма Вильмот. С. 316, 348, 371, 374, 392, 395, 403.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 232.
- ❖ Соллогуб В.А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. С. 148.

### **Трещат крещенские морозы...**

- ❖ Авдеева Е.А. Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 60.
- ❖ Добужинский М.В. Воспоминания. М., «Наука», 1987. С. 17, 18, 37.
- ❖ Каменская М. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1991. С. 221–222.
- ❖ Комаровский Е.Ф. Записки. С. 17–18.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. Т. 1. С. 257, 258.
- ❖ Московский телеграф. 1832, ч. 46, № 15. С. 327, 328.
- ❖ Письма Вильмот. С. 250, 251.
- ❖ Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 53–55.
- ❖ Свиньин П.П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1816. С. 75–78.
- ❖ Толстой Л.Н. Собрание сочинений. М., «Художественная литература», 1980. Т. 5. С. 290, 291.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 216.

### **Под качелями**

- ❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1. С. 81, 82. Т. 2. С. 269.
- ❖ Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII — начало XX в. Л., 1988. С. 112.

### **Пирь и застолья**

- ❖ Аксаков С.Т. Избранные сочинения. М., 1982. С. 288.
- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 24, 25, 314, 315.
- ❖ Гордин А.М., Гордин М.А. Пушкинский век. С. 38.
- ❖ Местр Жозеф де. Письма из Петербурга в Италию // Русский архив, 1871. Стлб. 60.
- ❖ Письма Вильмот. С. 290.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 80–81, 163–165.

### **Дорожные жалобы**

- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 115.
- ❖ Булгарин Ф.В. Воспоминания. СПб., 1846. Ч.1. С. 37–38, 40.
- ❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897, кн. 1. С. 238, 239, 405.
- ❖ Вигель Ф.Ф. Записки. С. 103–104.
- ❖ Гордин А.М., Гордин М.А. Пушкинский век. С. 178, 181–182.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. Т. 2. С. 34.
- ❖ Местр Жозеф де. Письма из Петербурга в Италию // Русский архив, 1871. Стлб. 97.
- ❖ Письма Вильмот. С. 264, 357, 378, 383.
- ❖ Пыляев М.И. Старый Петербург. М., изд. СП «ИКПА», 1990. С. 196–198.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 113.
- ❖ Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 331.
- ❖ Соллогуб В.А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. С. 35.
- ❖ Щукинский сборник 9. М., 1910. С. 294.

### **Мы все учились понемногу...**

- ❖ Афанасьев А.Н. Русские сатирические журналы 1769–1774 годов. Казань, «Молодые Силы», б.г. С. 160.
- ❖ Благово — Рассказы бабушки. С. 259.
- ❖ Болотов А.Т. Записки. Т. 1. С. 48–50.
- ❖ Брусилов Н.П. Воспоминания // Исторический вестник, 1893, № 4. С. 47–52.
- ❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897, кн. 1. С. 398, 399.
- ❖ Вигель Ф.Ф. Записки. С. 82–83.
- ❖ Летописи ГЛМ. Т. 1. С. 451.
- ❖ Толстой Л.Н. Собрание сочинений. М., «Художественная литература», 1978. Т. 1. С. 220, 221.
- ❖ Энгельгардт Л.Н. Записки. С. 18, 19.

### **Переписка друзей**

- ❖ «Арзамас». Из литературного наследия «Арзамаса». Кн. 1–2. М., «Художественная литература», 1994. Кн. 2. С. 349, 350.
- ❖ Письма русских писателей XVIII в. Л., «Наука», 1980. С. 145, 146, 410, 411, 465.
- ❖ Пушкин В.Л. Стихи. Проза. Письма. М., «Советская Россия», 1989. С. 210–211.

### **Общество безвестных людей**

- ❖ «Арзамас». Кн. 2. С. 267–268, 290.
- ❖ Вигель Ф.Ф. Записки. С. 61.
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 239–251.
- ❖ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1812–1819. М., 1994. С. 19.

### **В масонской ложе**

- ❖ Бутурлин М.Д. Воспоминания // Русский архив, 1897. Кн. 1. С. 583.
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 92.
- ❖ Масонство в его прошлом и настоящем. Под ред. С.П.Мельгунова и Н.П. Сидорова. Т. 1–2. М., СП «ИКПА» 1991 (репринт издания 1914 г.). Т. 1. С. 24; т. 2. С. 81, 82, 88.
- ❖ Энгельгардт Л.Н. Записки. С. 200–201.

### **Дуэль**

- ❖ Бестужев А.А. Повести и рассказы. М., «Советская Россия», 1976. С. 134, 135.
- ❖ Бестужев Н.А. Избранная проза. М., «Советский писатель», 1983. С. 286–287.
- ❖ Гордин А.Я. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996. С. 18, 42, 67–69.
- ❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. С. 165–166.
- ❖ Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. С. 8.

### **Тройка, семерка, туз...**

- ❖ Булгарин Ф.В. Воспоминания. Ч. 2. С. 280.
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 51.
- ❖ Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1. С. 175–176.
- ❖ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. С. 136, 138, 144.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 46, 172, 220, 241.

### **Табель о рангах**

- ❖ Вигель Ф.Ф. Записки. Т. 2. С. 312 (сноска).
- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 106, 200, 271.
- ❖ Георгиевские кавалеры. 1769–1850. Т. 1. М., «Патриот», 1993. С. 7, 15.
- ❖ Измайлов А.Е. Письма к И.И. Дмитриеву // Русский архив, 1871. Стлб. 972.
- ❖ Кюстин Альфред де. Россия в 1839 г. Т. 1. С. 339.
- ❖ Местр Жозеф де. Письма из Петербурга в Италию. Стлб. 141, 147, 148.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 173–174.
- ❖ Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 23.

### **Российские награды**

- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 253.

- ❖ Георгиевские кавалеры. 1769–1850. Т. 1. С. 7, 15.
- ❖ Местр Жозеф де. Письма из Петербурга в Италию // Стлб. 96.
- ❖ Письма Вильмот. С. 329.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 126, 185.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 41, 101, 140.
- ❖ Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 72, 74.

### **Коронация русских царей**

- ❖ Головина В.Н. Мемуары. С. 183, 184.
- ❖ Комаровский Е.Ф. Записки. С. 40–42, 75, 76.
- ❖ Пыляев М.И. Старая Москва. С. 32, 33.

### **При дворе русских императоров**

- ❖ Болотов А.Т. Записки. Т. 1. С. 346, 347.
- ❖ Комаровский Е.Ф. Записки. С. 101, 102.
- ❖ Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 160, 181–182.
- ❖ Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 41, 51, 54, 62, 164, 165.

### **Книжные лавки в пушкинское время**

- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 156–157.
- ❖ Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка А.Ф.Смирдина). М., «Федерация», 1929. С. 53, 55, 56, 84, 216, 217, 235, 236, 244, 245.
- ❖ Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М., «Современник», 1982. С. 98–99.

### **Литературный миф Петербурга**

- ❖ Корнилова А.В. К. Брюллов в Петербурге. Л., 1976. С. 74.
- ❖ Метафизика Петербурга. СПб., 1993. С. 227, 228, 266, 267.
- ❖ Минц З.Г., Безродный М.В., Данилевский А.А. «Петербургский текст» и русский символизм // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам. Вып. 18. Тарту, 1984. С. 82.
- ❖ Одоевский В.Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 2. С. 146, 147.
- ❖ Петербург в русской поэзии XVIII – начала XX в. Поэтическая анталогия. Л., 1988. С. 257.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 87.
- ❖ Тименчук Р.Д. «Поэтика Санкт-Петербурга» эпохи символизма/постсимволизма // Семиотика города и городской культуры. С. 118.
- ❖ Шуазель-Гуффье. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе. Б.м., б.г. С. 229.

### **От биографии к мифу**

- ❖ Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 93.
- ❖ Рагимов Олег. Былые небылицы. С. 107, 178.
- ❖ Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. С. 118, 177, 183, 217.